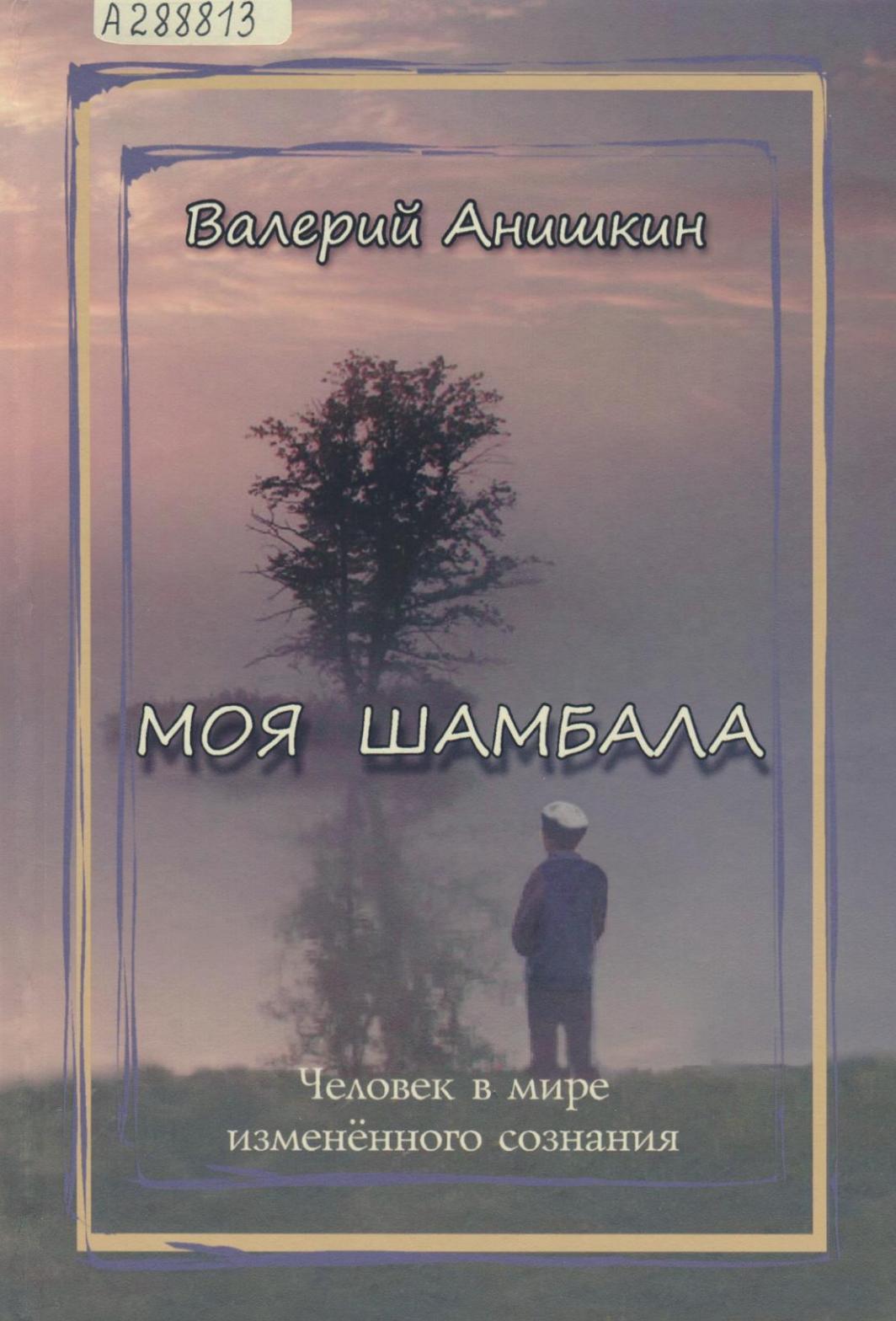


A288813

Валерий Анишкин



МОЯ ШАМБАЛА

Человек в мире
изменённого сознания



Посвящаю моей любимой внучке
Екатерине Шманевой



B. Lewis

Валерий Анишкин

МОЯ ШАМБАЛА

Человек в мире изменённого сознания



Орёл – 2015

УДК 82-94
ББК 84 (2Рос=Рус)6
А 67

Валерий Анишкин

А 67 Моя Шамбала / Человек в мире изменённого сознания / – Орёл: ООО ПФ «Картуш». 2015 г. – 356 с.

ISBN 978-5-9708-0473-5

В этой книге автор рассказывает о жизни небольшого провинциального городка в первый мирный год после войны 1941–1945 гг. В центре событий подросток, наделенный необычными паранормальными способностями, даром, который может принести его семье неприятности, но позволяет помочь в расследовании преступления.

Читатель также познакомится с таким незаурядным явлением прошлого века как Вольф Мессинг, мастер психологического опыта и ясновидец.

В книге много диалогов и действия, что обеспечивает легкое и занимательное чтение.

Книга предназначена для самого широкого круга читателей, в том числе для детей старшего школьного возраста.

УДК 82-94
ББК 84 (2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-9708-0473-5

© Анишкин В., 2015
© ООО ПФ «Картуш», 2015

Из переписки с рецензентом

Валерий, здравствуйте!

Я очень рад, что так угадал с отзывом и, надеюсь, помог Вам – тем более, что читать «Мою Шамбалу» было удовольствием – поверьте, это можно сказать об очень немногих рукописях.

Сразу должен пояснить: к сожалению, я не могу обещать ничего, кроме хорошей рецензии на книгу и ее передачи в профильную редакцию. В «ЭКМО» я «внутренний рецензент», то есть, скорее, советчик. Окончательное же решение остается не за мной и даже не за редактором – здесь вступают прежде всего маркетинговые (как ни жаль) соображения. То есть соответствие книги формату, ее попадание в уже существующую серию и т.д.

Тем не менее, зав отделом детской и подростковой литературы совершенно права: «Моя Шамбала» должна заинтересовать редакцию современной литературы. Детские и подростковые книги в «ЭКМО» устроены, как правило, гораздо проще и, кроме того, ориентированы на современность (или совсем отдаленное прошлое). Мне такой отбор кажется механистическим, за несоответствие пресловутому формату порой отсеиваются замечательные тексты (и издаются гораздо более бедные) – но как есть.

А вот современная «большая» проза, по счастью, понимается шире, там издательство допускает жанровые эксперименты.

Поэтому, если говорить о сюжете «Моей Шамбалы», я могу только повторить свою рецензию: эзотерика совсем не портит книгу. Наоборот: таким образом раскрывается актуальная для литературы последних десятилетий тема «очарованного детства» (в духе Гумилева – «...Колдовской ребенок, словом остановивший дождь»).

«Моя Шамбала», безусловно, должна заинтересовать «современную» редакцию.

С уважением,
Алексей Обухов
Шеф-редактор в холдинге «Москва Медиа»,
литературный рецензент издательства «Эксмо»

О повести «Моя Шамбала»

В предисловии к книге «Моя Шамбала» литературный критик Алексей Обухов отмечает, что эзотерика не только не портит книгу, но помогает раскрыть «актуальную для литературы последних десятилетий тему «очарованного детства» (в духе Гумилева – «Колдовской ребенок, словом останавливающий дождь»).

На мой взгляд, внесенная в канву книги эзотерика выполняет более важную роль – своего рода громоотвода от военных и послевоенных потрясений России. Детские мечты, стремления, размышления и даже фантастические решения мальчиком драматических человеческих проблем читатель воспринимает как силу бескорыстия, правды и чести, которых явно не хватает обществу.

Пацаны разрушенного, искареженного войной города (почти все – полуголодные, многие – пополнившие миллионную безотцовщину!) гораздо быстрее взрослых вживаются в установившуюся новую жизнь. В романе эта жизнь не песнями звенит, не демонстрациями ударных достижений. Все реально до боли, и до боли правдиво.

Язык героев «Моей Шамбалы» принадлежит не только героям романа, но и языку поколения. В нем и ощущение военного лихолетья, и полуэзоповские рассуждения людей эпохи Сталина.

Особое место в книге отведено *видениям* юного провидца. На первый взгляд эти *видения* ниспадают откуда-то сверху, из неизученных человеком информационных потоков. На самом деле этими предвидениями автор показывает, что даже в юном возрасте люди могли предполагать и другие возможные варианты развития жизни. Но эта тема было как бы под запретом, и об этом старались вслух не говорить.

В легендарную страну Шамбалу, сторону Истины, нельзя попасть по желанию – туда нужно быть призванным. В эту сказку-мечту, считает автор книги, чаще всего дорога открывается в детстве. И в большинстве случаев ее открывает «правда жизни», т.е. нечто застойно-равнодушное.

Кто преподает Володе уроки Шамбалы? Не школа, не «воспитательный процесс». У него учителя – Лев Толстой и древние философы. Но не только они, рядом отец с полновесной школой жизни, рядом другие люди, прошедшие огонь войны.

Среди строк романа нет надрывных слов, похожих на митинговую речь. Зато писатель не только создает образы, но и как бы рисует их на глазах читателя: «Дядя Павел пришел с фронта год назад, и я впервые увидел его мужчиной, потому что на войну он ушел в семнадцать лет...». И далее: «Дядя Павел стоял, опустив руки и растянув губы в улыбке. Он не знал, как теперь обращаться к отцу... Я помнил, что до войны он называл отца дядей Юрой».

Дело не только в прошедших годах. В.Анишкин разворачивает в романе картину иного взросления: война открыла многое не только в нациях и поколениях; в каждую семью, на каждую улицу она пришла неподкупным судьей.

«Человек в мире измененного сознания» – такой подзаголовок дал В. Анишкин к названию романа. Он

очень точно характеризует мысль, суждение, которое проходит лейтмотивом через всю книгу: воля и совесть в человеке не преобразуются какими-то усилиями со стороны – их воспитывает в себе человек сам и проверяет жизнью.

И еще одно важное замечание: книга В.Анишкина – художественное произведение, несущее в себе живую историю жизни. В романе нет «пожелтевших старых фотографий», но как реалистично открываются в нем страницы прошлого, люди и общество прошлых лет! Я бы сказал, что в романе присутствует достаточно убедительно то, что можно назвать «психологическим пейзажем» – картина мыслей, переживаний, чувств.

Можно только удивляться и поражаться – как автор смог соединить в житии выросшего в войну поколения простоту истины и неожиданности человеческого разума. Все герои у В. Анишкина – живые, язык звучит по тем нотам, которые разыгрывала тогда судьба с миллионами героев войны и их детей.

Трудно рецензировать хорошие вещи – не находишь нужных слов. Но как хочется, чтобы таких книг у нас в России было больше.

Хорошая получилась книга.

В. Самарин,
член Союза российских писателей

СОДЕРЖАНИЕ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.....	12
Часть I. «КОЛДУН»	13
Глава 1. <i>Сквер героев. Площадь. Блатной Леха. Наказание за глупость. Улица.</i>	13
Глава 2. <i>Застолье. Женщины вспоминают войну. Мужчины вспоминают героические будни войны.</i>	21
Глава 3. <i>Оля. Бабушка Маня. Отец и «Вера».</i>	26
Глава 4. <i>«Цара». Я показываю «фокусы». Огород за два миллиона. Славка Песенка. Ты – Ты. Душевный разговор.</i>	29
Глава 5. <i>Горбун Боря. Немец Густав и подпольщики. Помещик Никольский. Борино убежище.</i>	38
Глава 6. <i>Шаман. Похождение души. Камлание. Отец и бабушка о бессмертии души.</i>	43
Глава 7. <i>Отец и Леха. Пустырь. Метатель молота Алексеев. Ванька Коза. Рассказ о Ваське Графе. Леху увозит «черный ворон».</i>	47
Глава 8. <i>Прокурорские дочки. В лес за порохом. Землянка. Гильза с предсмертной запиской. Костер. Наказание. Сон.</i>	55
Глава 9. <i>Дядя Павел. Встреча. Последствие ранения. Я лечу дядю Павла. Невеста дяди Павла.</i>	64
Глава 10. <i>Неожиданный телефонный звонок. У генерала. Больная дочь. Состояние измененного сознания. Генеральский дом. Странная болезнь.</i>	80
Глава 11. <i>Скандал в доме дяди Павла и воспоминания о возвращении домой. Переезд бабушки к дяде Павлу</i>	92
Глава 12. <i>Мила. Последнее средство. Погружение в особое состояние. Исцеление. Рассказ Милы. Загадочные следы на шею. Благодарность.</i>	97
Глава 13. <i>Нинка Козлиха. Цирк. Работа за контрамарки. Карманник. Цирковое представление.</i>	108
Глава 14. <i>Олька теряет карточки. Симка-дурочка. Городские сумасшедшие. Керосиновая лавка. На речке. Я «колдую»</i> ...117	117
Глава 15. <i>Голубятница Раечка. Катины заботы. Мария Семеновна. Драка с плачевным результатом. Монгол. Немой Бэк. Музей.</i>	131
Глава 16. <i>Обыск у дяди Павла. Тень генерала. Дядя Павел на свободе.</i>	141

Глава 17.	<i>Квартирант Мухомеджана. Открытая эстрада. Во дворе у татар. «Теория соответствия» Амира. Ода огородам. Морские офицеры Витька Голоцапов и Ванька Горлин. Нинка учит нас танцевать.</i>	145
Глава 18.	<i>Монгол приводит девушку. Предательство.</i>	154
Глава 19.	<i>Опять скандал. Разбойное нападение на дядю Павла. Больница. Счастливая встреча. Новая жизнь дяди Павла.</i>	156
Глава 20.	<i>Мучительные приступы. Я лечу отца. Вечером у колонки. Аська Фишман. Катин муж Федор. Разговор матери с тетей Ниной. Прокурорская Лена уезжает.</i>	161
Глава 21.	<i>Бабушка Паша. Капитал в матрасе. Мое видение. Память о сыне.</i>	168
Глава 22.	<i>Лето идет на убыль. На берегу. Выбор профессии. «Мотяция». Беспокойная плоть Вальки Андриянова. Ожидание большого футбола. Ванька Коза. Конная милиция. Футбольный матч.</i>	174
Глава 23.	<i>У кассы. Без билета. Кинотеатр «Родина». Кино.</i>	186
Глава 24.	<i>На пустыре. Прощальный сбор. У кого шире клещи? Призвание. Вокал Монгола. Простой гипноз. Грусть расставания.</i>	189
Часть II.	ВОЛЬФ МЕССИНГ	200
Глава 1.	<i>Сон или видение? Школа. Урок английского. Директор Костя. Серый со шпаной. Отпор шпане.</i>	200
Глава 2.	<i>Симулянты. Покровская церковь. Разрушение. Наваждение. «Попухли». Учитель математики Филин.</i>	207
Глава 3.	<i>Фотографическая память. Переписка отца с академией наук. Пророческие сны. Конец переписки.</i>	213
Глава 4.	<i>Физгармония. Монгол показывает свое «искусство»</i>	217
Глава 5.	<i>Обрусевший немец Штерн. Анна. Любовь Жорки Шальгины. Злополучные качели. Разлад.</i>	219
Глава 6.	<i>В кабинете у директора. Военрук Долдон. Майор из военкомата. Ребята получают благодарность. Мать героя Варвара Степановна. Снова бабушка Паша.</i>	223
Глава 7.	<i>Разговор матери с тетей Ниной. Моя бабушка Василина. Сын Николай и невестка Зинаида. Простое решение.</i>	231
Глава 8.	<i>Память Василины. Папоротник. Дети. Зинкина ярость. У дочки Нюры. Антонина. Не нужна.</i>	238

Глава 9. Чужие немцы и свои полицаи. Тимоха. Тень смерти. Казнь.	248
Глава 10. Эхо войны. Школьная линейка. Костя ругает ребят за то, за что хвалил Сорокин. Припадок эпилепсии.	256
Глава 11. Предчувствие беды. Смерть дяди Павла. Следствие. Я «вижу». За околицей. Убийца. Тоня.	261
Глава 12. Цыган. Убийство в состоянии аффекта. Снова в колхозе. Участковый Николай Кузьмич. В избе у Нasti Кузиной. Ушел. Логический конец.	268
Глава 13. Махатмы. Откровения. Загадочная страна Шамбала. Индийская религиозная философия.	273
Глава 14. Аникеев мстит за двойки. Пахом вступает за Филина. Подлость. Принципиальная драка.	277
Глава 15. Ожидание наказания. Да здравствует разум! Мы навещаем Филина. Прощение.	281
Глава 16. «Артисты из Москвы». Фокусник. Представление в школе. Я теряю контроль.	286
Глава 17. Дома после школы. У Каплунского. Набивалочки. Спор. Рассказ про Кума и Ореха. Кто они? Шпана?	290
Глава 18. Вор Курица. У дома Ваньки Бугая. Печать смерти. Кум выигрывает спор, а Пахом набивалку.	296
Глава 19. Подарки товарищу Сталину. Отцова война. Мистика или реальность? Есть ли предел возможности человека?	304
Глава 20. Арест старого Мурзы. Жена Юсуна. Зубной врач Васильковский. Ограбление.	310
Глава 21. Банная круча. Навязчивая идея. Крутой спуск. Прием в комсомол. Принципиальный Третьяков.	316
Глава 22. Ощущение чужой беды. Снова Орех с Кумом. Получка. В кафе «Огонек». Китаец. Гибель Кума.	323
Глава 23. Запах весны. Подарок к 8 Марта. Индивидуалист Себеляев. Ворованные деньги. Позор.	329
Глава 24. Приезд Мессинга. Психологические опыты. Мессинг «читает мысли». Мессинг «вычисляет» меня. Я показываю свои способности. Серьезный разговор. Благословение.	332
Глава 25. Наводнение. Вода на улице. На плоту. Выдра. Откровение Махатмы. Болезнь. Я теряю свой дар. Жизнь продолжается.	345

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В этой книге ничего не выдуманно. Даже имена и фамилии героев я счел возможным не менять. Исключение составили только те действующие лица, которые могли бы негативно воспринять упоминание своего имени в художественном произведении в том свободном изложении, которое является результатом воли и фантазии автора или ввиду непривлекательности образа.

В отдельных случаях я сместил время, в которое происходили те или иные события, приблизив их к эпицентру всего действия.

Я не ставил своей целью документально точно воспроизвести детали происходящих в моем городе событий, поэтому, во избежание упреков, я не называю город, в котором происходит действие. Но у меня не поднялась рука изменить названия всех других достопримечательностей, и они узнаваемы.

Всё остальное – реальные факты, включая встречу с Вольфом Мессингом.

Впрочем, вся наша жизнь состоит из коллизий, а вокруг иногда происходят такие диковинные вещи, что мы часто более склонны поверить самому изощренному фантастическому литературному сюжету, чем иной правдивой жизненной истории.

Mentem mortalia tanqunt.
Вергилий, «Энеида»

Часть I. «КОЛДУН»

Глава 1

Сквер героев. Площадь. Блатной Леха. Наказание за глупость. Улица.

– Давай рысью! – отрывисто скомандовал Монгол, – и мы побежали. Мы как собаки, ходить не умели. У нас все было рысью. Длинноногий Мишка Монгол бежал как иноходец, широко переставляя ноги, и мы изо всех сил старались не отставать. Младшие едва поспевали за нами.

Мы завернули за угол и побежали по улице, где жили «хорики». Это была их территория. «Хорики» играли в «цару». Когда мы пробегали мимо, они подняли головы от земли. Венька Хорьков, уже вслед, крикнул:

– Монгол, куда бежите?

Мы не ответили и вскоре услышали за собой пыхтение и топот.

– Куда, говорю, бежите-то? – повторил Венька на ходу.

– На площадь, – сплевывая сквозь зубы, деловито бросил Пахом.

– А что там? – не отставал Венька.

– Не знаем! – ответил Мишка Монгол.

– Бреешь! – не поверили «хорики» и побежали за нами по Московской улице.

Люди шагали по дороге как по тротуару. Дребезжа стеклами и сотрясая воздух пронзительной трелью pedalного звонка, прогромыхал фанерный трамвай. Неуклюже подпрыгивая на неровностях каменной мостовой, тархтел редкий грузовик. И хотя слышен он был «за версту», шофер часто сигналил, заставляя озираться тротуарного пешехода.

Мы пробежали мимо пятиэтажки, на пожарной каланче которой трепетал на ветру красный флаг, водруженный в честь освобождения города. Перебежав улицу, мы оказались в сквере Героев, где невольно замедлили шаг.

– Миш, – спросил я у Монгола. – Ты видел, как снимали повешенных?

– А то! – ответил Монгол.

– А где они висели?

– Вон там. Видишь тополя с суками? И вон на тех липах.

– Не, Монгол, – вмешался Венька Хорик. – На липах никого не было.

Мишка обиженно засопел, чуть помолчал и презрительно бросил:

– А ты видел?

– Видел, не беспокойся. Я видел и танк, который первым ворвался в город. А возле моста его подбили...

Возле танка мы притихли. Свежевыкрашенный зеленой краской, танк стоял на земляной насыпи с небольшим наклоном, и ствол его пушки непокорно задрался вверх.

На сетчатой ограде, тоже покрашенной в зеленый цвет, висела фанерная табличка с надписью:

«Вечная память героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины».

– Весь экипаж сгорел в танке, никто не спасся, – сказал Венька.

– Может быть, они были раненые? – предположил Сенья Письман.

– Нет, – убежденно ответил Венька. – Они не захотели сдаваться. Они решили, что лучше погибнуть, чем сдаться.

От танка тянулся длинный, на полсквера, холм братской могилы. По могиле рассыпались цветы: красные бутоны тюльпанов и едва распустившиеся ветки сирени.

– Вень, это правда, что там, где сейчас могила, был ров и что расстрелянных сбрасывали туда? – спросил я.

– А то нет! Их самих заставили копать ров и расстреляли. А потом сталкивали, тех, кто остался на краю, а тех, кто был еще жив, добивали или сбрасывали прямо живыми.

– Это ты откуда знаешь? – недоверчиво спросил Самуил Ваткин.

– Оттуда, – огрызнулся Венька. – Когда наши пришли, стали выгаскивать трупы, чтобы родственники опознали, и нашли двух живых. Один потом умер, а другой и сейчас жив. А потом уже мертвых похоронили как следует и сделали братскую могилу.

– Фашисты! – с ненавистью проговорил Пахом.

Мы бежали по деревянному мосту, возведенному саперами на месте чугунного, взорванного немцами при отступлении.

Сразу за мостом, по правую и по левую стороны, тянулись старые, двухвековой давности, торговые ряды. Каменные двухэтажные строения имели множество арок с декоративными колоннами и коридорным переходом по всей длине. Штукатурка, изорванная пулями, во многих местах отвалилась, и обшарпанные здания мрачно смотрели друг на друга. За рядами, на стрелке, образованной слиянием двух рек, вместились церковь Михаила Архангела с двумя голубыми куполами и позолоченными крестами.

Здесь почти четыре века назад указом Ивана IV основана была крепость, прикрывавшая южную границу Русского государства от набегов татар, от которой и пошел наш город.

От рядов, огибая здание театра, тараканьими усами расходились две большие улицы. От театра осталась одна коробка с пустыми глазницами окон. Но это был театр, существовал он уже 135 лет и начинался с труппы крепостных графа Каменского.

На площади играл духовой оркестр, заглушая черные колокольчики громкоговорителей, через которые в паузы врывались бравурные звуки маршей. Люди танцевали. Чтобы лучше видеть, мы, цепляясь за покореженные металлические рельсы опор и выступы в кирпичных стенах, влезли на второй этаж развалин и высунулись в оконные проемы дома напротив театра.

Море голов волновалось, затопляя площадь. Куда-то делись «хорики».

– Нашли что-нибудь поинтереснее и тихо смылись, – решил Монгол и скомандовал: – Айда в горсад!

Просачиваясь сквозь толпу, перекликаясь, чтоб не потеряться, мы вышли к деревянному мосту через Орлик и побежали к горсаду.

В горсаду кроме качелей, каруселей, танцплощадки, да открытой эстрады, на которой под баян пела толстая тетка, ничего не было, но народ шел сюда со всего города и здесь гулял до ночи, пока закрывалась танцплощадка.

Мы вышли на центральную аллею и наткнулись на моего дядьку, блатного Леху. Леха был навеселе. Из-под кепочки-москочки с козырьком в полтора пальца рябиновой гроздь горел рыжий чуб в мелких завитках. Чуб Лехе накрутила тетя Люся, мать Сени Письмана. Леха был ее первым и последним бесплатным клиентом. На нем тетя Люся пробовала «состав». Никто из соседей не соглашался сесть под примус с паровым бачком, а Леха сел. Проба оказалась удачной, и тетя Нина, наша соседка, которую тетя Люся не смогла уговорить на бесплатную пробу, потом все сокрушалась, что не согласилась на завивку. В зубах Лехи дергалась дорогая папироса «Дюшес» с коротко откусанным мундштуком. Папироса перелетала из одного уголка рта в другой, а то повисала, приклеенная к нижней губе, и тогда во рту Лехи солнечно блестела начищенная золотая коронка. Брюки темно-коричневого костюма, заправленные в хромовые сапоги, свисали над низко опущенной гармошкой голенищ. Руки Леха держал в карманах пиджака, натягивая пиджак так, что тощий зад его выпирал футбольным мячиком, и Леха катал его из стороны в сторону, когда семенил своей мелкой блатной походочкой. Мы было шмыгнули в кусты, но он нас остановил:

– Куда, шкеты? Ну-ка, хромайте сюда!

Мы неохотно подошли,

– Монгол, куда ведешь шкетов? – спросил он Мишку.

– Дак ить, день-то. Победа, гуляем. А что, нельзя? – забубнил Мишка.

– Чтобы гулять, марки нужны. У вас марки есть? – строго спросил Леха.

– Нету, – ответил за всех Витька Михеев.

– Ладно, фраера, пошли за мной, – решил Леха. – Знайте Леху. Когда Леха добрый, он угощает. А сегодня я добрый.

Леха остановился у пивного ларька, вытащил из кармана пиджака несколько тридцаток и одну протянул Мишке.

– Ну-ка, Монгол, сообрази пивка на всех. Мишка взял деньги и побрел в хвост очереди.

– Ты что, кишкинка, – вернул его Леха. – Ну-ка, давай сюда.

Он взял Мишку за плечи и, работая как тараном, стал проталкивать без очереди к раздаче. На Леху обрушился

шквал негодующих голосов, но он, кривляясь и балагуря, лез вперед.

– Что, папаша, не видишь, беременная женщина пить хочет. Граждане, пропустите женщину с ребенком... Да дай пройти больному, а то щас с ним припадок будет... А ты, фраер, тихо, жить надоело?

Минут через десять Леха с Мишкой вылезли из очереди с пивом, которое держали в двух руках. Лёха показал на беседку над обрывистым берегом. В беседке оказалось полно народу, и мы стали спускаться ниже к покореженному «Тигру».

Этот «Тигр» мы облазим вдоль и поперек и отвинтили все, что можно было отвинтить и унесли все, что можно было унести, а что не успели мы, унесли «монастырские». В прошлом году «монастырскому» пацану Кольке Серому люком перебило кисть. Зрелище было не для нервных, кровь лилась ручьем из рассеченной раны. Колька весь перемазался кровью. Штаны и синяя рубаша покрылись черными мокрыми подтеками. Ребята разодрали Колькину рубашу на полосы и замотали руку. Тряпка тут же набухла и превратилась в темное месиво, похожее на лежалое мясо.

– Вовец, – позвал Самуил, – помоги.

Я оттолкнул ребят и перетянул руку в предплечьи. Я мог это делать. Но я мог и другое. Я снял окровавленные тряпки и наложил руки на рану, не касаясь ее. Я сосредоточился на своих руках, и когда почувствовал, что кисти рук наливаются теплом, а кончики пальцев начинают покалывать как от комнатной воды, в которую опускаешь окоченевшие на морозе руки, стал водить руками над раной, импульсами посылая живительную силу, которая жила во мне.

Кровь стала свертываться и скоро только чуть сочилась из раны. Остатками рубашки мы перевязали Колькину руку и отвели в больницу.

Я не знаю, откуда это у меня. Мать говорит, что это появилось после того, как меня маленького зашибла лошадь, и я лежал без сознания и был при смерти. Я этого не помню. Мне кажется, я всегда обладал способностью снять чужую боль, заживить рану, погрузить человека в сон.

А еще я умел отключать свое сознание и тогда видел странные вещи, которые происходили где-то не в моем мире. Вдруг появлялись и начинали мелькать замысловатые

рисунки и знаки, которые я воспринимал, но не мог понять и объяснить. Я видел диковинное. И сны я видел яркие и тоже очень странные. Бабушка Василина, когда мы ездили к ней в деревню, говорила, что сны мои вещие, только не всем их дано разгадать. Отец на это хмурился, но бабушку не разубеждал.

Мы держали в руках по кружке пива. Я пива раньше не пил и даже не пробовал, но знал, что оно горькое и уже ощущал во рту вкус этой горечи. Для меня было очень важно составить верное вкусовое представление, прежде чем я попробую что-то мне незнакомое, и если это представление не совпадало с его настоящим вкусом, я не мог это есть. Так было со мной, когда я впервые попробовал коржик. Коржик в моем представлении должен был иметь вкус чего-то очень пряного, гвоздичного и поперченного, то есть должен пробирать до слез, как хорошая горчица или хрен. И когда я увидел, что это просто выпеченное тесто со вкусом сдобного печенья, я не смог проглотить ни кусочка, мой организм протестовал, и в нем не нашлось механизма, способного примирить это ожидаемое и действительное. То же произошло с пастилой. Я ожидал что-то вроде повидла с чуть кисловатым вкусом, а это оказались белые приторно сладкие брусочки, которые нужно жевать, и они ватой заполняли рот. С тех пор я никогда не ел пастилу.

Леха достал из кармана початую бутылку белоголовки, вынул зубами газетную пробку, хлебнул из горла, весь передернулся, заведя глаза так, что сверкнули белки, нюхнул рукав и, протянув Мишке Монголу бутылку, отхлебнул из кружки пиво. Монгол взял бутылку, смело сделал глоток, тут же поперхнулся, и его вырвало.

– Ты что, падла, добро переводишь? – Леха вырвал из Мишкиных рук бутылку и отвесил ему шелобан. – Ну-ка, Мотя, – повернулся он к Витьке Михееву. – Покажи, как надо пить.

Витька осилил два глотка и изо всех сил держался, чтобы не показать отвращения, но рот его невольно перекосялся, а глаза покраснели и налились слезами. Младший брат Витьки, Володька, испуганно смотрел на Витьку. Вместе братьев звали Михеями, а по отдельности Витька Мотя

и Володька Мотя, потому что мать их звали Мотей, и женщины на улице говорили о них: «Мотины дети».

Я цедил горькое пиво сквозь зубы. На душе у меня было беспокойно, и дрожали руки, оттого что я участвую в чем-то постыдном. Пиво не уменьшалось, я косил глазами по сторонам и ждал удобного случая, чтобы выплеснуть желтую жижу в кусты.

Ванька Пахом глотнул из бутылки и, не поморщившись, набрав в легкие воздух, залпом выпил кружку пива.

– Во, кореш дает, – с восторгом хлопнул себя по ляжкам Леха, возводя Пахома в герои. – Молоток. На-ка, закури.

Пахом затянулся, закашлялся, но папиросу не бросил.

– Лёха, Плесневый! – раздался голос сверху.

У беседки стояли два парня в таких же как у Лехи кепочках-москвовках.

– Ты чего там детский сад развел? Канай сюда.

– Уму учу, – осклабился в радостной улыбке Леха и полез наверх. По дороге он обернулся и пригрозил мне.

– Скажешь матери, шкет, убью. Не посмотри, что колдун!

Пахома развезло. Сначала они с Витькой Мотей словно взбесились – кривлялись и хохотали. Потом стали колотить палками по танку и устроили такой грохот, что кто-то высунулся из беседки и крикнул:

– Ну-ка, пацаны, кончай бузить!

– Иди ты, дядя, пока цел, – зло огрызнулся Пахом.

– Ах ты, сопляк, – разъярился усатый дядька с медалями на гимнастерке. – Я сейчас покажу тебе «пока цел». Он отдал кружку с пивом своему товарищу и легко перемахнул через перила беседки. Мы, не сговариваясь, бросились к речке. Пахом упал и пропахал носом землю. Мы с Мишкой подхватили его под руки и потащили к плотине. У плотины остановились, чтобы перевести дух. За нами никто не гнался. Все тяжело дышали. Пахом был бледен. Стесанный подбородок кровоточил, губа раздулась, а под носом запеклась кровь. Ему стало плохо. Мы перешли через плотину на свой берег и расположились на любимом месте под ремесленным училищем.

– Пахом, давай раздевайся, – приказал Монгол.

– Зачем? – Пахом еле шевелил губами.

– Окунешься – станет легче.

– Вода холодная, – жалобно протянул Пахом, стягивая все же с себя рубашку. Монгол с одной стороны, я – с другой повели Ваньку к воде; у самой воды его вырвало. Витька Мотя, который тоже стал раздеваться, увидев, как дергается в спазмах Ванька Пахом, быстро пригнулся к кустам.

Пахом с Витькой после купания сидели синие и клацали зубами.

– Матери не го-о-ворите! – выбил дробью Пахом. – Вы-ы-дерет?

– А зачем пили? – жестко заметил Монгол.

– А с-сам не пил? – огрызнулся Ванька.

– А я нарочно, выпил и выbleвал. А ты, Пахом, из подхалимства и водку, и пиво вылакал. Во, мол, какой я ушлый.

Пахом только вздохнул и ничего не ответил.

Домой мы шли злые, голодные и недовольные собой.

Ремесленники, квартировавшие у Михеевых, устроили возле дома «матаню». Белобрысый, веснушчатый Колька в черной, уже много раз стиранной, и от того с белыми отсветами, рубахе, затянутой ремнем со стальной бляхой и выбитыми на ней буквами «РУ», лихо наяривал на двухрядной гармошке барыню; лицо его, как и положено гармонисту, было непроницаемо серьезно и безразлично, будто все, что здесь происходит, его не касается. А вокруг мелкой дробью выстукивали каблуки.

Повела домой дядю Колю из двадцатого дома его дочка Раиса, толстая перерзрелая девица. Ноги дядю Колю плохо слушались, его заводило в сторону, и Раиса с трудом выравнивала отца и молча тащила к дому.

Куражился Гришка. Он, по пьяному обыкновению, устрашающе рычал, скрипел зубами и рвал на себе рубаху. Когда Гришка стал бегать за малыми ребятишками и пугать их, тетя Клава, Пахомова мать, пошла к его жене Наде и сказала:

– Надь, уйми своего дурака? А то я уйму.

Гришка жены боялся и, когда она вышла и поставила руки в боки, он сжался весь, затих, и она погнала его, смиренного, домой.

Весна стояла славная. Теплая земля покрылась светлой зеленью, последние набухшие почки лопались, выстреливая нежными маслянистыми листочками, и деревья, затянутые зеленой вуалью, радовали глаз.

На скамейках у ворот сидели старушки, обратив к солнцу усохшие лица, на которых застыли безмятежность и покойное умиротворение. У ног их ссорились малыши. Кошки, развалиясь на подоконниках, лениво щурили глаза.

Глава 2

Застолье. Женщины вспоминают войну. Мужчины вспоминают героические будни войны.

– Где тебя носит? – беззлобно встретила меня мать. – Небось, есть хочешь? Знамо дело, как с утра ушел, так на целый день. Где шатался? Звала, звала. Куда-то, говорят, с Монголом побежали.

– В футбол играли на пустыре, – беззаботно соврал я.

– В следующий раз уйдешь без спросу, отцу пожалуюсь, что меня не слушаешь. Это что сегодня день такой, праздник. Иди, поздоровайся с гостями... Куда? Руки помой.

В зале стоял гомон. За столом сидели бабушка Маня, дядя Павел, Николай Павлович с отцовской работы с тетей Верой, Мария Николаевна, с которой мы жили в эвакуации, и соседки: мамина подруга тетя Нина и Туболиха. Вкусно пахло картошкой, луком и салом.

– А, Вовка, – обрадовалась Мария Николаевна. – Вон какой большой стал, уж с мать будешь. А кто тебе так лоб поцарапал? Дрался что ли?

– Да это так, – отмахнулся я, жадно оглядывая стол.

– А меня опять замучили ноги. Болят окаянные. Ты как-нибудь с мамой зашел бы. А, Вов?

– Ладно, баб Мань, – согласился я. – Вы матери скажите.

– Скажу, скажу, – закивала Мария Николаевна.

Посреди стола стояла чугунная сковорода с целой картошкой в салу со шкварками. Из миски выглядывали ровные соленые огурцы и гладкие, распертые газом помидоры. Мать доставала огурцы и, тем более помидоры, последний

месяц скупо: засолка кончалась и нужно было протянуть как-то до нового урожая.

Мать пристроила меня возле Марии Николаевны.

– Что же ты его на угол сажаешь? Не женится, – пошутила тетя Нина. – А мы его от угла поближе ко мне. У меня кавалера нет, так он мне за кавалера будет. Хочешь быть моим кавалером, а, Вов? – весело сказала тетя Нина,

– Не хочу, – буркнул я.

– Ишь, какой злой, – засмеялась тетя Нина.

– Тебе картошку разогреть? – опросила мать. – А то сало застыло.

– Не надо, я так буду.

И я с жадностью накинулся на картошку с солеными помидорами. Мать принесла мне аккуратный ломтик хлеба.

– Завтра возьмешь карточки и пораньше займешь очередь за хлебом, – приказала мать.

– Вов, помнишь, в эвакуации у нас заяц ручной был? – спросила Мария Николаевна. – Такой был понятливый.

– Ой, тетя Маня, никогда не забуду, – живо откликнулась мать. – Бывало, мы за стол, и он на табуретку – прыг. Мы и ждем, что будет дальше. Сами едим, а ему не даем. Так он как начнет лапами по столу колотить, как барабанщик, да быстро так – есть просит.

Я зайца помнил. Его поймал в огороде конюх Игнатич, добрый старик в драной шапке-ушанке и фуфайке, с неухоженной бородой, к которой всегда прилипали крошки махорки, и принес мне. Зайцу кто-то перебил лапу, и он с трудом передвигался, совершая редкие, неуклюжие прыжки, очевидно, доставлявшие ему боль. Зайца мы выходили, Я помню, как я, тогда еще бессознательно, держал руки над раной зайца, а он особым чутьем животного ощущал исцеляющую силу, исходящую от моих рук, и доверчиво подставлял мне больную лапу.

Заяц к нам быстро привык и стал совсем ручным, Потом он облюбовал место в закутке, где стояла корова Марии Николаевны, подружился с ней и шастал по закутку, совершенно не опасаясь ее копыт, и, конечно, корова однажды наступила на него. Я ревел, меня утешали, а потом тот же конюх Игнатич сделал из моего зайца чучело, которое мы поставили на комод.

– Жалко было зайца. Мы к нему так привыкли. А как Вовка по нему убивался. Больно было глядеть.

Мария Николаевна сочувственно покачала головой, а я недовольно насупился. Зачем при людях такое?

– Тетя Маня, а помнишь, как ты плясала под Рождество? – вспомнила мать. Лицо ее оживилось, и она сразу помолодела, словно сошла с той фотокарточки, где была шестнадцатилетней, и которую я так любил.

– Ой, Нин, – глаза матери озорно блеснули. – Ты б посмотрела. Игнатич играет на рожке, а тетя Маня встает, а ноги-то, как тумбы. Ее и тогда ревматизм мучил, еле ходила, помню, всё сырую картошку ела. А здесь разошлась и как медведь: топ-топ, топ-топ, то одной ногой, то другой, да еще платочком взмахнет туда-сюда, туда-сюда. Мы с Вовкой так и покатались от смеха.

– На то и праздник. Надо ж вас было развеселить. Сидят, носы повесили, вот-вот разревутся, – с неловкой улыбкой, словно оправдываясь, сказала Мария Николаевна.

– Хорошо жили! – похвалилась мать, – Голодно, тяжело, иной раз свет не мил, хоть волком вой, а тетя Маня, бывало, подойдет:

– Э, ты что это, милая? Наши вон как фашистов бьют, уже к границе гонят, скоро мужики наши вернуться. Заживем еще. Ну-ка, гляди веселей!– Где шуткой, где отругает, глядишь, – и правда легче.

– Да уж теперь вы мне все равно что родные, – подтвердила Мария Николаевна. – Вместе и горе, и радость делили. Как я за тебя радовалась, когда от Юрия Тимофеевича весть пришла. Перед иконой Бога благодарила, а вроде и не верующая. И то, надо сказать, почти полгода ни слуху, ни духу. Извелась вся, как щепочка стала. И Вовка уже большой, все понимает, переживает, ластится к матери, серьезный как старичок, хмурится все, не улыбнется. А потом нас удивил. «Мам, – говорит, – папа жив. Он в госпитале». Мы к нему: «Откуда ты знаешь?» «Я его видел. Больницу видел. Люди в белом». «Во сне видел?» «Нет, – говорит, – не во сне». Ну, ладно, думаем, ребенок. Чего не придумает. Видит, как мать переживает, мерещится ему что-то. Потом, смотрим, уведомление пришло, что ваш муж, мол, такой-то и такой-то получил сильную контузию и нахо-

дился на излечении в Тегеране, в госпитале для Советского контингента войск. В настоящее время проходит лечение в Ашхабаде.

Чудно твое дело, Господи. А тут как-то Шура брюкву резала, да ножом руку полосонула. Кровь хлестанула, видно, вену задела. Я перепугалась, не знаю, что делать. Подходит Вовка. Не испугался, ничего. Взял материну руку, ладонку подержал над порезом. Кровь остановилась и даже не сочится. Вроде даже и подсыхать стала. Я стою, словно аршин проглотила, и Шура глазам своим не верит, Я опомнилась, перевязала рану. На следующий день повязку сняли, а там уже корочка образовалась. Вовка опять поводит рукой над раной. И больше уже не завязывали. Через день корочка отвалилась, и все зажило прямо на глазах. Тут мы и зайца вспомнили. Вовка ж его и вылечил. Дальше – больше. Ревматизм донимает, ни днем, ни ночью покоя не нахожу. Вовка минут пять поводит руками, чую, боль проходит. А на следующий день и опухоль стала спадать. Господи, на кого молиться? То ли на Николу Угодника, то ли на Вовку, прости ты меня, Господи.

А в аккурат перед самым приездом Юрия Тимофеевича Вовка и говорит: «Мам, папа к нам «летит». Да ладно бы это. А то назавтра пролетел над нами самолет. Вовка выскочил, раздетый, да как закричит: «Папа, папа!» Сам дрожит, и слезы из глаз катятся. А мы уж и верим.

Глядь, назавтра Юрий Тимофеевич заявляется. И точно, этим самолетом летел.

– С чего ж это у него вдруг взялось? – спросила тетя Вера.

– Кто знает? – пожала плечами мать. – Может после того случая, как его лошадь копытом стукнула... Они с ребятами игру затеяли, кто не испугается под брюхом лошади пролезть. И лошадь-то смирная была. Все пролезли. А его наподдала. Что-то ей не понравилось. Стукнула-то копытом в бок, да он об камень головой ударился. Притащили без сознания. Кровь льет. Спасибо в детдоме, где я работала, врачиха была. Перевязала, уложила в постель, укол сделала какой-то. Три дня бредил, то придет в сознание, то снова забудется... А потом вроде ничего, быстро так поправился. А только, видно, что-то в голове переменялось.

И мать заплакала. Женщины слушали внимательно, переживали, сочувственно качали головами, и время от времени поглядывали на меня, будто впервые видели. Я уткнулся в тарелку и делал вид, что занят едой, и этот разговор меня не касается.

– Да, жили дружно, – вернулась к своему главному Мария Николаевна. – А как же было иначе? Нужно было держаться друг за друга. Кругом разлад, да слезы. Все так. Чай, русские.

– Не скажи, Марь Николаевна, – отозвалась Туболиха. – Вы в эвакуации далеко были, многого не знаете, а мы под немцем насмотрелись на некоторых русских. В полицаи шли, на брюхе перед немцем ползали.

– Это те, кому Советская власть всегда поперек горла стояла, – возразила Мария Николаевна.

– А что плохого сделала Советская власть Симке Рыжовой? В школе бесплатно учила, в техникум дорогу открыла, а до Советской власти батька в батраках служил, и ей бы гнуть до скончания века спину на помещика. И батька, между прочим, в гражданскую за Советскую власть голову положил. А она с немцами открыто гуляла, с первого дня на машинах по городу разъезжала.

– А меня с ней в комсомол вместе принимали, – сказала тетя Нина.

– Ну, в семье не без урода. Всякие люди, конечно, и среди нас есть.

И в войну, кто горе мыкал, а кто на слезах наживался. Вон Шурка часы золотые, подарок мужа, за килограмм масла и за буханку хлеба отдала, когда Вовка болел. Тех я в расчет не беру. Бог им судья. Да и не верю я, что таких много. Просто они как бельмо на глазу, их в первую очередь и видно.

После еды меня стал одолевать сон, глаза слипались. С женщинами было скучно, и я начал прислушиваться, о чем говорят мужчины, а говорили они про войну. Я подсел поближе к отцу. Отец обнял меня за плечи и притянул к себе.

– Правильно, племяш, иди к мужикам. Что там с женщинами сидеть? – одобрил дядя Павел.

– Ну, что там про орден-то? – напомнил он Николаю Павловичу. Николай Павлович потер пальцем орден Красной звезды и стал рассказывать:

– Мы тогда входили в состав 257 отдельной смешанной авиадивизии, в седьмую отдельную армию. Я служил в полковой разведке. А мы только что освободили Демидовку, на реке Свирь. Речка находилась неподалеку от штаба. А жара стояла невыносимая. Июнь же месяц. Ну, пошел я искупаться, простирнуть белье, то да се. Сполоснул гимнастерку, пошел к кустам, повесить хотел, гладь, – в кустах солдат спит. Я его окликнул. Он как-то быстро вскочил и, вижу, чего-то испугался. Как-то необычно для солдата. Думаю, надо проверить. Доставил его, голубчика, в отдел контрразведки. На допросе он и раскололся. Назвался Никитиным, был на фронте, воевал, попал в плен, в плену его и обработали. Определили в разведшколу, обучили и как агента оставили на освобожденной территории для сбора сведений о местах дислокации, видах самолетов и численности авиачасти... За это орден и получил.

– У нас тоже ловили, – подтвердил дядя Павел. – Одного сам начальник разведки поймал. Капитан Фомин такой был. Это уже в Германии. Шел в комендатуру и видит: женщина везет на ручной тележке барахло всякое, а ей помогает молодой немец. У Фомина сразу подозрение: почему, мол, не на фронте? Задержал. При обыске нашли топографическую карту с непонятными пометками. Шнайдером звали. Долго не признавался, что он агент, а потом все рассказал и выдал еще двух человек. Оба немцы. Обоих взяли. У одного была рация. Так Фомину тогда тоже Красную звезду дали.

Глава 3

Оля. Бабушка Маня. Отец и «Вера».

– Иди, мой ноги и ложись в бабушкиной комнате, – донеслось до меня. Я с трудом разлепил глаза и пошел на кухню, за которой находилась комната. В бабушкиной комнате, больше похожей на чулан с маленьким окошечком где-то под самым потолком, уместались как раз две крова-

ти, которые стояли по обеим сторонам двери. Бабушка Маня спала с дочкой, моей теткой, которая была лишь на год старше меня, на высокой железной кровати с блестящими шарами на спинках. Спали они на двух перинах, и когда ложились, проваливались в перины так, что я с моей солдатски тощей кровати видел одни их носы.

Я перешел в бабушкину комнату, когда Леха ушел в общежитие, которое ему предоставила кондитерская фабрика, куда его устроил отец. Но с некоторых пор мне стали опять стелить на диване в общей комнате, которую мать называла залом, что вызывало у меня протест. Тесная комната четырех метров в длину и трех в ширину, всегда темная от разросшихся кустов неухоженной сирени в палисаднике за окном, не соответствовала моим представлениям о залах.

Мать мне объяснила, что Оля уже девочка большая и меня стесняется, и вообще нехорошо большому мальчику спать в одной комнате с девочкой. После этого я стал приглядываться к Ольке, ничего особенного не заметил, но Олька пожаловалась матери, что я подглядываю за ней. Мать мне выговаривала, а я стоял красный от стыда и чуть не плакал.

Бабушка Маня приехала к нам из-под Смоленска с одиннадцатилетней дочкой Олей и четырнадцатилетним сыном Ленею вскоре после нашего возвращения из эвакуации в город. Мать почему-то об этом говорила: «Юра выписал мать из деревни». Я не понимал, как это «выписал», но слово это связалось у меня со словом «спас», спас от голода.

Мать над письмами из деревни плакала, а отец, читая, хмурился и успокаивал мать. Бабушка писала, что зиму она с двумя детьми не переживет. У Оли истощение, у Лени малокровие, а у самой ноги опухают, и она больше лежит и в колхозе работать не может. Коровы у них нет, одна коза, которую тоже нечем кормить.

Мать часто и долго говорили с отцом о бабушке, и отец, в конце концов, предложил взять ее с детьми к себе. Мать колебалась. За отцом нужен был хороший уход, потому что с войны он вернулся совершенно больным, и с ним часто случались припадки, после которых он долго не мог оправиться. Я пытался лечить отца, но болезнь плохо поддавалась и все, что я пока мог, это унять боль во время приступа.

– Может быть, ей лучше пока помогать? – нерешительно предложила мать.

– Чем? – усмехнулся отец. – С продуктами сама знаешь как. А деньги! Сколько мы можем послать? Триста рублей? А что на них сейчас купишь?.. Нет, надо выписывать. Вместе как-нибудь проживем.

Приехала бабушка к зиме. Уже установились прочные холода, и хотя снега еще не было, «белые мухи» кружили, а за ними вот-вот налетит метель, закружит и завалит все снегом.

Бабушку никто не встречал. Она приехала как-то вдруг, и я увидел ее, уже стоящую среди узлов, с детьми по обе руки.

Девочка, укутанная в клетчатый платок, перевязанный крест-накрест, сама была похожа на узел. Из оставленной в платке щели выглядывали синие глаза с рыжими ресницами. Серое заплатанное пальто почти закрывало ноги, и из-под пальто торчали лишь круглые мячики подшитых валенок. На руках у девочки были новые пушистые варежки из черной козьей шерсти.

Мальчишка был в фуфайке защитного цвета с подвернутыми рукавами, в не по возрасту больших, но добротных ботинках со скобками вверху для шнурков. Штаны болтались на щиколотках. Фуфайку стягивал кожаный офицерский ремень с латунной пряжкой, а на голове сидела набекрень солдатская шапка-ушанка со звездой на отвороте. Мальчишка бойко «стрелял» по сторонам глазами.

Среди узлов барином стоял черный, словно прокопченный, сундук, перетянутый кованым железом.

Для бабушки с детьми приспособили темную комнату, служившую раньше чуланом. Чулан побелили, покрасили полы. У соседей нашлась еще одна, старая кровать, которую отец починил и поставил в комнату.

Бабушка Маня оказалась сухонькой, проворной, не очень старой и смешной. Голова, похожая на свеколку, кончалась на макушке собранными в пучок волосами, скрепленными гребешком. Она никогда не ругалась «чертом», но всегда поминала его и винила во всех своих грехах. Если разбивала чашку или роняла вилку, то виноват был он:

«Ишь, вот нечистая сила, из рук выбивает. Господи, прости мя грешную, и аз воздам».

В своей комнате в изголовье кровати она сразу повесила иконы: дорогую «Казанской божьей матери» в серебряном окладе, небольшую «Николы чудотворца» под стеклом и совсем маленькую досточку с распятием Иисуса Христа. Я слышал, как мать то ли жаловалась отцу, то ли выпытывала его отношение к этому факту: «Мать икон нагородила, стыдно войти», и как отец оборвал ее: «Не суй нос, куда не следует. Верует – пусть верует. Тебе иконы ее не мешают».

Глава 4

«Цара». Я показываю «фокусы». Огород за два миллиона. Славка Песенка. Ти-Ти. Душевный разговор.

Проснулся я от скрипа половиц. Солнце давно заслонило мой сон, растворив его в яркой слепящей белизне. Но проснулся я от скрипа половиц. Половицы певуче скрипели, и скрип то прекращался, то появлялся вновь. Шипело сало. Пахло жареным луком. Это бабушка хлопотала на кухне. Сначала я почувствовал голод, потом открыл глаза. Солнце било прямо в лицо, и я невольно прищурился и закрыл глаза ладошкой.

– Вовка, – раздалось с улицы. – Вовка, – нетерпеливо, потом свист. Я мгновенно выпрыгнул из кровати, натянул шаровары, майку, схватил свою потертую феску, высунулся в окно и крикнул: «Щас». Не садясь за стол, жадно похватал то, что поставила бабушка: квашеную капусту, картошку с луком и салом и выскочил на улицу, дожевывая на ходу. Вслед что-то кричала бабушка, но я не слышал, я уже был во власти улицы.

– Айда на площадку, – позвал Пахом. – Там пацаны в «цару» играют. – У тебя деньги есть?

Я потряс карман, глухо звякнув медяками.

– За меня поставишь, – решил Пахом.

На пустыре, за частными домами, находилась бетонированная площадка, засыпанная землей и заваленная покореженным железом. Мы расчистили эту площадку, осво-

бодив от земли и хлама. Получилось ровное сухое место. Здесь можно было играть после дождя и ранней весной, когда в других местах еще грязь и слякоть. Говорят, что до войны на пустыре стояли ремонтные мастерские, а когда немцы подходили к городу, рабочие снимали станки и другое оборудование; что закопали, а что увезли.

Мы поднялись на площадку. Вокруг разбитого кона ползали на коленках и сопели пацаны. Нас заметили только, когда стали ставить новый кон. Я поставил за себя и за Пахома. Метая за черту битую, тяжелый царский пятак, разыграли очередь. Я оказался четвертым. Пахом вторым. Через несколько конов я проиграл все свои деньги. Не помог и Пахом, вернувший мне долг. Пахому везло, он три раза сбил кон, а переворачивал монеты, как семечки щелкал. Игра закончилась, и Пахом считал свой капитал: гнутые медяки, гривенники и пятиалтынные.

– Вовец, покажи фокус, – попросил Алик Мухомеджан.

– Не получится, настроения нет, – отмахнулся я.

– Да ладно, чего ты, Вовец, покажи, все просят, – тут же влез Витька Мотя.

Я неохотно опустил на колени.

– Клади монету на плиту, – попросил я Мотю. Тот вынул из кармана штанов гривенник и положил передо мной.

Пацаны сгрудились вокруг. Я потерял руки. Убедился, что они сухие, и стал как бы накатывать ладони на монету, то опуская их, то поднимая. Создав необходимое поле и ощутив связь между руками и монетой, я стал двигать ладони от себя, словно прокладывая монете дорогу. Гривенник шевельнулся и пополз сначала медленно, потом быстрее туда, куда я вел его ладонями. Потом я остановил монету и стал медленно ее поднимать. Гривенник послушно поднялся за ладонями сантиметра на два и упал.

– Все, – сказал я, – дальше не получается.

– А без рук? – попросил Изя Каплунский.

– Нет, все, устал, – наотрез отказался я.

– Кончай, Вовец, своих пацанов не уважаешь, – обиделся Пахом.

– Ладно, ставь кон. – Я знал, что от Пахома все равно не отвяжешься.

Пахом выгреб мелочь из кармана и стал городить кон, ставя одну монету на другую. Внизу пятаки, выше пятнашки, потом гривенники. Я снова опустился на коленки.

– Вовец, это близко, так каждый дурак сможет, – остановил меня Пахом.

– Я чуть отодвинулся и стал смотреть на столбик из монет, концентрируя на нем всю свою энергию. Столбик зашатался, как от подувшего на него ветерка. Я всем телом подался вперед, облекая желание в физическую форму. Столбик рухнул, и монеты рассыпались, укатываясь от места, где стояли.

– Молодец, Вовец, – похвалил меня Пахом. – Знай наших. А у меня ничего не получается, как ни стараюсь.

– И не получится, – усмехнулся Самуил Ваткин. – У Вовки от природы другая энергия в организме заложена, поэтому она и лечить может. Это как электричество.

– Эта энергия у всех есть, только она не проявилась, как у меня. И если тренироваться, можно достичь тех же результатов, – поспешил заверить я.

– Ерунда, – зевнул Самуил, не желая спорить о том, что ему было ясно.

– А где Монгол? – спохватился вдруг Пахом.

– А ему Коза огород копает. А он следит, чтобы Коза лучше копал, – вспомнил Витька Мотя.

– А зачем это Коза Монголу огород копает? – удивился Самуил.

– Дак Коза Монголу два миллиона проиграл.

– Как это два миллиона? – у Витьки Моти вытянулось лицо.

– А так! Сначала играли в пристеночки по две копейки. Монгол выиграл 18 копеек. Стали играть по пять копеек. Монгол выиграл рубль. Больше у Козы не было. Стали играть в долг. Сначала по рублю, потом по десять, потом по сто. Надоело в пристеночки, стали играть в погонялочки. Ну, в погонялочки Монгол кого хочешь обставит!

Когда Коза задолжал миллион, сыграли на миллион. После двух миллионов Монгол играть больше не стал. А долг обещал простить, если Коза ему вскопает огород.

– Пошли смотреть, – предложил Пахом. На Мишкином огороде трудился Ванька Козлов. Мы остановились в

сторонке и стали смотреть, как Иван ковыряет лопатой землю. По его лицу струился пот, и он едва успевал вытирать его рукавом. Мишка Монгол стоял рядом с руками в карманах и погонял Ваньку.

Увидев зрителей, Монгол почувствовал вдохновение и, подмигивая нам, стал разыгрывать комедию.

– Да, Коза, это тебе не в пристеночки играть. Давай, давай, не останавливайся. Как играть, так с удовольствием, а как копать, так лень.

Иван молча сопел и с трудом, прогибаясь назад, вытаскивал лопату с землей, затем всем телом обрушивался на эту лопату, чтобы разбить вынутый ком земли.

– А щас ты получишь шелобан, – весело сказал Мишка. – Чтoб не копал как зря, а на всю лопату.

И Монгол отвесил Ваньке шелобан с отяжкой. У Ивана выступили слезы на глазах. Видно было, что он устал и еле держит лопату.

– Монгол, дай я покопаю за Ваньку, – предложил Пахом.

– Не надо, – сказал Монгол. – Договор дороже денег. Он мне два миллиона проиграл, пусть копает.

– А тебе не все равно, кто будет копать? Пусть Ванька отдохнет, а я покопаю.

Мы молча смотрели на Монгола.

– Ладно, – подумав, согласился Монгол. – Копай, жалко, что-ли.

После Пахома копал Витька Мотя, потом я, потом Самуил Ваткин, потом Аликпер Мухомеджан, потом Изя Каплунский. Устав, решили сходить на речку, а после обеда раздобыть лопаты и докопать Мишкин огород.

На улице Революции, у рабочих барачков, малышня играла в ножички. Монгол вдруг остановился и приподнял за шиворот второклашку Славку Песенкова.

– Ты чего, пусти, – Славка стал извиваться, стараясь освободиться от Монгола.

– Да я тебя не трогаю, дурачок. Мишка отпустил Славку.

– Правда, что тебя берут в Москву в детский хор?

– Ага, – подтвердил Славка и шмыгнул носом. В носу звонко хлопнуло.

– А как же мамка отпускает? – поинтересовался Монгол.

– А к нам целую неделю каждый день Игорь Яковлевич приходил.

– Это кто такой Игорь Яковлевич?

– Дирижер. Я в Москве буду на казенных харчах жить в интернате. Мамка хоть и плачет, а ей с нами двумя трудно. Я буду на каникулы приезжать.

– Песенка, спой, – ласково попросил Монгол.

Славка упрашивать себя не заставил. Он будто ждал, когда его попросят спеть, отошел чуть в сторону, откашлялся и запел чистым серебряным дискантом, от которого мурашки пошли по коже:

Суль маре лючика, Лястро гарденто,

Плячиде лендо, Простер альвендо.

Вели тер ляпиде, Валь тендо мия,

Санто Лючия, Санто Лючия.

Славке было все равно, на каком языке петь. Он пел так, как пели на пластинке, по радио или в кино. Пели бы там на китайском, и он повторял бы слова на китайском языке. Слова у него как-то прочно оседали в голове вместе с музыкой, и он не воспринимал их отдельно.

– Песенка, спой еще, – стали просить мы, но тут из окна высунулась мать Славки, Зоя:

– Чего к ребенку привязались? А ну марш отсюда! Здоровые балбесы! Делать нечего?.. А ты иди домой, – напустилась она на Славика.

Внешность Зои не вязалась с хриплым, срывающимся на визг голосом. Красавица со смуглой кожей, голубыми глазами, длиннющими ресницами и черной толстой косой, уложенной венком вокруг головы, мать Славки орала, раздражаясь по любому поводу. Женщины уступали ей и терпеливо сносили грубость. Ее жалели.

В сорок четвертом Зое принесли похоронку, а месяцем раньше ее муж, офицер с золотыми погонами и грудью, украшенной орденами и медалями, приезжал в отпуск по ранению и ходил с ней под ручку. Женщины понимающе улыбались и прятали зависть, опуская глаза, а дома ревели от щемящей тоски и одиночества...

Этот душераздирающий крик всегда будет стоять у меня в ушах. Зоя рвала на себе волосы и пыталась наложить на себя руки. Она успела прожить со своим мужем два года до

войны и неделю на побывке. Первое время женщины не оставляли ее одну, а она ходила как полоумная и все молчала; одеваться стала неряшливо и не снимала с головы черного платка. А потом, когда стала отходить, удивила всех злобным характером и раздражительностью. И не изменилась, когда родила девочку, последнюю память о муже...

– Атанда! – весело крикнул Алик Мухомеджан, и мы понеслись галопом к речке, провожаемые Зойкиным криком.

У плотины под «бушем» Ти-Ти с Петькой Длинным возились в воде с самодельными сетками из противней, за которые всех нас в свое время драли, потому что противни мы тащили из дома. Мы их пробивали гвоздем, подвешивали за четыре угла на проволочный каркас, привязывали к днищу приманку и на веревке с деревянной палкой-поплачком опускали в воду, чтобы через некоторое время вытащить с пескарями, ершами и окуньками.

– Ти-Ти, – позвал Витька Мотя. – В третий класс перешел?

Ти-Ти недовольно повел ухом в нашу сторону и промолчал.

– Мы вас трогаем? – сразу взвился Петька. Когда обижали Ти-Ти, он остервенело бросался на его защиту.

Ти-Ти из-за дефекта речи долго не мог научиться читать. Он шепелявил и не выговаривал несколько букв. Над ним смеялись, он стеснялся и отказывался читать вслух. В первом классе его оставили на второй год. С трудом перевели в следующий класс и снова оставили на второй год во втором. Когда он читал числа, у него получалось что-то несуразное вроде «лас, та, ли, читьли», а когда счет переваливал за двадцать, получалось «тати лас, тати та, ти-ти-ти». Так и прозвали его Ти-Ти.

Петьку во второй класс перевели, но он решил дожидаться Ти-Ти и оказался, в конце концов, с ним за одной партой. Их рассадили, но они перестали вообще ходить в школу.

Ти-Ти рос без отца, но мать драла его безбожно и за отца и за себя, прибавляя от души за свою несчастную долю. У Петьки отец был, но лучше бы его не было. Он как пришел в сорок четвертом, так с тех пор и не просыхал,пил горькую. Пьяный лез целоваться, плакал и жалел Петьку, а трезвый бил всем, что под руку попадет.

Маленький Ти-Ти, казалось, вообще расти не собирался, как был в первом классе недомерком, так и остался, а Петька все тянулся и тянулся вверх, словно вьюн к солнцу. Так и ходили они два друга, метель да вьюга, везде вдвоем, водой не разольешь, вызывая невольные улыбки взрослых.

– Ти-Ти, – не обращая внимания на Петьку, веселился Витька Мотя, – как читается «конь»?

– Конь читается «мати знак – лосадь», – ответил Пахом.

Еще в первом классе учительница развесила на доске картинки с надписями и вызвала Ти-ти прочитать одну из картинок. Ти-Ти прочитал по складам: «Кы, о, ны, мати знак», посмотрел на картинку и объявил: «лосадь». Эта весть моментально облетела школу. В класс приходили старшие ребята и спрашивали: «Где у вас тут лошадь?»

От этой популярности Ти-Ти снова перестал ходить в школу. Завуч беседовала с классом, а учительница ходила к Ти-Ти домой, долго разговаривала с матерью, после чего Ти-Ти снова появился в школе с неизменной холщевой сумкой через плечо...

– Чего привязались? – лениво повторил Петька. Они о чем пошептались с Ти-Ти, «смотали» сетки, достали из воды нанизанных на нитку пескарей, взяли из-под камня присыпанные песочком штаны и, не обращая на нас внимания, побрели вниз по берегу. Мы молча проводили взглядом удаляющиеся фигуры, маленькую Ти-Ти и длинную тощую Петьки.

Сразу лезть в холодную воду не хотелось, и мы просто развалились на теплом песке и смотрели в бездонную голубизну неба. Солнце ласково грело голые животы, потусторонне шумела плотина, закрывались на дрему глаза и лениво шевелились мысли.

– Ты кем будешь, когда вырастешь. Пахом? – спросил Монгол.

– Не знаю, а что?

– Он будет дворником. Каждый день во дворе метлой машет, – засмеялся Армен Григорян,

– Щас получишь, – не поворачиваясь, огрызнулся Пахом и, подумав, ответил:

– Я люблю море.

– Это где ж ты его полюбить успел? Когда двор метлой

чистил? Наверно, представляешь, что это палуба, – не уни-
мался Армен.

– Дурак ты, Армен, – презрительно бросим Пахом. – У
меня дед еще в Японскую на канонерке «Смелый» служил,
а дядя Петя на подводной лодке плавал, сами знаете.

Мы, конечно, знали, что брат Ванькиного отца был
моряком и погиб под Севастополем, и теперь чуть помолча-
ли, как бы утверждая за Пахомом право стать моряком.

– А я люблю природу, – задумчиво покусывая травин-
ку, сказал Мишка Монгол. Голос Монгола подобрел, а глаза
стали масляными. – Мать хочет, чтобы я пошел учиться на
садовника. Говорит, всю жизнь на воздухе среди цветов.

– И среди говна, – продолжил в тон ему Самуил таким
же мечтательным голосом. – Знаю, бабка Фира, дяди Абра-
ма мать, на цветах помешана. Так от ее навоза у нас уже но-
сы посинели. Куринный помет собирает, коровьи лепешки
по улице ищет. Все ведра и кастрюли загадила.

– Много ты понимаешь, Шнобель. Бабке спасибо ска-
зать нужно.

– Это за что ж?

– За красоту, дурак. За то, что она людей радует.

– Как же, радует! – обозлился Самуил. – Кто ее цветы
видел? Ты видел? То-то. На базаре ее цветам радуются. По
червонцу штучка.

– Самуил, а почему вы в свой двор никого не пускаете?
– поинтересовался Витька Мотя. – Забор такой, что не пе-
релезешь.

– А ты перелезь. Там пес с теленка на проволоке по
двору бегаёт. Недаром на калитке написано «Злая собака»,
– усмехнулся Пахом.

Мы выжидающе смотрели на Самуила.

– А я почем знаю? – смутился Самуил. – Это дом дяди
Абрама.

– Ну и что? Твой же родственник, – упрямо возразил
Витька.

– Да, родственник, – вспыхнул Самуил. – Родственник.
Только мы с матерью, Соней и Наумом в одной полутемной
комнате живем. А мать ему за квартиру двести рублей пла-
тит. И с матерью он ругается за то, что она нас в синагогу не
пускает.

– Ну, фашист, – вырвалось у Моти.

– Какой же он фашист, если во время войны сто тысяч на танк отдал, – сказал Изя Каплунский. Просто в нем старая вера глубоко сидит. Он боится, что если не будет хранить старые еврейские традиции, то евреи потеряются и вообще исчезнут. Поэтому он и не пускает к себе никого, кроме верующих евреев, и с русскими старается не водиться.

– Он и читает только старые еврейские книги, – подтвердил Самуил. – Потеха. Начинает с конца и читает наоборот.

– Как это, наоборот? – усомнился Мотя.

– Ну, мы читаем слева направо и с первой страницы, а древнееврейские книги читаются справа налево с последней страницы.

– Здорово.

– Каплун, а откуда ты про Аврама все знаешь?

– Знаю, что знаю, – уклончиво ответил Изя.

– Дядя Аврам на его матери жениться хотел, – выдал тайну Самуил. Изя бросил на него презрительный взгляд:

– Пусть сначала рожу помоет. Мать от него корки хлеба не возьмет. Это он отца посадил. А потом охал, жалел, помощь предлагал. Мы голодали, а только мать копейки у него не взяла.

Изя сжал губы и замолчал. Видно, он думал о чем-то своем, чем не хотел делиться с нами.

– Ну, огольцы, купнемся! – бодро предложил Монгол.

– А купнемся, – отчаянно согласился Пахом.

Они стащили штаны, потом трусы и, закрываясь ладошками, стали опасно входить в воду. Монгол не выдержал медленной казни холодной водой и, завопив диким голосом, бросился всем телом в речку, обдав Пахома фонтаном брызг. Пахом повернул к берегу, за ним следом выскочил с выпученными глазами Монгол и, издавая ошальные вопли, стал как безумный носится по берегу.

Глава 5

**Горбун Боря. Немец Густав и подпольщики.
Помещик Никольский. Борино убежище.**

Сверху послышался шорох и посыпались камешки. Цепляясь одной рукой за землю, по крутому берегу неловко спускался горбатый Боря. На голове, вдавленной в плечи, сидела мягкая фетровая шляпа, засаленная и потертая настолько, что трудно было угадать ее цвет.

– Ну, что, соколики мои милые, водичка теплая? – его резкий скрипучий голос шел не из горла, а откуда-то из живота.

– Не-е, холодная, – засмеялся Пахом.

– А мне сказали, как парное молоко.

Подбородок горбуна тянулся кверху, еще больше вдавливая затылок в плечи, и умные огромные васильковые глаза от этого тоже глядели вверх. Глаза были настолько выразительны, что, казалось, живут на лице отдельно, сами по себе.

– А ты сам окунись, а потом нам скажешь, – посоветовал Пахом,

– И то верно, – согласился Боря и стал неторопливо раздеваться.

Голый Боря являл совершенно нелепое зрелище. Длинные тонкие ноги, как у журавля, подпирали короткое туловище с плоским тазом, а в промежности висела, будто сама по себе, темная кила тяжелой мошонки.

– Дядь Борь, закройся, вон баба белье поласкает, – предупредил Изя Каплунский.

– Небось не укусит, – бросил равнодушно Боря и пошел своей маятниковой походкой, закидывая руки за спину и размахивая ими где-то за ягодицами, ступая осторожно, будто пробуя воду. В речку Боря зашел также неторопливо, как шел по берегу. Когда вода дошла ему до груди, он перевернулся на спину и поплыл вдоль берега.

– Во дает, – хохотнул Монгол, – вода ледяная, окунуться б, да назад.

– Да Боря зимой по двору в трескучий мороз без рубашки ходит, – сказал Мухомеджан.

– Зачем? – заинтересовался Самуил.

– Закаляется, чтобы не болеть. Ты же видишь, он убогий, болел часто, вот и стал закаляться. Он и зимой в плаще ходит.

– Да это мы знаем, – засмеялся Пахом. – Больше надеть нечего, вот и ходит.

– Ладно, есть чего или нечего, а ты поплавай с Борей, если такой ушлый, – усмехнулся Монгол.

– Ага, разогнался. Я лучше щас Армена искупаю, – и он сделал движение в сторону Григоряна, тот приготовился вскочить.

– Да не бойся, я пошутил, – Пахом расслаблено улегся на песок.

Из речки вышел Боря. Он руками стряхнул с себя воду и стал одеваться. На теле не появились даже мурашки.

– Дядя Борь, это правда, что ты голый по двору ходишь, закаляешься? – спросил Изя Каплунский.

– Да что ты, милый, – засмеялся как заквакал Боря, – голый не хожу, а закаляться закаляюсь и, вздохнув глубоко, сказал:

– Эх, ребятушки, пошли вам бог хорошего здоровья. Плохо хворому-то.

– А правда, что ты подпольщиков у себя при немцах прятал? – поинтересовался Каплунский.

– Было такое, соколик мой, – нехотя ответил Боря.

– Расскажи, дядя Боря, – попросил Мишка Коза.

Боря вдруг поскуцнул лицом и завозился со шнурками на кирзовых ботинках.

– Расскажи, дядя Борь, не ломайся, – присоединился к просьбе Мишки Монгол.

– Да ведь будь она, эта война, проклята. Как вспомню, сердце останавливается. До сих пор Густав во сне снится.

– Что за Густав такой? – поинтересовался Мотя.

– Жилец. Унтер. Как напьется, за пистолет: «Горбатч, к стенке». Да, почитай, каждый день расстреливал. Стоишь и думаешь, пальнет мимо, или спяну попадет? А то выводил во двор. «Все, Горбатч, пошли. Ты есть партизан, и я буду тебя расстрелять». Выведет, к дереву поставит и целится в лоб. Я смерти-то не боюсь. Что я? Муха. Прихлопнул и растер. А вот унижение терпеть невыносимо. Человек, он что? Червь. Есть он – и нет его. Но это опять же, с какой стороны смот-

реть. Разум мне дан свыше, а отсюда и гордость человеческая, и боль, и скорбь. И терпел я унижения эти потому, что не за себя одного отвечал, а за людей был в ответе, которых хоронил в подвале своем. У меня дома подвал до войны хитрый получился. Из кухни вход под половицами. Дом-то старый, помещичий, еще Никольскому принадлежал.

– Это, какому Никольскому, деду Андрею Владимировичу?– уточнил Мишка.

– Истинно. Андрею Владимировичу. У него еще два дома по нашей улице стояло.

– Так он буржуй недорезанный, – зло пыхнул Витька Мотя. – Как же его в Сибирь не сослали?

– Э, милоч, человек Андрей Владимирович особый, не стандартный.

Только революция пришла, он тут же дома Советской власти отписал. Золото, не скажу, что все, а в ЧК самолично сдал. Пришел, попросил двух сотрудников, привел в сад, показали, где копать, да не в одном, а в нескольких местах. Жена, покойница, в голос: «Ирод, по миру пустил, дочку без приданого оставил». Тот сначала слушал, а потом как гаркнет: «Цыц, купчиха чертова, из-за тебя, на утробу вашу совестью торговать начали, о душе забыли. Куда копили? Кого грабили? Да взял топор – и к трубе водосточной. Разворотил коленце, а оттуда банка круглая с драгоценностями. «Вот, – говорит, – хотел на черный день оставить, а теперь вижу: не надо, ничего не надо, все берите». Да перекрестился и говорит: «До чего же мне легко стало, господи. Яко благ, яко наг».

– Ну, дед, ну Никольский! – обрадовался почему-то Пахом, а Самуил недоверчиво покачал головой:

– Ну, положим, все-то он не отдал; что-нибудь да себе оставил.

– А ты по своему Абраму не суди,– обиделся за Никольского Каплунский.

– Да, соколики мои, русская душа за семью печатями лежит. И никому не дано понять и оценить характер и поступок русского человека. Казалось бы, писатели наши: Достоевский Федор Михайлович и Толстой Лев Николаевич куда как полно раскрыли русский характер и в душу русскую заглянули. Ан нет. Еще Чехов Антон Павлович пона-

добился, чтобы новую струнку затронуть. И не разгадан русский человек, и не описан полностью остался.

Максим Горький изумился как-то и с восхищением воскликнул: «Талантлив до гениальности», не удержался и заметил: «И бестолков до глупости».

Взять того же Никольского Владимира Андреевича. Как сыр в масле катался. Казалось бы, чего тебе еще? Ешь, сыт и убажен, и прихоти любые твои исполняются. А ведь ел его червь сомнения, душа роптала и протест в ней зрел.

Фашист, он так и думал, когда ему место головы Городской Думы предлагал. Мол, властью обиженный, лишился всего и теперь зубами грызть большевиков будет, а он кукиш им. Стар, говорит, немощен я служить, дайте помереть спокойно. А старик, сами знаете, крепок. И про подвал он знал, конечно. Кому как не ему свой дом бывший знать? Знал и молчал.

– Так что про подвал-то, дядя Борь? – напомнил Монгол.

Вот я и говорю. Подвал с каменными сводами был аккурат под моей квартирой, я им и пользовался. Вход со двора, из палисадника, еще до войны замуровал заподлицо с фундаментом, а проем, где кончались ступеньки и начинался подвал, тоже заложил кирпичом, так что получился потайной простенок. А вход в подвал у меня начинался из подпола. Только если в подпол спустишься, входа в подвал не увидишь, кто не знает, тот и искать не станет. Опять же, если кто вход найдет, да вниз спустится, ни за что не догадается простенок искать. А в простенок-то и можно через потайной лаз попасть, да если что, отсидеться.

Все мы про Борин подвал знали, но слушали, не перебивая, будто в первый раз слышали.

– Дядя Борь? – опросил Самуил. – А как же так вышло, что ты на базаре примусными иголками торгуешь? Самого секретаря горкома прятал и иголки продаешь.

Самуил, прищурился, смотрел на Борю. Мы тоже с интересом ждали, что скажет Боря.

– Эх, вы, воробушки небесные, да мало ли кто кого, где прятал, кого спасал. Что ж теперь – памятники им ставить? Да и не секретаря я прятал, а человека божьего...

– А вот Густава я все же встретил, – без всякого перехода сказал Боря.

– Да ну? Где? – вскинул голову Мотя.

– А здесь, в городе. У Свисткова, начальника над военнопленными, немцы дом ремонтировали. Иду как-то по улице, вижу: двое пленных свистульки и гимнастов на двух палочках на хлеб меняют. Гляжу и глазам не верю: Густав, подлец, стоит, а вокруг ребятишки. Увидел меня, узнал, вытянулся, побледнел. Улыбка жалкая, «Гитлер капут, русский гут», – шепчет. Посмотрел я на него, и чувствую, нет у меня зла. Все перегорело. И передо мной не зверь какой стоит, а самый обыкновенный человек, рыжий, лопухий.

– Я все равно б не простил, – сказал Пахом. – Они наших вешали, а мы их в плен.

– Э, милый, всякие немцы были. Были такие, что вешали. А были солдаты чести, которые воевали, выполняя приказ фюрера Германии. Эти не лютовали, а исполняли свой долг. А больше всего было одураченных. Правда, к концу войны прозрели и те и другие.

– Я б не простил, – упрямо повторил Пахом.

– Ну ладно, ребятушки-козлятушки, вы загорайте, а я пошел. Пора мне.

И Боря полез наверх, то, помогая себе одной рукой, цепляясь за кустики, то становясь на четвереньки. А мы смотрели ему вслед, пока он не взобрался наверх крутого берега и, став на тропинку, не исчез за его крутизной.

Уже вечером мы вскопали Мишке огород. Мать его, чуть тронутая умом Анна Павловна, курицей кудахтала вокруг нас, не зная, как отблагодарить и, наконец, дала всем по стакану молока от козы, которую держала для Мишки и берегла как зеницу ока, считая, что полезнее козьего молока нет ничего на свете...

На соседнем огороде бабка Пирожкова, сидя на табуретке, тыкала лопатой в землю, окапывая себя. Когда она заканчивала копать землю в пределах ее досягаемости, дочка Люся и внучка Зоя поднимали бабку под руки, переводили на новое место и подставляли под нее табуретку. Полностью ее зад на табуретку не умещался и свисал с двух сторон двумя жирными складками. Так Пирожкова выполняла предписание врача, пытаясь сбросить свой стосорокакилограммовый вес физической работой.

Шаман. Похождение души. Камлание. Отец и бабушка о бессмертии души.

...Шаманом меня выбрали духи-покровители. Они явились ко мне и предложили стать шаманом. Я предназначен быть шаманом, потому что в моем роду были предки шаманы и потому, что я болел шаманской болезнью. Временами я ночью тайком выходил из чума и сидел на дереве. С рассветом я, стараясь быть незаметным, возвращался и ложился в свою постель. Я часто лежал без сил, ощущая ужасные боли. Мне чудилось, что Духи преследуют и терзают меня из-за моего упрямства, потому что Духи однажды явились и предложили мне стать шаманом, а я отказался, и им ничего не оставалось, как насрать на меня болезнь. Без мучений обойтись было нельзя. Духи должны были разрубить меня на части, сварить и съесть, чтобы воскресить уже новым человеком, стоящим выше простых смертных. Во время моей болезни меня водили по разным темным местам, где бросали то в огонь, то в воду. Я шел куда-то вниз и так дошел до середины моря и услышал голос: «Ты получишь шаманский дар от хозяина воды. Твое шаманское имя будет «Гагара». У меня были спутники: мышь и горноста́й, которые показали мне семь чумов. В одном чуме «леди преисподней» вырвали мое сердце и бросили вариться в котел. В месте, где было девять озер, мне закалывали горло и голос; там я увидел на острове высокое дерево.

Голос сказал мне: «Из ветвей этого дерева тебе нужно сделать бубен». Потом я летел вместе с птицами озер. Как только я стал удаляться от земли, я увидел падающую ветку для бубна и поймал ее.

Горноста́й и мышь привели меня к высокой сопке. Я заметил вход и вошел. Внутри было светло. Там сидели две слепые женщины-божества с ветвистыми рогами и оленьей шерстью. Женщины позволили вырвать у них по волоску и сказали: «Это поможет тебе смастерить шаманскую одежду».

Дальше я увидел высокие камни с широкими отверстиями. В одно из них я вошел. Там сидел голый человек и раздувал огонь мехами. Увидев меня, голый человек взял

щипцы, притянул меня ими, разрубил тело на части и сварил. «Если над ним поработать, он станет великим шаманом, – сказал он. – Вот наковальня доброго шамана». Он положил мою голову на наковальню и несколько раз сильно ударил по голове. Потом кузнец собрал меня по частям, в голову вставил другие глаза, а потом просверлил уши и сказал: «Ты будешь понимать и слышать разговоры растений».

Через семь лет моих походов какой-то человек вложил мне в рот когда-то вырезанное сердце. Из-за того что мое сердце долго варилось и закалялось, я могу долго распевать шаманские заклинания и не испытывать усталости...

Теперь я мог спасти свой род от болезней. Перед камланием я взял свой шаманский ящик с костюмом, бубном и 'духами, вырезанными из дерева. Ящик мой украшали колокольчики, ленты, шнурки. На одной стенке красной краской нарисованы мои духи. Я одевался неторопливо и тщательно. На длинных ноговицах, привязанных к штатам и соединенных у щиколоток с короткими головками из камосов, у меня пришиты когти медведя, потому что это не я буду ходить, а медведь будет прыгать и скакать, раскачиваясь на ходу. На плечах моего кафтана нашиты железные крылья гагары, потому что это не я буду летать по воздуху, а гагара, в которую я обращаюсь. На шапке, сделанной из шкуры оленя, снятой вместе с рожками, торчит железное изображение рогов оленя, потому что олень, в которого я превращусь, будет мчаться сквозь лесную чащу,

Звон колокольчиков и подвесок – это звук, который идет из мира духов. Трудно держать в руках бубен из-за тяжести собравшихся в нем духов. Но благодаря духам, в нужное время бубен превратится в лодку, плывущую по быстрой реке, или в лук, а потом в летящего по воздуху оленя.

Я бью в бубен, я призываю своих духов-помощников. Их надо возвеличивать. Тогда они быстрее услышат меня и появятся.

«Откликаюсь на мой голос, придите. Откликаюсь на зов, опуститесь, железного хана сын-хан, уважаемый, красноречивый хан».

Дух услышал обращенное к нему песнопение, и я хрипло объявил о его присутствии и заговорил его голосом: «Ао, кам, ай».

Я созвал своих духов и проверил, надежна ли стража из духов у чума и на пути предстоящего путешествия. Моя душа отправилась в сопровождении духов-помощников в подземный мир, чтобы выяснить, почему мой род болеет. Предки сказали, что во всем виноват шаман соседнего рода. Посланные им духи вселились в людей и губят их. Но как спасти род?

Я сильнее забил в бубен, и моя душа опять улетела к предкам. Они сказали, что надо послать к соседям злых духов «бумумук». Пусть «бумумуки» вселятся в соседей и принесут гибель, и тогда их шаман возьмет назад своих вредоносных духов. Я бешено скакал по чуму, разбрасывая ногами головешки и угли из очага, потом, доведенный до экстаза, бился головой о шесты чума, кусал до крови губы и стал подражать полету своих духов. Потом я летал вместе с духами через скалы, хребты, водопады и реки в сторону врагов. Я наслал «бумумуков» на соседей. Я спас свой род.

Внезапно силы оставили меня, и я бессильно повалился на пол чума, и меня окутала непроницаемая тьма...

Когда мы вечером сидели за столом и пили чай, я сказал, что во сне был шаманом и шаманил, носясь по комнате как угорелый, а перед этим прошел весь путь шамана.

– Ну, во-первых, это называется камлать, а не шаманить, а носился ты не по комнате, а по чуму, – с улыбкой сказал отец.

– Правильно, по чуму. Я носился по чуму и камлал, – подтвердил я.

– Вовонька, дитенок, – пропела бабушка. – Это твоя беспокойная душа рассказывает о том, что когда-то видела,

– Уж тогда скорее твоя душа вспоминала, что ты был когда-то шаманом, – усмехнулся отец.

– Почему? – спросил я.

– В восточных религиозных учениях есть такое понятие «реинкарнация», что значит «переселение душ». Явление это известно с древних времен. Еще Платон вслед за Пифагором разделял идею переселения душ.

– Что значит «переселение душ»? – Эта тема волновала меня, потому что в моих снах, похожих на яркие картинки, логичные в своем продолжении, часто терялась та грань, за которой кончается явь, и я пользовался любой

возможностью, даже нелепой, чтобы объяснить эту мою раздвоенность сознания.

– Это значит, – продолжал отец, – что душа – бессмертна и со смертью физического тела переселяется в другое тело или даже растение.

– Что ты такое говоришь, Тимофеич? – возмутилась бабушка. – Душа-то бессмертна, но она никуда не переселяется. Господь забирает ее и определяет ей место. Какая в рай попадет, а какая в ад.

– Это в нашей, православной вере, мама. А я так думаю, что она никуда не попадает, потому что ее просто нет.

– Господь с тобой! Грех это, – бабушка перекрестилась и испуганно оглянулась на свою комнату, где висели ее иконы. Потом зашептала:

– Как же без души? Без души – это пень тогда будет, а не человек. Господь дает нам душу. Господь и отнимает. Ты же Библию читаешь, и церковные книги у тебя видела.

– Да веруйте вы себе на здоровье, мама, – сказал отец. – Я уважаю всякую Веру, и никого не хочу разубеждать. А Библию я читаю, потому что хочу понять, где вымысел, а где правда. Чем, например, отличаются мусульмане от христиан.

– А тем и отличаются, что басурманы они, нехристи.

– Вот видишь, а они говорят, что мы неверные.

– Это пусть говорят, Бог их за это и покарает.

– Так уж и «покарает». А за что карать-то? Ты веришь в Бога и Христа, мусульмане верят в Аллаха и Мохаммеда, что для них то же самое, а Бог-то один.

– Один, один, батюшка. Истинно один. Спасибо за чай.

Решив не гневить Господа греховным разговором, бабушка встала, перекрестилась и пошла к себе в комнату.

– Ну, ты, Юр, связался, – недовольно сказала мать. – Что, поговорить больше не о чем?

– Извини, – смутился отец. – Как-то так получилось... Вот, думаю сам веру принять. Только не знаю, какая лучше, православная или мусульманская. А может буддизм? Но тогда в переселение душ придется поверить. Правда, после этого меня из партии выгонят, – пошутил отец.

– Буровишь ты, Юр, черте что, – возмутилась мать. – За столом сидишь. Ты лучше бы с Вовкой куда к врачам сходил. То летает куда-то, то чертовщину какую-то видит.

– Да не беспокойся ты, мать. Все у него нормально. Просто он немного не похож на других. У него более чувствительная нервная система. Поэтому и сны у него необычные. Его память запечатлевает любую, даже самую незначительную информацию помимо его воли, а потом она проявляется, во сне, например. Вот и весь фокус. Вот он говорит, что не знал таких слов, как «камлать», «чум», но ведь они как-то к нему в память попали.

– А как же одежда? А слова, которыми я духов вызывал? – неуверенно сказал я.

– Да все то же самое. И одежду ты мог видеть. Может быть, в музее.

– В музее шаманов нет.

– Ну, мало где? Я же говорю, что эта информация может откладываться в памяти произвольно. И радио, и подслушанные невольно разговоры ... Не хочешь же ты сказать, что ты действительно был когда-то шаманом? – Отец потрепал меня по волосам, – Отдыхать надо больше. И меньше забивать голову всякой ерундой.

Глава 7

Отец и Леха. Пустырь. Метатель молота Алексеев. Ванька Коза. Рассказ о Ваське Графе. Леху увозит «черный ворон».

Леху забрали. Он не ночевал дома, и его не было в общепитии. Бабушка Маруся ходила к хорикам, где жил какой-то Лехин знакомый, пришла в слезах, бухнулась к отцу в ноги и, тонко причитая, стала просить вызволить паразита Лешку из милиции. Отец недовольно хмурился, отчитывал мать, которая заступалась за брата, выговаривал бабушке, но куда-то ходил, перед кем-то хлопотал, и через неделю Лёха пришел домой.

На Леху жалко было смотреть. Блатной налет с него слетел как шелуха, будто его и не было. Леха осунулся, белесые ресницы растерянно хлопали, и было видно, что он напуган.

Леха появился утром, когда отец уже был на работе, и как шмыгнул в бабушкину комнату, так и просидел там до вечера.

Бабушка порхала из кухни в комнату, из комнаты на кухню, совала Лехе картошку с огурцом и все охала и сокрушалась, что он похудел.

Придя с работы, отец спросил коротко:

– Пришел?

– Дома, целый день сидит, не евши, в рот ничего не взял, – заскулила бабушка Маруся.

– Пусть зайдет в зал, – приказал отец.

– Леня, дитенок, иди, Юрий Тимофеевич зовет, – с нарочитой строгостью позвала бабушка и просительно к отцу:

– Ты ж его, сироту, не бей.

– Дура вы, мамаша, – возмутился отец. – Вам бы не заступаться, а просить меня, чтоб три шкуры с него, подлеца, спустил за его дела, а вы ...

Отец не договорил и, махнув рукой, ушел в зал. Из своего убежища вышел Леха. Он не знал, куда деть руки, то засовывал их в карманы, то вытаскивал, и они щупали и мяли рубаху, а глаза его бегали загнанными зверьками.

– Ой, дитенок, сиротинушка моя горемычная, головушка горькая, – вполголоса запричитала бабушка, поглядывая на дверь в зал.

– Леонид, – послышался голос отца.

Леха втянул голову в плечи и шагнул в комнату с видом обреченного на смерть. Я было сунулся за ним следом, но отец выставил меня за дверь, и я сидел, прислушиваясь к тому, что происходило в зале. Бабушка мягко, как кошка, ходила по кухне, промокала глаза концом головного платка и тоже прислушивалась.

До нас доносился сердитый голос отца, но слов было не разобрать. Только отчетливо выговаривал рыдающий голос Лехи: «Отец, гад буду, если...» Наконец, дверь распахнулась, и вышел Леха с красными мокрыми глазами и жалким оскалом зубов с огненным сиянием золотой коронки.

– За отца душу выну, – пообещал Леха и ушел в бабушкину комнату додумывать свою дальнейшую жизнь...

На улице никого не было, и я побежал на пустырь. В это время на пустыре тренировался чемпион области Юра Алексеев, и мы любили смотреть, как он метает свой молот. Пацаны кучно сидели на пригорке и следили за чемпионом. В спортивных шароварах, до пояса обнаженный, Алек-

сеев, раскручивал над головой ядро на металлическом тросе, поворачивался вслед за ядром несколько раз сам и выпускал снаряд. Ядро тянуло спортсмена за собой, и он балансировал на одной ноге, удерживая равновесие, чтобы не переступить черту, и следил за полетом снаряда, который со свистом, рассекая воздух, мощно летел, неся за собой трос с ручкой, будто хвост кометы; опускался по дуге и глухо бухал о землю, замерев в выбитой им лунке. Алексеев так и стоял на одной ноге, провожая взглядом ядро и наклоняясь, будто сам летел вместе со снарядом, и только когда снаряд падал, он, словно спотыкался обо что-то, выпрямлялся и шел к концу поля.

Алексеев долго щупал землю или воронку, вырытую ядром, чистил шар снятой рукавицей и, наконец, возвращался на исходную позицию. Меня всегда удивляло, что он тащил ядро через все поле назад, а не бросал его оттуда еще раз.

– Юрик, сколько? – деловито осведомился Пахом. Алексеев даже не посмотрел в его сторону, расставил ноги, потоптался, как бы врываясь в вытоптанный пятачок, и снова закрутил молот над головой.

– Меньше пятидесяти, – сочувственно перевел Мухомеджан.

– Ну что, Вовец? – поинтересовался Монгол. – Твой отец Лёхе взрезал? Ребята отвели глаза от поля и уставились на меня.

– Нет, – разочаровал я их, – не взрезал.

– Почему?

– Откуда я знаю? Отец с ним целый час о чем-то говорил, а дверь была закрыта.

– А откуда ж ты знаешь, что не взрезал? – с надеждой спросил Изя Каплунский. Я пожал плечами:

– Если бы он его ударил, Леха визжал бы как резанный, а он молчал. Да и отец никогда не дерется.

– Вовец, а почему Леха тебя не любит? Вроде дядька, заступаться должен, а ты сам его боишься.

– Не знаю. Он себя считает сиротой, а я при отце и матери. Злится. Только у нас дома отец никого не выделяет. С Олькой нам покупают все поровну, ей даже больше, чтобы разговоров не было. А Леха сам себя в несчастные записал.

Ему неловко вроде сидеть на отцовской шее, а сам получает мало. И злится. Со шпаной связался.

– А зачем ему получать много? Он на кондитерской фабрике работает. Конфеты, пряники. Ешь, не хочу! – Изя мечтательно завел глаза.

– Нас бы туда! – согласился Вовка Мотя. Все засмеялись.

– От Лехи всегда кондитерской фабрикой пахнет, – сказал Григорян.

– Эссенцией от него всегда пахнет, – усмехнулся я. – Фруктовая эссенция, которую добавляют в конфеты, на спирту. Мужики там ее пьют вместо водки.

– То-то Лёха все время пьяный ходит, – сообразил Витька Мотя.

– Так за что его забрали в милицию? – спросил Самуил.

– Не знаю. Бабушка не говорит, а мать сказала, что это не моего ума дело.

– Не знаю, не знаю! – передразнил Пахом. – Что ты вообще знаешь? Мать говорит, что они ограбили квартиру.

– Не квартиру, а магазин, – поправил Ванька Коза. – А Леха на шухере стоял.

Витька Мотя присвистнул. Мы выжидательно смотрели на Ваньку. Ванька было замолчал, чуть поколебался и выложил все, что знал:

– Магазин брали монастырские, с которыми водится Леха. Леху поставили на шухер. Только какой Леха вор? Обыкновенный прибалтанный. Стоял, а коленки, видно, тряслись. Увидел лягавого – в штаны наложил и драпанул с перепугу. Тот его и сцапал. Конечно, подняли тревогу. Всех и взяли. Китаец ушел вроде, но через день его тоже взяли на малине.

– Не драпани Леха, лягаш прошел бы мимо – и магазину хана, – заключил Иван.

Пока мы молча переваривали Ванькин рассказ, Алексеев успел снова метнуть свой молот и ощупывал воронку на другом конце. Монгол вынул изо рта сухую былинку, которую лениво перетирал зубами, и вдруг спросил:

– Коза, а откуда тебе все это известно?

Иван приподнялся на локтях, внимательно посмотрел на Монгола и с усмешкой ответил:

– Сорока на хвосте принесла.

– Смотри, Коза, доиграешься. Забуришь как Леха. Курские-то почище монастырских будут.

Ванька презрительно циркнул слюной через зубы и ничего не ответил.

Ванька последнее время водился с нами редко, все больше бегал на Курскую, где жила отъявленная шпана. Не раз он приносил домой ворованные тряпки, а мать молча прятала, невольно поощряя его. Старшая сестра, Нинка, девка красивая и развязная, когда Ванька показал ей маленькие золотые сережки, спросила:

– Где взял?

– Нашел, – ответил Ванька,

– Сразу две? – засмеялась Нинка. Серьги у него взяла и, подмигнув, сказала, улыбаясь:

– Вот бы ты мне еще перстенок золотой нашел,

Нинке было шестнадцать лет, но полнота делала ее старше, ходила она в туфлях на высоких каблуках, и за ней ухаживали офицеры.

– Огольцы, гляди! – показал рукой Армен.

Алексеев метнул молот, побалансировал на одной ноге, проследив за полетом ядра, и опростелью бросился на другой конец поля. Он поднял ядро и долго ходил вокруг лунки, поглядывая на нас, потом вбил кол, сделав отметку броска, и пошел, сияющий, к исходной позиции ближней к нам стороной.

– Сколько, Юрик? – спросил Пахом.

– Пятьдесят два! – белозубо улыбаясь, ответил чемпион.

– Ну, ты даешь! – вежливо удивились мы.

У Алексеева рот растянулся до ушей. Он почистил ядро, не торопясь, надел рубашку и, усталый и довольный, пошел с поля.

– Так он скоро и Александра Шехтеля догонит, а Шехтель чемпион России, – сказал Самуил Ваткин.

– А это сколько? – поинтересовался Монгол.

– Больше пятидесяти четырех метров.

– Так Юрик его скоро и догонит, – порадовался Пахом,

– Может и догонит.

– Мне домой пора, – поднялся Ванька Коза.

– А футбол? – спросил Каплунский.

– Неохота, – отмахнулся Ванька.

Он ушел, не торопясь, вразвалочку, чувствуя, что мы смотрим ему вслед.

– Пошел к курским, – сказал Мотя.

– А то куда ж, – согласился Монгол.

Солнце клонилось к закату, румяня крыши домов и верхушки деревьев, отчего они становились похожими на сказочные картинки из детских книг. Земля за день нагрелась, напиталась солнцем, но за ночь она остынет и утром встретит светило паром и туманом в низинах. Но солнце вновь даст ей тепло, необходимое для жизни. Вечера последних весенних дней выдались сухими и теплыми. Мы сидели на траве, развалиясь и лениво пожевывая травинки, А вокруг все дышало тишиной и покоем.

– Миш, а, правда, что Васька Граф сам с Курской? – спросил Сеня Письман.

– Правда.

– А я слышал, что он из монастырских, – возразил Пахом.

– Нет, из курских, точно знаю. Да ты спроси у Козы, он тебе скажет.

– Коза сам не знает. Это курские форс дают, будто Граф их. Бахвелятся.

– Тетя Фира говорит, что вчера на барахолке мужику продали отрез бостона, дома развернул, а там уже рукав от фуфайки, – сказал Семен. – Надо же так сделать. Ведь мужик своими глазами отрез смотрел.

– «Кукла». Жулики могут все что угодно завернуть, комар носа не подточит. Могут показать настоящий отрез, а подсунуть «куклу». Ловкость рук, – объяснил Монгол.

– Это Граф, – решил Володька Мотя.

– Ой, уморил. Будет Граф руки марать такой мелочью. Он по барахолкам не ходит. Это Санька Хипиш. Тот такие штучки вытворяет. А Граф ворует по крупному.

– А, говорят, они работают в паре, – Витька Мотя переменял позу и сел поудобнее. – Я слышал про них такую историю. Сели в поезд, в купе. Ну, Граф в шляпе, при галстукке. Сидит, ведет разговор с пассажирами, о том, о сем, знакомится. Появляется Хипиш. Садится. При удобном случае вытаскивает у Графа, так чтобы заметили соседи по

купе, часы и смывается. Тут сразу поднимается шухер. Мол, у вас часы украли. Граф говорит: «Не может быть. Мои часы при мне». «Нет, часов у вас нет». Короче, Граф вызывает всех на спор. Те знают, что часов точно нет, и готовы спорить на все, что у них есть. Граф показывает часы, получает деньги и – прощай Маруся.

– Ловко! – отметил Армен Григорян. Мы засмеялись.

– Санька на базаре быть не мог, – неожиданно заявил Самуил Ваткин.

– Почему это? – приподнялся на локтях Монгол.

– Да потому что он в тюрьме.

– А ты откуда знаешь?

– Помнишь, в прошлом году в мебельном магазине забрали цыган. Хотели магазин ограбить, да не успели?

– Ну? – подтвердил Алик Мухомеджан.

– Так вот, Граф там был главарем, а Хипиш ему помогал.

– А цыгане?

– А цыгане для отвода глаз.

– Знаешь, так расскажи, – потребовал Мотя старший.

– Давай, рассказывай, – поддержали мы Мотю.

– Значит так, – деловито начал Самуил. – Граф с цыганами за 15 минут до закрытия магазина на перерыв покупают шкаф. Долго выбирают, открывают, закрывают, а под шумок Санька прячется в шкафу. Граф платит деньги и договаривается увезти шкаф после перерыва. Когда магазин закрывают, из шкафа вылезает Санька Хипиш, забирает в кассе деньги и снова прячется в шкаф. После перерыва должны прийти цыгане и забрать шкаф с Санькой, но кассирша в самую последнюю минуту обнаружила пропажу денег, и магазин не открылся. Санька слышал топот, шум, ждал, когда все стихнет, уснул и вывалился из шкафа.

– Все это брехня, – после короткого молчания заявил Мотя старший. – Выдумки, никакого Графа нет.

– А кто же есть? – в вопросе Пахома сквозила ирония.

– А никого. Жулики, воруяги есть. Развелось их теперь – только за карман держись. Вчера у прокурорши сумочку в трамвае срезали. Мать говорит, пятьсот рублей было.

– А у нас вчера ночью под окном кто-то ходил-ходил, потом по стеклу стал скрестись, – шепотом стал рассказы-

вать Семен Письман, – потом как кошкой замыкает, и как кто-то побежит.

– Ты-то чего боишься? – засмеялся Монгол. – У вас воровать нечего. Вот у прокурора!

– У прокурора телефон, – напомнил Пахом. – Когда у прокурорши срезали сумочку, прокурор звонил самому Лева Дубровкину.

– Дубровкина бандюги боятся как огня, – подтвердил Мотя старший. Он порядок наведет. Когда нашли убитого милиционера, помните? Милиция еще облаву на барахолке устроила? Так Дубровкин сразу убийц поймал.

– Жорик Шальгин говорит, что Лева Дубровкин все воровские дела знает, потому что сам беспризорничал и даже в воровской шайке был.

Надолго замолчали. Лягушки сначала робко, словно пробуя голос, потом вдруг уверенно и нагло разрушили вечернюю тишину, запели дружно, и трели их заглушили все остальные звуки. Кузнечик, стрекотавший где-то рядом, испуганно умолк, уступив место пробудившейся силе.

– Играть что ли не будем? – подал голос Мотя младший.

– Да уж темнеет, – лениво сказал Каплунский.

– Мне домой пора, мать небось ищет, – нехотя поднялся Пахом.

– Мне тоже, – отозвался Самуил.

– Пошли, правда. Есть охота, – согласился Монгол.

Дома я застал заплаканную мать. Она утешала бабушку, которая в голос причитала. Отец нервно ходил по залу.

– Вовка, ешь сам! Там я тебе на столе все оставила, – сказала мать.

Я сел за стол. Из слов матери и по причитанию бабушки я понял, что Леху снова взяли. Приехал «Черный ворон», и два милиционера увезли моего горемычного неудельного дядьку.

Глава 8

**Прокурорские дочки. В лес за порохом. Землянка.
Гильза с предсмертной запиской. Костер.
Наказание. Сон.**

Сквозь сон я услышал голоса матери и тети Нины. Голоса плавали по комнате и сплошным гулом лезли в уши. Потом я стал различать слова. Я проснулся, но лежал с закрытыми глазами, цепляясь еще за ниточку уходящего сна.

– Даром что красивая, а будет так перебирать и в девках останется, – слышал я голос матери. – Другая и некрасивая, а, глядишь, замуж выскочила и жить еще как будет.

– Это уж точно, – поддакивала тетя Нина. – Недаром говорится, «Не родись красивой, а родись счастливой».

– Чем Витька не жених? Воевал, собой видный, серьезный. И семья хорошая. Дядя Петя – шишка по сельскому хозяйству. Тетя Клава сроду за ним не работала.

В голосе матери слышалась обида за Витьку. Тетя Нина чуть помолчала и с матерью не согласилась:

– Да нет, Шур, простоват все же Витька для нее. – Деревенские они, а Ленку вон как воспитали, как одевают. Сейчас-то приехала к родителям из Ленинграда. В институт поступила.

– Ну, не знаю, Витька на руках бы ее носил. Уж очень они гордые.

– Насильно мил не будешь.

– Старые говорят: стерпится – слюбится. А сейчас женихи, где они? Другая рада бы хоть за какого ни на есть инвалида, лишь бы мужик был.

– А по мне, чем какой-нибудь, лучше вообще никакой, – зло ответила тетя Нина. Недовольные друг другом женщины замолчали.

– Все же Витьку жалко, извелся весь, – примирительно сказала мать.

– Ничего, от этого еще никто не умирал. Сук по себе рубить надо. И Витька твой найдет бабу попроче и думать про Ленку забудет.

В большом доме с высокими окнами напротив жил прокурор с прокуроршей и двумя дочерьми, Еленой и Эллой. Девятнадцатилетняя Елена была настоящей красави-

цей, и за ней робко ухаживал демобилизованный офицер Витька Голощапов. Ходил Голощапов в военном кителе без погон, в синих галифе и хромовых сапогах. Китель украшали желто-красные нашивки о ранениях и шесть медалей. Голощаповы занимали просторную квартиру в нашем доме, а окна их выходили на улицу и смотрели на прокурорские окна.

Наша ровесница Элла с нами не водилась, ее учили играть на пианино, и она изводила улицу гаммами. Кроме гамм мы от нее больше ничего не слышали. Иногда она пела под свои гаммы, голоса не хватало, и она пускала «петуха». Мы дразнили Эллу с улицы, кукарекая на все лады. Тогда ее мать захлопывала окна, предварительно обозвав нас «хулиганьем» и «босью драной».

Жили прокуроры богато, у них был телефон, может быть, единственный на улице. Позже телефон поставили переехавшим в наш двор в пустующую квартиру в кирпичном доме Григорьянам. Месроп Аванесович Григорян, отец Армена и его сестры Таты, работал в горкоме партии.

– Мам, есть хочу! – окончательно стяхнув с себя сон, заявил я.

– А, проснулся. Умойся сначала, потом будешь есть.

– Хотя бы «здравствуй» сказал, жених, – засмеялась тетя Нина.

– Здравствуйте.

– То-то здравствуйте! – ворчливо заметила мать. – Сегодня-то куда вас понесет? – От ребят отбою нет. Где носит, с кем носит? Улица, одна улица на уме, – пожаловалась мать тете Нине.

– Здоровый парень, чего ему не носиться? – заступилась за меня тетя Нина. – Пусть мускулы нагуливает.

Я не сказал, куда меня понесет сегодня, потому что сегодня мы шли в лес, куда дорога нам была заказана. В лесу оставались еще снаряды, патроны и могли быть мины. И хотя минеры поработали везде, где могли быть мины, опасность наткнуться на мину оставалась. Все еще помнили, как на mine в Медвежьем лесу подорвались братья Галкины и Толик Беляев из нашей школы. Старшего Галкина разнесло на куски, Толику оторвало ногу и ранило в голову, и он так и умер, не приходя в сознание. Младшему Галкину, навер-

но, потому что он шел последним, «повезло»: он лишился двух пальцев на левой руке, у него осколком вырвало щеку и контузило. Минеры еще раз прочесали лес миноискателями, но кроме мин оставались еще патроны, неразорвавшиеся снаряды, гранаты.

Тогда попало под горячую руку от матери Ваньке Пахому. Она отодрала его ремнем, приговаривая:

– Не ходи в лес, не ходи!

Мы потом спросили, заступаясь за Ваньку:

– Тетя Клава, за что вы его били, он ведь в лес не ходил.

– Знаю, что не ходил, – согласилась тетя Клава, – Только теперь уж точно не пойдет.

– Галкина хоронили в закрытом гробу. Толю несли в открытом. Но какое это имело значение! Обоих не было в живых.

После этого случая в лес ходить долго никто не решался. Потом у ребят с других улиц появился порох причудливой формы: в виде желтых цилиндриков; мелкий, черными кристалликами, и в виде палочек. Мы выменивали порох на биты, покупали на выигранные пятаки. Порох вспыхивал от спички и моментально сгорал, хорошо стрелял, если его положить на железку или гладкий камень и ударить молотком или другим тяжелым предметом...

Пойти в лес предложил Монгол.

– Там этого пороху навалом! – сказал Монгол.

– А если подорвемся? – сказал осторожный Самуил Ваткин.

– Никто не подрывается, а мы подорвемся? – в голосе Монгола была убийственная ирония, и мы нашли его довод разумным.

– Дома – никому! – предупредил Монгол и показал кулак...

По городу ехали трамваем. Сбились кучей на задней площадке поближе к дверям, пугливо озираясь на проход вагона, чтобы не прозевать кондукторшу. А когда где-то рядом раздалось: «Кто еще не взял билетки» и Монгол крикнул: «Атанда, прыгай», мы, не раздумывая, повыскакивали из трамвая. Последним прыгал Сеня Письман, прыгнул и растянулся на мостовой, быстро вскочил и, прихрамывая, побежал за нами. Следом неслись ругательства кондукторши.

– Кто ж так прыгает, дурачок? – стал отчитывать Монгол Семена. – Надо прыгать вперед и стараться пробежать за трамваем, а ты сиганул назад. Хорошо еще, мордой мостовую не пропахал. Чем стукнулся-то?

Сеня захныкал, одной ладонью утирая хлюпающий нос, другой, держась за то место, которым сдуру ударился о мостовую.

– Не ной, – Монгол хлопнул Сеню по плечу. – Не голова, пройдет.

Ближе к железнодорожному вокзалу стояло недостроенное с довоенных лет здание причудливой формы из красного кирпича.

– Миш, а правда говорят, что здание строил архитектор-фашист, и что когда смотришь на него сверху, оно похоже на фашистский знак? – спросил Пахом.

– Не на фашистский знак, а на крест, – поправил Монгол.

– А как же узнали?

– Легчик с самолета заметил.

– И что?

– Фашиста расстреляли, а дом не успели разломать, началась война.

– Брехня все, – возразил Самуил, – никакого фашистского знака нет.

– А почему ж тогда дом не достроили? – возразил Пахом.

– Да потому что не успели. Началась война, – повторил Самуил Монголы слова.

– Ну ладно, кончай трепаться, нам надо до полудня обернуться в лес и назад, чтоб дома не хватились, – напомнил Монгол, и мы прибавили шагу.

Сразу за железнодорожным мостом город заканчивался. Короткие резкие гудки паровозов и лязг составов остались позади. Мы шагали по обочине шоссе, а по сторонам тянулись изрезанные оврагами поля с синими полосками лесов на горизонте. За ближней деревней стоял Медвежий лес.

К лесу подошли, когда солнце стояло в зените. Усталые и разморенные жарой, мы сели в тени, чуть отойдя от опушки, достали все, что смогли добыть дома: огурцы, лук и по паре сырых картофелин. Набрали хворосту и развели костер. Смотреть за костром и печь картошку оставили

младших: Вовку Мотю, Семена и Армена, а сами пошли в лес.

– А то к вечеру не поспеем, – объяснил Монгол.

В прохладной, чистой, будто профильтрованной тишине леса, отчетливо слышалась дробь, выбиваемая дятлом и перекличка лесных птиц. И дятел и пение птиц лишь подчеркивали тишину, и мы тоже старались не шуметь, чтобы не разрушить эту тишину.

– Где-то здесь должна быть разбитая пушка, – шепотом сказал Монгол. – От пушки нужно идти вправо. Мне хорики говорили, что за пушкой порошу навалом.

С полчаса мы молча ходили по лесу за Монголом.

– Ну, где твоя пушка? – не вытерпел Мотя-старший.

– А я почему знаю? – огрызнулся Монгол. – Я что, ‘был здесь?

– Да мы же опять на опушку вышли. Вон поле, – удивился Изя Каплунский.

– Огольцы, сюда, – донеслось откуда-то снизу. Мы пошли на голос. Из-под земли показалась голова Пахома. Пахом сидел в полузасыпанной траншее. На дне траншеи валялись гильзы из-под патронов, пустые пулеметные ленты.

– А где же пулемет? – спросил Мухомеджан. – Должен же быть какой-то пулемет.

– Хватился, – усмехнулся Изя Каплунский. – Здесь сразу после освобождения солдаты специально ходили, собирали оружие, искали документы.

Траншея привела к землянке. Накат был разворочен, несколько бревен завалились концами вниз. Пахом протиснулся через заваленный вход.

– Ну что, Пахом? – Монгол пытался разглядеть что-либо через бревна.

– Ничего! Тряпье на нарах, каска, пробитый пулями котелок... Во, целые патроны.

– Подожди, Пахом, сейчас я пролезу, – заторопился Монгол. Нас он остановил:

– Всем нельзя. Может завалить. Патроны поделим.

Пахом с Монголом долго возились в землянке, наконец, появились, сначала Монгол, потом Пахом. Подолы вымазанных глиной рубашек они держали руками.

– Много набрали? – нам не терпелось посмотреть на патроны.

– Увидите. Дайте вылезти.

Мы выбрались наверх траншеи, и Мотя с Пахомом высыпали из подолов рубах десятка два патрона, две обоймы и два больших патрона для противотанкового ружья.

– Патроны землей засыпаны, – стал объяснять возбужденный Пахом. – Там еще накопать можно.

– Про это место – никому! – наказал Монгол, – Может, еще сюда придем.

Мы без труда нашли нашу стоянку. Заждавшиеся пациенты бросились к нам навстречу.

Костер почти погас. Осталась лишь горка серого пепла, да тлеющие угли, которые от легкого дуновения ветерка вдруг вспыхивали прозрачным белым пламенем.

Палкой выгребли картошку. Набрали еще хворосту, подложили в костер и раздули огонь.

– Давайте гильзы, – протянул руку Монгол. Мы с Каплунским отдали ему несколько гильз, он бросил их в костер. Смотри, не вздумай бросить патрон! – предупредил Монгол. – Хорики бросили, Веньку чуть не убило. Хорошо, пуля только щеку царапнула. И то крови сколько было. Немного бы в бок и хана, поминай, как звали.

Обжигаясь, ели картошку, скупно посыпая солью, выгрызая горелые корки до сажи.

Раздался глухой хлопок, будто лопнула электрическая лампочка, потом второй, третий и затрещали разом нагретые в костре капсюли гильз.

– Все, салют окончен, довольно произнес Монгол, когда хлопки прекратились. – Давайте теперь потрошить патроны.

Мы нашли железки, камни и стали выбивать пули из патронов. Монгол с Мотей-старшим трудились над патронами из бронебойных ружей, где пороха было больше.

– Осторожней, не попади кто по капсюлю, – строго сказал Монгол. – Так пальцы и оторвет.

– Мишка, смотри! – Каплунский держал в одной руке патрон, в другой мятый клочок бумажки.

– Я этот патрон нашел, когда собирал гильзы. Пулю отбил, а порох не высыпается, я стал ковырять сучком и вытащил. Вроде записка.

Мы обступили Каплунского! Мишка Монгол взял бумажку в руки. Она была запачкана землей по краям изгиба, на одной стороне проступали расплывшиеся в нескольких местах чернила букв, написанных химическим карандашом:

«...рощайте... овар... ументы.... копа... удем... бит...о ... посл... ван. Юр...» – с трудом по складам разобрал Мотя. Записка пошла по рукам.

– «Прощайте товарищи, документы закопали, – перевел Каплунский.

– А что такое «удем бит посл» и «ван Юр»?

– Наверно, «будем убиты»... не понятно. «ван Юр» – это Иван, Юра. Во-первых, слова последние, во-вторых, второе слово сразу после первого без точки начинается с большой буквы, – расшифровал Самуил Ваткин.

– Молоток, – похвалил Пахом.

– А где закопали-то? – захлопал глазами Семен. Все засмеялись.

– Дурной ты, Сеня, – сказал Армен. – Что на клочке бумаги напишешь? Да и времени у них не было расписывать. Один, наверно, отстреливался от фашистов, а другой в это время писал.

– Где еще можно закопать? – стал рассуждать Монгол. – Там же, в траншее.

– Может, поищем? – предложил Пахом.

– Думаешь, это очень просто? – усмехнулся Мотя-старший.

– Не, пацаны. Айда домой. Теперь хоть бы дотемна дойти. Небось уж ищут.

Витька мрачно сплюнул в потухший костер. Его настроение невольно передалось нам, и мы притихли.

– Место мы запомнили. Возьмем лопату и придем снова, – пообещал Монгол, но мы без особого энтузиазма восприняли его слова.

– Каплун, давай сюда патрон и записку.

Каплунский скорчил недовольную мину и попытался возразить, но Монгол выхватил у него записку.

– Давай, давай. У меня целей будет.

Он аккуратно свернул записку по старым сгибам и снова засунул ее в гильзу.

Домой мы шли быстрым шагом и почти всю дорогу

молчали. Уже совсем стемнело, когда мы подходили к дому. За квартал нас встретили хорики.

– Ну и влетит вам, – радостно сообщил Венька.

Наши и без того кислые физиономии вытянулись еще больше,

– За что влетит-то? – неуверенно спросил Пахом,

– Зато, чтоб не ходил пузатый, – ехидно заметил Вовка Жирик. – Все знают, что вы были в лесу.

– Откуда знают-то? – проговорился Семен.

– Бабки видели, как вы кодлой шли к Московской улице с сетками.

– Сетка была только у меня, – полностью выдал нас Монгол.

Первым увидел свою мать Пахом. Он втянул голову в плечи и как-то спотыкаясь, кругами пошел в ее сторону. Ни слова не говоря, тетя Клава вlepила ему мощную оплеуху, и он с громовым ревом влетел в калитку. Пока я плелся к своему дому, я слышал, как в ответ на крик матери, что-то бубнил Мишка Монгол, и тоненько на одной ноте гундосил Мотя-младший. Меня мать крепко охватила за руку и, цепко держа, повела домой.

– Ну, отец с тобой поговорит, – пообещала мать.

Вот как раз отца я и не боялся. Перед ним я чувствовал скорее стыд, чем страх. С отцом мы ладили, и он понимал меня. В конце концов, я был просто мальчишкой, и со мной время от времени случались всякие истории.

На этот раз, после неприятного объяснения с отцом, мать настояла, чтобы я никуда не выходил и недельку посидел дома.

После этого мне больше ничего не оставалось, как заняться чтением.

Наша домашняя библиотека помимо книг по истории, философии религий, и самих религиозных книг, давнего увлечения отца, от Библии и Евангелия и нескольких томов «Четы-Минеи» дореволюционного издания, где содержались описания жития святых, до атеистических, типа «Бог Иисус» Андрея Немоевского, переведенной и изданной в Петербурге уже в 1920 году, регулярно пополнялась литературой вроде «Экстрасенсорное восприятие» Р.Райна, «Физико-химические основы высшей нервной деятельно-

сти» Л.П. Лазарева, «Неврогипнология» Дж. Брайда и массой других, дореволюционных и довоенных, переведенных на русский язык, и отечественных книг.

В этих книгах отец искал ответы на вопросы, касающиеся моих «психических отклонений», хотя я сам, признаться, не сильно тяготился тем, что слышу звуки, которые не слышат другие, а над цветами вижу радужное свечение.

Я иногда смотрел эти книги, но, честно говоря, ничего не понимал: что-то о процессе принуждения чужой воли, о физической энергии, о том, что все виды материи обладают физиологической энергией, о том, что почти все мы обладаем экстрасенсорными способностями, и так далее. Все научно и неинтересно.

Я нашел «Мадам Бовари» Гюстава Флобера. Мне было очень любопытно узнать, что в ней такого, что мать проревела над ней весь день. На десятой странице я чуть не заснул, положил книгу на место, взял «Трех мушкетеров» Александра Дюма и ушел в нее с головой...

Мне снился странный сон. Что-то неясное, иногда различимое, иногда смутное, словно подернутое пеленой. Танки, взрывы, солдаты суетятся вокруг пушек. Все это виделось словно в тумане. И скорее это даже было не действие, а ощущение, что идет бой. Но в какой-то момент яркая вспышка выхватила одно место, и меня словно бросило в окоп на опушке леса. Я оказался среди солдат, и бой стал сразу реальностью.

На нас шли танки. Солдаты стреляли из противотанкового ружья, потом били из пулемета по пехоте. И, казалось, что бой длится вечно. Их осталось двое, и один был ранен в голову. Пуля скользнула по волосам, содрала кожу, и кровь обильно текла, заливая глаза. Перевязался только тогда, когда отступила в очередной раз пехота. А до тех пор стрелял, вытирая глаза рукавом грязной и потной гимнастерки. Уже молчали фланги, но они не могли отступать, потому что отступать приказа не поступало. Сейчас опять пойдут танки. Раненный вырвал из маленькой записной книжечки листок, свернул его пополам, разорвал и стал писать химическим карандашом, часто слюнявя его. Потом свернул клочок бумаги в несколько раз, засунул в пустую гильзу и заткнул пулей, выбитой из целого патрона, что-то

беззвучно сказал товарищу, и тот вынул из кармана документ и протянул его раненому. Теперь танки обходили их, и бой шел уже где-то за лесом, а на них двигались во весь рост черные фигуры, презирающие смерть и готовые смести, раздавить и разметать эту последнюю непокорную точку усмиренного пространства, все еще изрыгающую раскаленный свинец, и это был конец ...

Танки, пушки, люди стали стремительно уменьшаться, и я завис над всей этой панорамой, наблюдая, как подергивается дымкой, растворяется и уплывает мой сон.

Глава 9

Дядя Павел. Встреча. Последствие ранения. Я лечу дядю Павла. Невеста дяди Павла.

Дядя Павел пришел с фронта год назад, и я впервые увидел его мужчиной, потому что на войну он ушел в семнадцать лет, и ему тогда было всего на три с половиной года больше, чем мне теперь...

Первой его узнала бабушка. Он стоял в солдатской форме, с чемоданом в руке и с вещмешком за плечами, нерешительно оглядывая двери и не зная, в какую войти.

Из окон на него с любопытством смотрели соседи. Бабушка схватилась за сердце, зачем-то стала ощупывать себя, поправила пучок волос, собранный на затылке, и все это на ходу, вываливаясь на улицу, на, ставших вдруг непослушными, ногах.

– Пашенька, сынок! – с каким-то всхлипом выдохнула она и повисла на дяде Павле, и обмякла вдруг, сразу ослабев. Дядя Павел подхватил ее, прижал к себе, гладил по голове и тихо повторял: «Мама! Родная моя!»

Следом за бабушкой выскочила мать с Олькой. Оля узнала брата, но стояла в стороне, не решаясь подойти.

Из квартир стали выходить соседи, и бабушка, одуревшая от счастья, сквозь слезы объясняла: «Сын, Паша вернулся!»

Мать внесла вещи в квартиру и, оставив их в прихожей, служившей и кухней, провела дядю Павла в зал, усадила на диван, села сама, но тут же вскочила.

– Ой, да что же мы! Тебе ж умыться надо с дороги, – спохватилась мать и потащила дядю Павла к умывальнику, достала из комода чистое полотенце и стояла, смотрела, как по пояс голый брат фыркает, разбрызгивая воду, обдавая себя из сложенных лодочкой ладоней, и шумно хлопая подмышками. Был дядя Павел худ, и лопатки по-детски выпирали, натягивая кожу так, что, казалось, вот-вот порвут ее. Бабушка, зажав рот рукой-горсточкой, с жалостью глядела на сына, а когда он повернулся к матери за полотенцем, глаза ее споткнулись о бледный до поганочной голубизны, какой-то прозрачный и непрочный шрам. Я кожей ощутил ту физическую боль, которую почувствовала бабушка и которая, должно быть, сразила ее Павла, и теперь завывала в голос, запричитала. Мать захлопотала вокруг бабушки. Дядя Павел растерялся:

– Да что ты, мам? Живой ведь вернулся, – стал он неловко успокаивать бабушку.

Мать затолкала бабушку в зал и недовольно выговаривала:

– Ну, хватит, хватит! Как по покойнику, ей богу!

Бабушка скоро успокоилась. Когда, застегивая на ходу гимнастерку, в зал вошел дядя Павел, моя мать опять засуетилась.

– Мам, почисти картошки. Небось голодный? – повернулась она к брату.

– Да нет, я перекусил в буфете с одним приятелем.

Ну, тогда ладно. Я сбегаю за Юрием Тимофеевичем, может пораньше уйдет с работы. Ты хоть Юрия Тимофеевича помнишь?

– Помню, – кивнул дядя Павел.

Мать обернулась скоро. Она достала из хозяйственной сумки бутылку водки с коричневой сургучной головкой, поставила на стол и, весело посмотрев на брата, пошла на кухню помогать бабушке.

Пришел отец. Дядя Павел стоял, опустив руки и растянув губы в застенчивой улыбке. Он не знал, как теперь обращаться к отцу, и от этого чувствовал неловкость. Я помнил, что до войны он звал отца дядей Юрой, слушал с открытым ртом и ходил за ним собачонкой. Конечно, тогда он был пацаном, а

теперь сам мужик. Говорят, что на войне за год три идет. Тогда дяде Павлу сейчас, считай, за тридцать.

– Ну, давай обнимемся что-ли, герой! – отец обнял дядю Павла, и они расцеловались,

– Возмужал, посуровел, – отметил отец, разглядывая дядю Павла. – Видно, что пороху понюхал.

– Пороху понюхал! – серьезно согласился дядя Павел. Глаза его сразу потускнели, ушли в себя, и он стал похож на умудренного жизнью старика.

Отец взял дядю Павла за плечи, усадил на диван и, покрутив в руках бутылку водки, одиноким реквизитом стоявшую на столе, сказал:

– Давай-ка по маленькой, пока женщины обед сообразят.

Он принес из кухни два граненых стакана и миску с огурцами, налил по-чуть водки.

– Ну, за то, чтоб больше войны не было.

Они выпили.

– Хороши огурчики, Тимофеич! – неожиданно нашел форму обращения дядя Павел.

– Со своего огорода, – похвастался отец. – Нам нарезали пять соток, здорово выручает. Семья-то: нас трое, да детишки. Не знаю как бы мы без огорода.

– Я как устроюсь, мать с Олькой возьму, – сказал тогда дядя Павел.

– Ну, это ты брось! – обиделся отец. – Разговор не об этом. Всем сейчас тяжело.

– Да нет, Тимофеич, – смутился дядя Павел. – Я не в обиду. Хочу, чтоб мать со мной жила.

Вошла бабушка с кастрюлей подогретых щей. Мать поставила на стол селедку, сало, принесла в большой миске дымящуюся, целиком отваренную картошку.

Уселись за стол, дядя Павел остался с отцом на диване. Разлили водку: мужчинам в стаканы, женщинам в граненые рюмочки.

Мы с Олькой пили из чайных чашек квас. Мать стала наливать в тарелки щи. Отец встал со стаканом и сказал, обращаясь больше к бабушке:

– Ну, мать, дождалась! И война кончилась, и сын живой вернулся. Давайте до дна, за встречу.

Пока ели щи, молчали, только алюминиевые ложки

звякали о тарелки. От второй рюмки женщины отказались, и мужчины допили водку одни. Насытившись и чуть захмелев, заговорили.

– Тимофеич, я по последнему письму понял, что ты за границей был?

– Был, – подтвердил отец. Усмехнулся и добавил: – Да чуть там совсем не остался.

– Это как? – не понял дядя Павел.

– Долгая это история, Паша. Я стараюсь не вспоминать, – отец поморщился как от зубной боли, но, поймав вопросительный взгляд дяди Павла, неохотно стал рассказывать:

– Сопровождали мы груз через границу и попали в засадку диверсионной группы. Я чудом выжил. Считаю полгода в госпиталях валялся. Два месяца в Тегеране, три – в Ашхабаде... А сейчас приступы донимают. Голова.

– Ой, Паш, как я с ним намучилась, – плаксиво отозвалась мать. – Ведь как приступ начинается, на стенку лезет. Если б не Вовка, давно бы в Кишкинку попал. Потому и «скорую» боюсь вызывать. Как-то раз, когда Вовку где-то с ребятами носило, – мать строго посмотрела в мою сторону, – вызвала, а его в Кишкинку отвезли. Спасибо, сама с ним поехала, да еле уговорила, чтобы отпустили, да расписку заставили писать, что, мол, несу ответственность. Потом уж Вовка, слава богу, явился... Там не разбирают, нормальный ты или ненормальный. Глаза-то в это время безумные. Попробуй, вытерпи такую боль!

– А Вовка-то что? Чем Вовка-то помогает? – спросил дядя Павел.

– Да лечить он руками, Паш, может. Способности у него такие. Руки излучают какое-то тепло особое, – зашептала мать.

– Это что ж, колдовство какое, вроде как знахарь? – удивился дядя Павел.

– Дар это божий, сынок. Господь ему послал, – вмешалась бабушка и прочитала на память елеиным голосом: «Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки её, и она встала и служила им».

– Мам, опять ты с глупостями своими, – осадила мать бабушку.

– Это не глупости, это Евангелие от Матфея, – усмехнулся отец.

– Попом бы тебе, Юрий Тимофеич, быть. И Библию, и Евангелие знаешь, – одобрила бабушка. Она робела перед отцом и обращалась к нему не иначе как Юрий Тимофеевич. Юрой отца называла только мать, но в третьем лице тоже звала по имени-отчеству. Был он намного старше матери и относился к ней со снисходительностью старшеклассника к младшему.

– Нет здесь никакого колдовства, Павел, – повернулся к дяде Павлу отец. – Это научный факт. В научной литературе описаны случаи исцеления с помощью рук, которые являются источниками энергии. Более того, все мы – и я, и ты – обладаем этой энергией. Только некоторые люди обладают этой энергией в большей степени.

– Сынок, поддержи руки над цветами, – попросил меня отец.

На этажерке с книгами в двухлитровой банке стояли тюльпаны. Их головки уже закрылись, будто цветы приготовились к ночному сну. Я с большой неохотой вылез из-за стола и подошел к этажерке, потер руки одну о другую. Сухие ладони прошуршали смятым листом бумаги. Я стал гладить цветы, не прикасаясь к ним. По комнате разнесся легкий запах свежести. Бутоны зашевелились и стали распускаться. Дядя Павел как зачарованный смотрел на тюльпаны.

– Как же так, Тимофеич, я не понял? – вымолвил сбитый с толку дядя Павел. – Он их даже не трогал.

– Я же говорю тебе, что руки источают энергию. Это все равно, как цветы раскрываются на солнечный свет.

– Чудно! – покачал головой дядя Павел.

– Он много чего умеет, – сказал отец. – Ты ещё увидишь.

– А лучше б ничего не умел. Был бы как все нормальные люди. А у этого то запахи, то звуки, то сны какие-то ненормальные. И видит-то не то, что надо. А ночью подойдешь, лежит – не дышит. И не знаешь, то ли жив, то ли нет.

Мать заплакала.

– Да что ты, ей богу! – отец недовольно нахмурился. – Нормальный парень. И все у него нормально. Спасибо сказать нужно за то, что природа одарила его такими способ-

ностями. У него же, Павел, феноменальная память. Он страницу любой книжки может повторить за тобой без единой ошибки.

– Чудно! – повторил дядя Павел и внимательно поглядел на меня.

Я сосредоточенно ковырял вилкой картошку и облегченно вздохнул, когда мать неожиданно вернулась к недокazanному и наболевшему.

– Полгода известий никаких не было. И писем нет и похоронки нет. А приехал худой, в чем только душа держалась. Он и сейчас-то худой, а тогда чуть толкни и упадет. Тут чирьи по всему телу пошли. Избавились от чирьев, заснул. День спит, ночь спит и утром не просыпается. Я будить, а он не дышит. Ну что есть мертвец. Вот так иногда и Вовка. Чего и боюсь. Может, проснется, а может, нет.

Отец молчал, только брови сошлись на переносице, обозначив три вертикальные складки на лбу, а пальцы нервно выбивали дробь по столу.

– Перепугалась я, Пашенька, до смерти. Вызвала врача, а врач и говорит: «Это летаргический сон. Может быть, несколько суток проспит, а может быть, и месяцев. И ни в коем случае не пытайтесь будить. А мы будем следить, поддерживать глюкозой. Глянул на меня, а я сама как мертвец. Как заругается он. Да вы, говорит, себя-то пожалейте. Разве, говорит, можно так. Ничего же страшного не случилось. Сильное нервное истощение. Все обойдется. Ему укол сделал, да и мне заодно.

Павел, не перебивая, слушал и с невольным любопытством поглядывал на отца. Тот чувствовал себя неловко и, наконец, недовольно бросил матери:

– Ну ладно, хватит об этом. Кому про чужие болячки слушать интересно? У каждого своих полно.

– погоди, погоди, Тимофеич! – остановил отца дядя Павел. – И что же потом? – спросил он мать.

– Да что? Проснулся через три дня. Не знаю, то ли Вовка, – он же не отходил от отца, все гладил его. А может сам по себе проснулся, – устало проговорила мать.

– Шура, сходи в магазин, принеси еще поллитровочку. Что нам, мужикам, одна? Не каждый день родственники с войны приходят, – попросил отец.

Мать замялась и как-то виновато взглянула на Павла. Я понял, что ей стыдно сказать при брате, что у неё осталось денег в обрез до отцовской получки. Но она встала и пошла в их с отцом комнату к шифоньеру, где под бельем хранила завернутые в ситцевую косынку деньги. Дядя Павел достал из кармана гимнастерки две новенькие сотни и хотел отдать матери, но отец отвел его руку:

– Ты спрячь свои деньги. Еще успеешь потратить. У нас пока есть, а там посмотрим.

Дядя Павел заупрямился, и мать при молчаливом согласии отца деньги взяла.

Мать ушла. Вслед за ней встала из-за стола бабушка, собрала грязную посуду и унесла на кухню. Ольга выпорхнула следом, а я с живым интересом слушал разговор отца с дядей Павлом.

– Сам-то ты как? Ничего ж еще не рассказал, – спросил отец.

– Да я писал, – уклончиво ответил дядя Павел.

– Ну, письма – это одно, а жизнь – другое. Как-никак, пол-Европы прошагал, до самого Берлина дошел. Как там Европа-то?

– Европа как Европа. Что с ней, с Европой делается? Много чудного, конечно... а народ ихний хороший. Их запугали коммунистами и потому нас встречали с опаской, недоверчиво, а потом разобрались, ничего. Видят, что мы не зверствуем, как фашисты, никого не трогаем, детишек подкармливаем...

– Русский народ отходчив, – подтвердил отец.

– Отходчив-то, отходчив, да всякой доброте есть предел, – возразил Павел. – Что делал немец с нашими людьми! Насмотрелись, век не забыть. И детишкам и внукам передам. Кто видел, тот не забудет... Стариков, детей расстреливали, над женщинами измывались, целые деревни жгли. Мы по Белоруссии шли, так волосы дыбом вставали. А про концлагеря знаешь?

– Слышал, много писали, – отозвался отец.

– В Польше один такой освободить пришлось, Майданек, недалеко от Люблина. Камеры специальные придумали, людей газом удушали. Нас встретили не люди, а полумертвецы, кожей обтянутые кости... Многие, особенно те,

у кого родных замучили, люто немцев ненавидели. Тогда, перед вступлением в Германию приказ Жукова вышел об отношении к мирному населению и о мародерстве. Приказ и сдерживал. А то расстрел, без всякого трибунала...

Дядя Павел замолчал. Отец положил на стол вилку, которую крутил в руках, пока говорил дядя Павел, и задумчиво сказал, словно отвечал на свою мысль:

– Проводили здесь у нас по городу колонну пленных немцев, тех самых, которые нашу землю топтали, города жгли, а женщины смотрели на них с сочувствием. Какая-то старушка выскочила из толпы, подбежала к колонне и стала раздавать сухари.

– Я бы этой старушке всыпал по первое число, – зло сказал дядя Павел. – Нашла, кого жалеть. Небось при фашистах подолом пыль перед ними мела.

– Не скажи. Вон мать говорит, что у нее двое сыновей с войны не вернулись. Просто русский человек по природе добр и отходчив. Доброта у него в душе заложена.

– Добр-то добр. А как быть, когда войне, считай, конец, а в тебя, сволочи, из-за угла палят. Сколько, нашего брата в последние дни полегло!

Дядя Павел надолго замолчал. Отец тоже ушел в себя, и установилась какая-то неприятная, напряженная тишина. Первым очнулся Дядя Павел:

– А ты, Тимофеич, стало быть, в Персии был?

– В Иране. С 1935 года Персия Ираном называется, – поправил отец. – Я был в Тегеране, в группе Советских войск.

– В Тегеране проходила конференция трех держав. Нам политрук рассказывал. Товарища Сталина видел?

– Ну, меня уж к тому времени там не было. Конференция в ноябре сорок третьего проходила. Так что, не довелось.

– А что за народ персидский? За нас он или нет?

– Да как тебе сказать? За нас или не за нас. Они про нас мало что знают. Девяносто процентов неграмотных, самосознание у людей низкое. Хотя в 1905 году там тоже своя революция была. Правда, это ничем не кончилось, революцию подавили... В Иране очень малочисленный рабочий класс.

– А так они, наверное, все же за нас, – подумав, сказал отец. – Народ там разный. Коренные жители, персы, составляют лишь половину населения. Много иранских азербайджанцев, курдов. Есть ещё луры, арабы, теймуры, туркмены и много других национальностей. Но народ там, скажу тебе, доведен до такой нищеты, что дальше некуда. Дети шести-семи лет работают как взрослые по 13 – 14 часов в сутки. Делают ковры. Стоит выйти на улицу, как на тебя набрасываются, чуть не на части рвут: «Хуб, хуб, бедухин». Дай, значит, денег, господин. Но нам категорически запретили подавать. Жалко их, первое время никак не мог привыкнуть. А что делать? Всех ведь не оделишь... Многие даже не могут себе жены купить.

– Как купить? – удивился дядя Павел.

– Ну, как у нас в некоторых среднеазиатских республиках было? Нужно заплатить калым, то есть, фактически купить жену. Так вот, самые нищие живут с ослицами.

– Ну, ты наговоришь, Тимофеич. Как это с ослицами жить можно? – Дядя Павел невольно покраснел, и глаза его расширились от изумления.

Глаза отца улыбались, и непонятно было, всерьез он говорил это или шутил.

– Чудно! – в который раз повторил дядя Павел, покачивая головой. – Чего только на свете не бывает!

– А в магазинах драли с нас втридорога. С англичан одну цену просят, а с нас дерут. Дело в том, что наше командование строго-настроено запретило торговаться. Вскоре, правда, для нас советские магазины открыли.

Дядя Павел вдруг зашелся в кашле. Кашель давил его, гнул к полу. Дядя Павел тер грудь ладонью, словно раздирает её, и никак не мог остановить приступ. Он достал из кармана галифе кисет с махоркой и, сложенную в несколько раз до маленьких, папиросного размера, квадратиков, газету; дрожащими руками, рассыпая табак от судорожных конвульсий тела, скрутил сигарку и закурил. Кашель постепенно отпустил.

– Ты последний раз писал из госпиталя, ранен был. Тяжело? – спросил отец, сочувствуя.

– Да, осколком в грудь в битве за Правобережную Украину. Корсунь-Шевченковская операция, может, слышал?

Три осколка вынули, а один в лёгких остался. Своих догонял уже, когда вышли к Висле, в Польшу вступили.

– Может курить не надо? – посоветовал отец.

– Закурю, вроде легче становится, проходит.

Отец встал и прошелся по комнате. Пришла мать. Поставила водку на стол и пошла на кухню. Вскоре они с бабушкой принесли чистые тарелки, вилки. Снова сели за стол. Отец налил дяде Павлу, себе и матери.

– погоди, Тимофеич, я совсем забыл, – остановил дядя Павел отца, когда тот взял стакан с водкой. – Я же всем гостинцы привез. Ну-ка, сестренка, где там мой чемодан? Неси сюда.

Мать принесла чемодан. Дядя Павел присел на корточки, расстегнул ремни, открыл замки, откинул крышку и стал вытаскивать подарки. Бабушка получила пуховый платок. Она, даже не разглядев его, прижала к груди и не могла вымолвить ни слова, а глаза её сияли, хотя в них стояли слезы.

Матери дядя Павел подарил черное бархатное платье, расшитое бисером, и черные замшевые туфли. Мать расцвела маковым цветом. Она приложила платье к себе, оно доставало до пола.

– Ну, куда я в нем? – прерывистым от волнения голосом проговорила мать. – Это только артистке в таком ходить.

– Ничего, сестренка, – уверил дядя Павел. – Ты у нас не хуже другой артистки.

Отцу дядя Павел преподнес опасную бритву и зажигалку.

– Зеленгеновская сталь, – довольно отметил отец, разглядывая лезвие. – А это.. гляди-ка, во Европа!

Отец со смешком отдал зажигалку матери. На зажигалке была наклеена обнаженная женщина. Она стояла в вольной позе, отставив бедро в сторону, подперев его рукой и подмигивая одним глазом.

– Срамники, – стыдливо засмеялась мать и не стала смотреть, сунув зажигалку обратно отцу.

– Ну-ка, мам, зови Ольку, – приказал дядя Павел.

Через минуту, будто ждала, что её позовут, запыхав-

шаяся Оля сама влетела в комнату. Её тощее тело пульсировало от частого дыхания.

Мне досталась курточка с короткими штанами на помочах, которые я так никогда потом и не надел, Ольке большой кусок парашютного шелка яркого оранжевого цвета на платье.

От второй бутылки мужчины запьянели, разговор принял бессвязный характер, дядя Павел стал перечислять пофамильно своих боевых товарищей, скрипел зубами и все пытался показать свои раны: то задирает гимнастерку, то зашучивал рукава. Тоже захмелевший, но более сдержанный, отец мягко останавливал дядю Павла. Неожиданно дядя Павел запел. Пел он плохо, задыхался, часто глотая воздух на середине слова, и из легких вместе со словами вылетал какой-то клекот:

А по диким, а степям, а Забай-а-калья,

А где золото, а роют, а в гор-ах...

– Бродяга, судьбу проклиная, – подхватила было мать, но не смогла подладиться под брата и замолчала. Отец сосредоточенно молчал, тяжело поднимая слипающиеся веки...

Спал дядя Павел на диване. Ночью он что-то яростно выкрикивал, нецензурно ругался; раза два вскакивал и сидел, тяжело дыша, глядел перед собой дурными глазами, пил воду, закуривал и, успокоившись, укладывался снова.

Утром завтракали целой картошкой и свежими огурцами. Дядя Павел от картошки отказался, но выпил стакана три чая, тошнотворно сладкого от нескольких кристалликов сахара, и отправился в военкомат.

Вернулся дядя Павел поздно. Был он выпимши и принес бутылку с собой. Нам с Олькой протянул кулек карамели, бутылку поставил на кухонный стол.

– Не надо б водку-то, Паш, – заметила моя мать. – Деньги-то пригодились бы.

– Ничего, сестренка, деньги дело наживное, – с хмельной беспшашностью возразил дядя Павел. – Да я уже направление на работу получил. Так что, скоро работать начну.

– Куда определили-то, сынок? – спросила бабушка за ужином.

– Предложили в воинскую часть. Завтра схожу, посмотрю, что да как?

– Не надоела армия-то? – отец мыл руки и теперь шел к столу.

– А куда мне ещё идти? – нахмурился дядя Павел. – Я семнадцать лет на фронт пошёл. После семилетки в колхозе работал. Навоз возил, да коров пас. Чему я научился? Что умею?.. Меня стрелять научили. Это я могу, это у меня получается... Военком тоже спросил: «Ну, сержант, как жить дальше собираешься, куда определяться будем? Со здоровьем как?» А как со здоровьем? В легких осколок, рука немеет, временами как не своя, пулей кость задета. От контузии голова до сих пор как ватой набита, в ушах звон. В общем, весь сшитый и залатанный. «Да в документах, говорю, товарищ майор, все записано». «Вижу, солдат, что инвалид, потому и думаю, куда тебя пристроить. На завод тебя, говорит, пока не пошлешь, на стройку тоже. Вот есть у меня, может, подойдет. Воинской части требуется зав складским хозяйством, должность старшинская. Ну, ты человек грамотный, семилетка. Думаю, подойдешь». Чего тут рассуждать? Взял я направление, откозырял и ушел. Завтра видно будет.

– Так-то оно так, – согласился отец. – Только вот материальная ответственность. Не боишься?

– Волков бояться – в лес не ходить, – беззаботно ответил дядя Павел. – Я в части капитанармусом почти год служил... Ладно, это потом, а сейчас, Тимофеич, лучше давай выпьем.

Через два дня дядя Павел уже работал. Ему выдали новое обмундирование. Все офицерское, с иголки, из добротной диагонали. Только на погонах вместо звездочек была выложена старшинская буква «Т».

– Ну, как? – спросил отец, когда дядя Павел отработал первый день.

– Нормально, – пожал плечами дядя Павел. – Принимай, выдавай, да веди отчетность.

– Смотри, аккуратнее с документами, – предостерег отец.

В тот вечер я по просьбе отца стал лечить дядю Павла. Тогда я даже не мог представить, какое это будет иметь последствие и для нас с отцом, и для дяди Павла.

Дядя Павел дышал тяжело, в груди что-то kloкотало, и он долго и мучительно кашлял, но еще больше его беспокоила рука: дядя Павел кроме ранения в грудь перенес ранение в руку. Пораженная рука плохо слушалась и немела. Ко всему прочему давала знать контузия. В госпитале дядю Павла кое-как подлечили, но все же был он плох.

Во время первого нашего сеанса дядя Павел не очень охотно, только чтобы не обидеть отца, снял с себя нижнюю рубашку, скептической улыбкой давая понять, что все это баловство, и толку от этого он особенно не ждет.

Левая, больная рука дяди Павла, была холоднее, чем все тело. Мне сразу бросилась в глаза разница между свечением вокруг правой и левой руки. Вокруг больной руки, как и вокруг головы, мерцал синий холодный свет, но с ясно выраженными темно-красными очагами поражения, а вокруг правой свет играл голубоватым цветом с теплым зеленым равномерным оттенком. Я положил больную руку дяди Павла поудобнее, провел ладонью вдоль руки и стал водить руками сверху вниз, не касаясь ее. Потом подержал руки над небольшим, еще не огрубевшим шрамом. Медленно, но заметно цвета стали меняться – синие позеленели, зеленые порозовели, а в некоторых местах начали краснеть. Зато красный очаг стал бледнеть. Это означало, что температура тела на поверхности возросла, а болевой очаг рассасывается.

– Что-нибудь чувствуешь, дядя Паша? – спросил я, зная заранее ответ.

– Горячо, жжет и покалывает! – удивленно сказал дядя Павел.

– Это хорошо, дядя Паш! – усмехнулся я и перевел руки на голову.

Минут через десять я погрузил своего дядьку в сон и стал внушать, что у него заживают раны, а голова проясняется, исчезает шум и утром он встанет бодрым, с хорошим настроением.

Дядька ни свет, ни заря поднял меня с постели и стал на весь дом орать, что у него перестала ныть рука и в ней появилась сила, стало легче дышать, а в голове нет никакого шума. Дядя Павел беспрерывно сжимал и разжимал кисть больной руки, демонстрируя ее силу. Кисть и правда

стала работать лучше, но я видел, что со всей силы до конца сжать ее еще не может. Он как заведенный повторял: «Племяш, племяш мой дорогой!» и смотрел на всех счастливыми глазами.

Неделю, каждый день я проводил с дядей Пашей свои сеансы, не забывая про гипноз. В конце концов, рука у дяди Павла стала работать почти как правая, его перестал бить кашель, и хотя одышка еще оставалась, дышать ему стало легче. Голова тоже пришла в норму. Но, главное, во сне он теперь не кричал и не ругался, по ночам не вскакивал и спал относительно спокойным сном. А через неделю наши лечебные сеансы прекратились.

Дядя Павел привел девицу с быстрыми зелеными глазами и неумело накрашенными яркой помадой губами в форме откровенного сердечка. Маленькая и смешливая, она казалась совершенной девчонкой, но изо всех сил старалась выглядеть выше и взрослей, поэтому носила туфли на высоких каблуках и замысловатую прическу из собранных за ушами волос, веером спадавших завитыми концами на плечи. На затылке чудом держалась шляпка «минингитка». Модное креп-жоржетовое платье с алыми розами по небесно-голубому полю, с высоко поднятыми плечиками, шито было явно не по ней, и хотя она подогнала его под свой рост, висело на ней, как на вешалке.

После, мать, кипя от негодования и еле сдерживая слезы, говорила отцу: «Платье-то из Пашкиного чемодана. Вот дурак-то. Первая встречная облапошила. И уже спали вместе. Заметил, как его мужская гордость распирает?»

– Познакомьтесь, Варя, – дядя Павел явно любовался своим сокровищем.

Сокровище хихикнуло в кулак. Матери с бабушкой девушка сразу не понравилась. Мать с кислой миной пожала протянутую Варину руку, а бабушка, поджав губы, ушла на кухню. Вслед за ней вышла и мать. Отец радушно предложил Варваре сесть и, выглянув на кухню, попросил чаю. За чаем дядя Павел объявил, что они с Варей решили расписаться. Варвара опять хихикнула, а бабушка тихонько заголосила. Мать закусил губы и молчала. Отец, по обыкновению, забарабанил пальцами по столу, потом сказал:

– А вы не спешите? Так вот вдруг ... Я вот, Паша, к вам целый год ходил, пока с Шурой поженились.

– Да тогда другое время было, – возразил дядя Павел недовольно. – Да и чего тут знать еще нужно. Варя, вот она, вся налицо.

– Вы где познакомились-то? – спросил отец.

– Да на работе же, – засмеялась Варвара. – Мы работаем вместе.

– Варя связистка, – пояснил Павел. – И на фронте связисткой была. Награды имеет.

– Так вы воевали? – удивился отец. – Сколько же вам лет?

– У женщин про возраст не спрашивают, – кокетничая, сказала Варвара и опять хихикнула.

– Да-да, конечно! – смутился отец и молчал до самого конца чаепития.

Когда дядя Павел с Варварой ушли, мать дала волю раздражению:

– Это ж надо! Ну, нашел. Это ж, каким дураком нужно быть! Кругом столько девок, только помани, любая пойдет. А он нашел. Да была б хоть баба приличная! А то ... глядеть не на что. Ни кожи, ни рожи, глупа, да еще фронтовая подруга. Бабушка молча плакала и только согласно кивала головой.

– Хоть бы ты поговорил с ним, – потребовала от отца мать. – Может, тебя послушает. Ведь вокруг пальца обвела, окрутила парня. Я понимаю, чем она его взяла. Он же бабы по-настоящему еще не видел. Ночь провел, так скорей жениться. Платье вон подарил.

– Так он меня и послушает. Поговорить-то я поговорю, только насильно ведь не запретишь, – неохотно согласился отец и, видно было, что ему неприятен этот разговор.

Вечером, когда все собрались за столом, отец спросил дядю Павла напрямик.

– Паша, ты что это насчет женитьбы, серьезно?

– А что? – вскинулся Павел. – Не нравится?

– Я не могу ничего сказать о ней плохого, – уклончиво начал отец, но мать его перебила и с возмущением стала выговаривать брату:

– Да ты разуй глаза! С кем ты связался? Другие таких бросают, а он подобрал. Неужели лучше не нашел? – Глаза ее сузились и из синих стали черными.

– И чем же она плоха? – стал закипать дядя Павел. – Девушка как девушка, не хуже других.

– Девушка! – в голосе Нины была и ирония, и презрение, и насмешка.

– Знаем мы этих девушек, которые с фронта... Девушки здесь, в тылу работали и мужчин своих ждали.

– Прекрати! – кровь бросилась в лицо дяди Павлу, и, багровый, он вскочил с места. – Ты говори, да не заговаривайся. Всякие и здесь были. И там были настоящие. Тебя бы туда, в ад этот...

– Не я одна, все знают, как к ним на фронте относились, – чуть тише, но упрямо проговорила мать.

– По-товарищески относились и берегли.

– Ну, эта не из тех, – отрезала мать.

– А тебе почем знать, из каких она?

– А по ней видно!

– Хватит чушь молоть! – не выдержал отец, – Не нам судить.

Отец нервно забарабанил пальцами по столу, задержалась вдруг щека, но лицо казалось спокойным. Мать сразу замолчала и испуганно следила за отцом.

– Пашенька, сынок, – подала голос бабушка. – Ты прежде узнал бы ее получше. Дело-то серьезное. Недаром говорится: «Семь раз отмерь, один отрежь». Погоди маленько.

– Ладно! – стиснул зубы Павел. – Не вам, мне жить.

Он встал и пошел к двери. Отец хотел остановить его, но Павел предупредил:

– Не надо, Тимофеич, – и соврав: «Я сегодня в ночь дежурю», вышел.

На следующий день Павел пришел за вещами. Ему было неловко уходить сразу, и он посидел немного. Мать хотела замять вчерашнюю ссору, но не знала с какими словами подступиться к брату. Дядя Павел первый сказал, обращаясь к отцу:

– Мы как немного обживемся, позовем к себе.

– Паша, прости меня, – заплакала мать. – Я же хотела, как лучше. Если б я тебя не любила...

– Ладно, сестренка, все перемелется, – охотно простил Павел.

– Ты Варю-то приводи к нам, не стесняйся. Надо же нам теперь поближе как-то познакомиться, – сказал отец. – Раз уж такой оборот ... будет родственница нам.

– На этом спасибо, Тимофеич! – растрогался дядя Павел. Он попрощался с отцом за руку, поцеловался с матерью, обнял бабушку, которая стояла мумией у дверного косяка, за все время не проронив ни слова.

Глава 10

Неожиданный телефонный звонок. У генерала. Большая дочь. Состояние измененного сознания. Генеральский дом. Странная болезнь.

А вскоре случилась эта история, не без участия дяди Павла, история, которая дала нам высокого покровителя в лице начальника очень серьезной организации. С тех пор в нашем доме поселилась тайна. Отец сразу запретил даже упоминать обо всем этом в постороннем разговоре. Вслух не назывались ни имена, ни должности ...

Однажды отец пришел с работы раньше обычного. Он был чем-то расстроен, сразу прошел в зал и позвал нас с матерью.

– Ты что, заболел? – встревожилась мать.

– Да нет, здоров, – отмахнулся отец. Они с матерью сидели на нашем стареньком диване с откидными валиками, я – у стола на стуле.

– Кажется, мы попали в большую неприятность.

Мать побледнела и схватилась за сердце.

– Да погоди ты, ничего еще не случилось.

Отец чуть помолчал, как бы собираясь с мыслями, поглядел на меня, как мне показалось, с жалостью, вздохнул и стал рассказывать.

Утром отцу позвонили в отдел. Он снял трубку и представился:

– Анохин.

– Здравствуйте Юрий Тимофеевич. Вам звонят из управления госбезопасности, – раздался мягкий голос на другом конце.

– Я вас слушаю, – голос отца сразу «сел».

– Не могли бы вы к нам подъехать, скажем, часикам к 13. Машину мы за вами пришлем.

– Да я могу сам, – растерялся отец. – Здесь недалеко.

– Ну, зачем же? Без четверти час вас будет ждать «Эмка» у подъезда. С вашим начальством вопрос согласован.

– Простите, а по какому вопросу? – у отца пересохло горло.

– На месте все узнаете. Да вы не волнуйтесь, Юрий Тимофеевич, скорее всего какая-нибудь консультация. До свидания.

– Да я и не волнуюсь, – сказал озадаченный отец по инерции, потому что на том конце уже положили трубку.

Не успел отец поговорить, как раздался еще один звонок. Звонил предгорисполкома.

– Ты чего там натворил, Юрий Тимофеевич? – раздался веселый голос начальника.

– Да ничего не натворил, Тихон Матвеевич.

– А чего вызывают?

– Представления не имею.

– Ладно, если вернешься, расскажешь, – хохотнул Тихон Матвеевич.

– Ну и шутки у тебя, Тихон Матвеевич, – сказал недовольно отец.

Пропуск отцу был заказан. У проходной его встретил офицер. Они поднялись на второй этаж, вошли в одну из дверей, и отец оказался в приемной.

– Товарищ Анохин доставлен, – сдал отца офицер на руки секретарше.

Секретарша, строгая опрятная женщина лет сорока пяти сняла трубку одного из телефонов и сказала:

– Товарищ Анохин здесь, Фаддей Семенович. Потом кивнула отцу на дверь.

– Товарищ генерал ждет вас. Пройдите.

Отец вошел в огромный кабинет и остановился в дверях. За двухтумбовым письменным столом сидел сухощавый человек в штатском. Он встал, когда отец вошел, но остался стоять за столом, поздоровался и жестом пригласил отца пройти.

– Здравствуйте, Юрий Тимофеевич, проходите, садитесь.

Отец, стараясь не показывать своего волнения, не торопясь прошел по ковровой дорожке, пожал протянутую руку и мельком оглядел кабинет. К письменному столу примыкали буквой «Т» столы, составляя несуразно длинную ножку. По стенкам кабинета стояли в ряд стулья. Справа от письменного стола у стены располагались два мягких кресла и маленький низкий столик, слева несколько шкафов с книгами. Отец отметил, что это были полные собрания сочинений Ленина и Сталина, еще какие-то книги. Письменный стол был заделан зеленым сукном. На стене висел большой портрет Дзержинского в профиль, а на высокой тумбочке, застеленной красным, стоял бюст Сталина.

Строгая секретарша принесла на подносе два стакана чая в ажурных подстаканниках и печенье.

– Спасибо, Таня, – поблагодарил хозяин кабинета. – Поставьте на тот столик. – Вы свободны. Ко мне пока никого не впускать.

– Юрий Тимофеевич, давайте присядем в кресла, так будет удобнее.

Генерал снова встал. Был он выше отца, но в плечах не широк и такой же худой.

– Может быть, коньяку? – он вопросительно посмотрел на отца.

– Спасибо, нет, – благоразумно отказался отец.

– Тогда давайте пить чай и к делу.

Генерал помешал чай, стараясь не звенеть ложкой.

– Вы до вашего ранения находились в Тегеране?

– Да, по заданию ЦК, – счел нужным пояснить отец.

– Кстати, как сейчас ваше здоровье?

– Откровенно говоря, не очень. Голова дает знать себя.

– Значит сапожник без сапог, – улыбнулся генерал.

– Почему без сапог? – не понял отец.

– Ну, я слышал, ваш сын творит чудеса. Вот вашего родственника, говорят, вылечил.

– Чудес, товарищ генерал, не бывает. В природе все подчинено определенным законам. Я материалист.

Отец про себя ругнул дядю Павла за болтливый язык. Небось нагородил бог весть что, – с досадой подумал отец.

– Да, к сожалению, чудес не бывает, – согласился генерал. – Но всё же сын ваш как-то лечит?

– Понимаете, товарищ генерал...

– Фаддей Семенович.

– Понимаете, Фаддей Семенович, к нашему огорчению или к счастью, сейчас я уже и не знаю, природа одарила моего сына определенными способностями. Его особая энергия благоприятно воздействует на пораженные очаги, быстро заживляет раны, снимает болевые ощущения. Вот вы говорите, сапожник без сапог, а ведь если бы не сын, вопрос, сидел ли бы я сейчас перед вами. Но, повторяю, никакого чуда здесь нет. Я пытаюсь понять природу этого явления и нахожу массу примеров в научной литературе исцеления методом наложения рук, хотя четкого объяснения этому нет, есть только попытки объяснить.

– Лично меня вполне устраивает ваша позиция. Честно говоря, прежде чем решиться на этот разговор, я покопался в вашем досье, простите за такую откровенность. Здесь мы неисправимы, работа такая, – улыбнулся Фаддей Семенович, заглядывая в глаза отца. Улыбка у него была жесткая, взгляд тяжелый. Глаза его ощупывали собеседника, изучали, сверлили, пытаясь пролезть в самую душу, и держали в напряжении.

– Мне скрывать, Фаддей Семенович, нечего. Моя анкета чиста.

– Знаю, Юрий Тимофеевич. Но часто чистая анкета еще ни о чем не говорит. Чтобы понять человека, лучше с ним поговорить, правда, еще лучше с ним пуд соли съесть, – генерал снова улыбнулся, но на этот раз улыбка вышла более приветливой, может быть потому, что чуть потеплели глаза.

– Я удовлетворен нашей беседой. Теперь суть, – Фаддей Семенович чуть помедлил, словно еще раз взвешивая, стоит ли собеседник его откровения, и продолжал:

– У меня есть дочь. Она больна. Мы испробовали кажется все, что только можно. Ничего не помогает. Она проходила курс лечения в лучших санаториях, ее смотрели хорошие врачи. Какие-то улучшения наблюдались, но потом становилось еще хуже. А сейчас у нас просто опустились руки. Жена тайком от меня возила её к каким-то знахарям. По этому поводу у нас с ней был тяжелый разговор. И вот она узнает от моего шофера о каком-то чудесном исцелении одного из наших сотрудников...

– Да не было никакого чудесного исцеления, – запротестовал отец, – просто сын ускорил заживление каких-то остаточных явлений после ранений, как-то мобилизовав естественные иммунные силы организма.

– Я в этом не сомневаюсь. Но я устал спорить с женой. Это, как вы понимаете, занятие бессмысленное. Я знаю, что все это бесполезная затея. Но пусть моя супруга сама убедится в этом, иначе всю оставшуюся жизнь мне придется жить на вулкане.

Генерал сделал паузу, чтобы в очередной раз просверлить отца взглядом и попросил, как приказал:

– Надеюсь, вы не откажете мне в просьбе. Вам удобно будет, если я пришлю за вами машину в воскресенье? Лучше утром. Скажем, часикам к десяти.

– Как я понимаю, у вашей дочери душевная болезнь? – осторожно спросил отец, не ответив на просьбу генерала, хотя, что там отвечать, если все уже было и без него решено!

– Моя дочь умственно нормальный человек. В школе она хорошо учится. Перешла в девятый класс, но теперь врачи советуют пока оставить школу. Она все больше становится раздражительной, злобной, стала сторониться людей, и её мучают головные боли, все чаще одолевают приступы меланхолии. Врачи предполагают, что это возможно результат родовой травмы.

Отец покачал головой:

– Но вы же понимаете, что это несерьёзно. Чем же мой сын здесь может помочь?

– Это мы с вами понимаем, а вот жена ничего слушать не хочет. Говорят же, что надежда умирает последней.

Генерал посмотрел на часы и встал, давая понять, что разговор окончен. Попрощавшись с отцом за руку, он не проводил его, а пошел за свой письменный стол. Когда отец был уже у дверей, генерал окликнул его:

– Юрий Тимофеевич, надеюсь, вы понимаете, что наш разговор сугубо конфиденциальный, и знать о нем не обязательно ни вашему начальству, ни кому бы то ни было? И дома поговорите об этом с женой и сыном.

– Несомненно, – заверил отец.

На работу в этот день отец не пошел. Он позвонил начальнику и сказал, что неважно себя чувствует.

– Да уж понимаю, – согласился Тихон Матвеевич. – Кто ж будет хорошо себя чувствовать после такого приглашения. Так чего вызывали-то?

– Да ерунда. Действительно просили проконсультировать по политическим аспектам жизни Ирана тех лет.

– А-а, ну давай, Тимофеич, отдыхай, – разочаровался Тихон Матвеевич.

– Придется ехать, сынок! – заключил отец, и было видно, что он очень расстроен.

– Ладно, пап, съездим. Ты только не переживай, – попытался я его успокоить.

К вечеру у отца случился приступ. Приступ был не сильный, я быстро справился с ним и погрузил отца в глубокий сон, после которого он обычно просыпался в более-менее нормальном состоянии.

Я тоже лег спать, долго лежал с открытыми глазами, думал об отце и переживал за него, и о больной девушке, к которой нам придется ехать, и сам не заметил, как вошел в то особое состояние, которое случалось со мной часто без моего участия. Иногда меня погружали в него какие-нибудь ритмичные звуки, которые вызывали музыку, и эта музыка звучала только в моем сознании. Музыка была всегда необычна, она была во мне, и она была вокруг меня. В какой-то момент я начинал физически ощущать её. Она обволакивала мое сознание, парализуя мою волю, и давала ощущение покоя и счастья. И я осознавал, что именно эта музыка уносила меня в неведомые миры, где все причудливо и странно. Музыка начинала вибрацией пронизывать мое тело и вызывала ответные вибрации. И я сам становился музыкой.

Сначала вибрация исходит из рук и ног. От них к центру тела, словно струится, энергия. Когда она достигает головы, в сознании появляются образы. Я вижу себя со стороны. Нет страха и боли. Иногда вокруг меня пляшет белое пламя. Это холодное, приятное пламя. Оно проникает в меня тогда, когда во мне сидит боль, и сжигает все нездоровое, дурное, что накопилось в теле и душе. Я чувствую, что во мне идет целебный процесс небывалой силы. Кажется, потоки энергии и огня наполняют и захлестывают мое тело. И тогда мне хо-

чется плакать. По лицу текут слезы. Они не вызывают чувства горечи или стыда, я ощущаю радость...

На этот раз я испытал совершенно невероятные ощущения, которые раньше никогда не испытывал.

Огненные потоки вдруг сместились в область таза. Они вихрем раскручивались, и, казалось, во мне тоже рождается вихрь. В его центре начались сильные вибрации и судороги. Я почувствовал чудовищное напряжение и боль в нижней части живота. Хотелось закричать о помощи, но челюсти тоже были сведены судорогой. Я не мог даже вздохнуть. Неожиданно мышцы расслабились, я ощутил блаженную легкость, почти невесомость. Потом начались произвольные движения. Тело то прогибалось назад, то скрючивалось. При этом я выпячивал и втягивал живот. В нем опять появились напряжение и боль.

Когда это повторилось несколько раз, я, к своему ужасу, понял, что рожаю, а эти периодические судороги то, что у женщин называется схватками.

Я ожидал пережить все, что угодно, но не это. Но самое неожиданное даже не то, что я переживал роды, а то, что мне были знакомы эти ощущения, мое тело помнило их...

В воскресенье, к десяти часам я, чистый и причесанный, в белой рубашке и куртке, подаренной дядей Павлом, сидел на диване в ожидании машины. Мать все наставляла меня, как надо вести себя в культурном доме, а отец молчал и нервно барабанил пальцами по столу.

– Вова, не вздумай там ничего трогать руками. Не глазами по сторонам. Спросят – отвечай. И очень-то себя не показывай. Больше молчи, мол, иногда могу помочь, если там голова или зубы, а больше ничего.

Мать тараторила без умолку. Наверно, это у нее тоже было нервное.

– Да ладно, мам, я все понял, – кивал я головой, особенно не вникая в смысл ее слов. Меня больше занимало, на какой машине мы поедем.

В десять часов ровно мы услышали автомобильный сигнал, и вышли с отцом к машине. Во дворе стояла черная «Эмка». Шофер открыл дверцу, и я запрыгнул на заднее сидение. Отец узнал шофера, поздоровался с ним, как со старым знакомым, и сел рядом с ним на переднее сидение.

– Вы назад нас привезете?

– Не беспокойтесь, приказано доставить, – ответил шофер.

Мы подъехали к небольшому двухэтажному каменному особняку где-то в районе Купеческого гнезда. Возле дома ходил милиционер, а чуть поодаль остановился и, не выказывая особого беспокойства, смотрел на нас человек в штатском. Шофер приветственно махнул ему рукой, поздоровался за руку с милиционером, что-то сказал ему, тот отдал нам честь, и мы пошли к парадному входу, с высокими, как у прокурорского дома, каменными ступеньками.

На звонок вышла миловидная пожилая женщина. Она оставила нас в прихожей и ушла в комнаты. Я принялся рассматривать прихожую, которая была не меньше всей нашей квартиры. На красивой резной тумбочке необычного красноватого цвета, на кружевной салфетке стоял телефон, а возле – низкие мягкие табуреточки круглой формы. Дальше – большое, во весь рост, трюмо на подставке такого же цвета, как тумбочка под телефон. На противоположной стене висела картина в широкой золоченой рамке с видом на природу и водяной мельницей. С мельничного колеса падала вода, настолько живая, что в какой-то момент я услышал шум от ее падения и скрип мельничного колеса.

Поглощенный созерцанием картины, я не заметил, как в прихожую вплыла роскошная дама, еще довольно молодая, и, пожалуй, красивая, если бы не двойной подбородок, так некстати прилепившийся к лицу. Красивый шелковый халат, расшитый павлинами, не скрывал полноты, а пояс, завязанный узлом спереди, только подчеркивал эту полноту.

– Кира Валериановна, мне ждать или можно отлучиться? – спросил шофер.

– Жди, Гриша! – чуть поколебавшись, решила хозяйка, и шофер пошел к машине.

– Проходите в зал, – пригласила нас Кира Валериановна. – Варя, – крикнула она куда-то в комнаты. – Дай гостям тапочки.

Мы пошли в зал. Вот это был зал. Высокие лепные потолки. Стекланный шкаф с хрустальной посудой. Потом мать мне объяснила, что это называется «горка». Овальный

стол и красивые стулья с высокими спинками вокруг, диван и кресла, обтянутые красным бархатом. Тяжелые бархатные шторы и такие же занавеси на двухстворчатых дверях. Почти во всю комнату – мягкий ковер на полу. На стене тоже висел ковер с ярким рисунком. Но больше всего меня поразил рояль. Прокурорская семья считалась богатой, но у них было пианино. А здесь рояль. Я всегда думал, что рояли бывают только в концертных залах.

Кира Валериановна усадила нас на диван, а сама села в кресло.

– Меня зовут, вы уже слышали, Кира Валериановна, – хозяйка улыбнулась, но улыбка вышла вымученной. Видно было, что она нервничает. Отец представился и представил меня.

– Я почему-то думала, вы старше, – сказала Кира Валериановна, задерживая на мне взгляд. – И вы умеете лечить?

– Кира Валериановна, я уже говорил вашему мужу, что энергия моего сына может ускорить заживление раны, снять болевые ощущения, но сила этого воздействия не безгранична. Чудес, Кира Валериановна, не бывает.

– Но, говорят, он кого-то вылечил. Может быть, он и мою дочь сумеет вылечить?

В ней все же жила надежда на чудо, и она вряд ли поверила словам отца.

– Вам, наверно, нужно знать историю болезни моей дочери?

– Это лишнее, Кира Валериановна, – мягко сказал отец. – Володе это не поможет. Все, что нужно увидеть, поверьте, он увидит.

– Тогда я сейчас приглашу дочь,

Кира Валериановна ушла и вскоре вернулась с дочерью. Это была очень красивая девушка, с толстыми темно русыми косами, круглым лицом и карими глазами,

Лицом она походила на мать, но глаза, скорее всего, унаследовала от отца, потому что у матери глаза были серые. Я сразу отметил бледность девушки и беспокойный, настороженный взгляд.

– Моя дочь Мила.

– Здравствуйте, – буркнула Мила, и глаза ее уставились на меня.

– Это ты, что ли лечить меня будешь? – с усмешкой сказала она.

– Мила! – укоризненно покачала головой Кира Валериановна.

–Что, Мила? – глаза девочки зло сверкнули, а лицо пошло красными пятнами. – Ты знахарям веришь больше, чем врачам, а я комсомолка.

Я обратил внимание на свечение вокруг ее головы. Цвета плясали прямо каким-то пожаром. Голубого цвета почти не было видно. Красные сгустки просто пульсировали в нескольких местах. Несомненно, Мила была очень больна.

– У тебя голова болит? – спросил я.

– А тебе-то что? – огрызнулась Мила. – Можешь вылечить? – Она зло усмехнулась,

– Голову могу. Хочешь?

– Обойдусь.

Я разозлился.

– Мила, – вышла из себя мама. – Как ты себя ведешь? – Соблюдай хоть некоторые приличия.

– Подождите, Кира Валериановна, – остановил я мать Милы. Голос мой прозвучал неожиданно резко, и обе, мать и дочь, посмотрели на меня с удивлением, но теперь меня ничто не могло остановить. Я встал, подошел к креслу, где сидела Мила. Она съежилась, будто от удара, и вдруг неестественно выпрямилась и застыла, глаза ее потускнели.

Она извинится, – сказал я, глядя на девушку и мысленно повторяя приказание. Мила встала, подошла и сказала ровным голосом:

– Простите меня, я больше не буду.

– Володя, что еще за фокусы? – строго посмотрел на меня отец. А Кира Валериановна хлопала глазами как сова, хотела что-то сказать, открыла рот и тут же закрыла его.

– Пап, она должна мне поверить, а она издевается, – шепотом оказал я отцу. – Сейчас я сниму головную боль и верну Милу назад.

Я стал водить руками в той зоне, где собирались темно-красные сгустки. Их было больше у лобной части. Через несколько минут сгустки посветлели. Весь нимб вокруг го-

ловы чуть позеленел. Это от тепла. Когда я отниму руки, он станет голубовато-синим, сгустки останутся, как и в свечении вокруг головы отца, но они на время как бы растворятся в естественном мерцании голубоватого оттенка.

Мысленно внушив девушке хорошее настроение, я вернул ее к нормальному состоянию.

– Что случилось? – Мила растерянно смотрела на нас.

Наверно, мы все слишком откровенно уставились на нее. Отец молчал, Кира Валериановна пребывала в легком шоке, а я сказал:

– Ничего. Голова болит?

– Нет, – ответила Мила и на всякий случай потрясла головой, потом как-то виновато улыбнулась.

– Мила! – прошептала, Кира Валериановна. – Я глазам своим не верю!.. А знаешь, что ты сейчас сделала?

– Что? – испугалась Мила,

– Ты попросила прощения.

– Это правда? – спросила она у моего отца.

Отец пожал плечами.

– Но я ничего не помню, – заволновалась Мила. – Это ты? – Она почему-то с ужасом смотрела на меня.

– Не обижайся. Простой гипноз, – буркнул я.

– Вы посмотрите, у нее даже румянец появился, – наконец обрела дар речи Кира Валериановна. – Спасибо, Володя. Я даже не знаю, как вас благодарить. Знаете что? Пойдемте чай пить.

– Нет-нет! Спасибо, Кира Валериановна, не беспокойтесь. Как-нибудь в другой раз.

Кира Валериановна не стала настаивать, но пока мы в прихожей возились с ботинками, завязывая шнурки, она ушла и вернулась с большой коробкой конфет. Как отец ни отказывался, она всунула конфеты мне в руки со словами «Вы нас с Милочкой обидите, если не возьмете». И тут же спросила:

– А когда вы продолжите лечение, Володя? Я же понимаю, что не все так просто.

– Кира Валериановна, давайте посмотрим, как ваша дочь будет себя чувствовать дальше, и тогда решим, – без энтузиазма ответил за меня отец. Я видел, что ему очень не

хочется снова возвращаться в этот дом. В машине мы молчали, а дома отец отругал меня за гипноз.

– Не было никакой необходимости делать это. Я тебе сколько раз говорил, поменьше показывай то, что умеешь. Кроме вреда это ничего не принесет.

Я понимал, что отцу нужно выговориться, чтобы снять напряжение, но вместо того, чтобы промолчать, я упрямо возразил:

– Зато ты видел? Сразу как шелковая стала. А то строит из себя... Хотят, чтобы я лечил, пусть знают, что я что-то умею...

– Ты понимаешь, у Киры Валериановны подруги, она начнет рассказывать. Пойдут разговоры.

– Ладно, пап, – мягко сказал я. – Она все равно расскажет. Не про гипноз, так про лечение.

– Хорошо, оставим это, – устало заключил отец. – Все же девушке ты помог. И это хорошо.

– Пап, да у нее сегодня к вечеру или завтра голова опять начнет болеть, ее руками не вылечишь, даже если они будут излучать энергию в сто раз сильнее моей.

– Прискорбно, но ты же не господь бог!

– Пап, ее нужно ввести в особое состояние, в котором бываю я.

– Ты это серьезно? – испугался отец, и у него даже брови поползли вверх.

– Да, пап, я знаю, что нужно сделать, так.

Я видел, что эта моя затея отцу не нравится, и поспешил успокоить его.

– Хуже-то точно не будет. Я, по крайней мере, всегда после этого чувствую себя свежим и бодрым, будто хорошо выспался.

– Ну, попробуй, – неохотно согласился отец. – Если это твое внутреннее ощущение ...

– Пап, ты же не хочешь, чтобы я бегал к ним каждый день лечить ей голову. Если получится, все разом кончится. А потом, от Милы ведь все отказались, поэтому нужно попробовать.

Глава 11

Скандал в доме дяди Павла и воспоминания о возвращении домой. Переезд бабушки к дяде Павлу.

Семейная жизнь дяди Павла не заладилась...

По разговорам бабушки с матерью, во время которых бабушка плакала, а мать только качала головой, жалея брата, и потом пересказывала отцу эти разговоры, осуждая Варвару и возмущаясь ее бессовесностью, я живо представлял, что происходило у дяди Павла в доме, и понимал, что бабушка пошла жить к нему с наивной верой в то, что Варвару смягчит и остепенит ее постороннее присутствие.

В разговорах с отцом Павел часто возвращался к войне, которая была для него более привычна, чем вялотекущая жизнь послевоенных дней, к которым он никак не мог приспособиться, и я «видел», а может быть в моей памяти так прочно сидели рассказы Павла о войне, однополчанах и о его возвращении в мирную жизнь, которой жил город, где волей судьбы оказались его близкие, что мне и не нужно было «видеть», потому что я знал...

После очередного скандала, короткого и жесткого, Павел едва сдержался, чтобы не ударить Варвару. Как в тумане пошел к вешалке, взял кепку и вышел, хлопнув дверью. Зло и обида душили Павла, пальцы дрожали, когда он скручивал сигарку. Закурил, затягиваясь глубоко и судорожно, и все никак не мог успокоиться.

Он задержался на работе, пришел голодный и уставший. Дома было холодно, печка не топилась. Варвара сидела на кровати, не зажигая света, и ждала Павла.

– Ты чего в темноте сидишь? – спросил Павел и включил свет.

Варвара промолчала. Павел повесил кепку на вешалку и попросил:

– Поесть нечего?

– Посмотри, – не вставая с места, зло сказала Варвара.

Павел подошел к подоконнику и заглянул в кастрюлю, где, застыв желтыми льдинками, стоял свекольник, сваренный вчера Павлом.

– Неужели не могла хотя бы разогреть? – громыхнул крышкой Павел.

– Сам разогрей, если печку растопишь!

– А у тебя что, руки не оттуда растут? – рассвирепел Павел, – Ты что, профессорская дочка? Ишь, фрау мадам... Это ж твое, бабье, дело. Уголь принесен, дрова на растопку есть. Ну ладно, не умеешь чего-то, так ты же и научиться не хочешь!

– Чему надо, тому научилась, – не тая злой усмешки, огрызнулась Варвара. – Я к тебе в прислужницы не нанималась. Не для того замуж выходила, чтоб тебе жратву готовить.

– А для чего ж ты выходила? – изумился Павел.

– А я думала, что на руках носить будешь, – с издевкой сказала Варвара. – А то на что ты мне рыжий недомерок сдался! Там у меня не чета тебе были.

Она выплеснула эту фразу вместе со злобой.

– Ах, вот оно что!

Павел побагровел, желваки заходили по скулам, кулаки сжались, и он сделал шаг к Варваре. Варвару испугали его глаза: они люто ненавидели, они убивали, точно он шел на врага. И Варвара закричала. Павел остановился как от тычка, с минуту смотрел на Варвару, потом пошел к вешалке, взял кепку и вышел, хлопнув дверью.

Он сидел на скамейке во дворе, курил и думал о войне, где ему жилось проще. Ему вспомнились его фронтовые друзья, и он невольно улыбнулся, а на сердце чуть потеплело. Потом словно ожили картинки недалекого прошлого, когда он, демобилизованный старший сержант Павел Мокрецов, возвращался домой...

Больше шести суток Павел трясся в теплушке. Ехал он из Берлина, а путь его лежал в незнакомый городок, где теперь жила мать с младшей сестренкой, вывезенные из голодной деревни Обуховки, что в родной Смоленской области, два года назад. За шесть дней он проехал то, что прошел с боями за четыре года и вместе с товарищами стоял в дверях теплушки, узная места, которые навек остались в памяти, и сглатывал горький комок, вспоминая погибших здесь друзей.

Его никто не встречал, и он, оказавшись на платформе разбитого вокзала, стоял с туго набитым вещмешком и большим трофейным чемоданом, озираясь по сторонам. За четыре года войны он впервые почувствовал вдруг себя

одинок, словно враз потерял семью, как это случилось на фронте с его братом – солдатом. Вызывают на КПП, вручают письмо, а там... Мужайся, солдат... «в результате прямого попадания... отец, мать, сестренка». Солдат мужался, но седел на глазах, каменел и остервенело лез под пули... По каким-то немислимым законам пули часто обходили его, и он оставался целым.

И Павел растерялся. А вокруг сновали люди с мешками, чемоданами, узлами. Мелькали и солдатские гимнастерки, но в них были уже другие, гражданские люди, для которых война не стала и не могла стать ремеслом, потому что была лишь эпизодом, страшным и затянувшимся, но эпизодом, а ремесло у них было другое и там, на войне, по нему тосковали и, приближая тот день, когда будет можно оставить автомат и взять нормальный мирный инструмент, отдавали жизни.

Павел помнил, как старательно и ловко работал топором рядовой дядька Федор, когда размещались на постой в каком-нибудь украинском хуторе, помогая хозяйке поправить забор или выполняя другую плотницкую работу; и как блестяли глаза сержанта Галутина, когда он копался в часовом механизме, который попал ему в руки.

Павел поискал глазами, у кого спросить, как пройти на улицу Советскую, где у сестры жила мать, но мимо шли озабоченные и занятые своим люди, и он, вскинув повыше вещмешок и взяв чемодан, пошел к выходу в город. На привокзальной площади было не таклюдно как на вокзале, прохожие не суетились; они деловито шагали мимо Павла, успевали бросить уважительный взгляд на его грудь с шестью медалями и двумя орденами, но не замедляли шаг. Мимо прошел инвалид в вылинявшей добела гимнастерке. Он широко переставлял единственную ногу, ловко помогая себе костылями.

– Земляк! – окликнул Павел инвалида. Тот остановился и с недовольным видом повернулся в сторону Павла, но, увидев солдата, фронтовика, подобрел.

– Отвоевался, кореш? – рот его расплылся в беззубой улыбке. – Где воевал?

– Начал под Москвой, закончил в Берлине.

– То-то, я вижу, цапок сколько! – подмигнул инвалид. Павлу его тон не понравился, и он нахмурился:

– Я за эти цапки три раза в госпиталях валялся.

Он закинул за плечо вещмешок и взялся за чемодан.

– Ладно, солдат, хорош психовать. Я крови пролил не меньше. А медалей у меня поболее твоего. Давай лучше петуха. Серегой меня зовут.

– Пашка, – чуть поколебавшись, протяну руку Павел.

– Выпить бы нам за знакомство, да я на мели. Угостил бы что ли?

– Можно, – решил Павел. – Только не долго.

– Чего там долго! Вон магазин. А вон шалман на другой стороне, видишь? «Зеленый шум» зовем, – засмеялся Сергей, показывая беззубый рот.

В павильончике кучевыми облаками плавал синий папиросный дым. «На папиросы я не сетую, сам курю и вам советую», – вспомнил Павел рекламную надпись на деревянном щите возле магазина и улыбнулся. Выше надписи был изображен лихой красавец в шляпе и с дымящейся папиросой.

Стоял гам, и почти не было видно лиц. Мужское слово брало приступом буфетную стойку, теснилось у дощатых стоек вдоль стен, устраиваясь на пивных бочках, занимавших добрую половину павильона.

Рыжая буфетчица виртуозно отмеряла водку, собачилась с очередью, подавала закуску, наливала пиво, опуская кружки так низко, что желтоватая вязкая пена заполняла весь объем кружки, начинала вываливаться наружу.

Серега протиснулся к буфету. На него злобно ощерилась очередь, но при виде костылей успокоилась и только тихо ворчала. Сергей взял две кружки пива, камсы и хлеба. От водки и пива Сергея быстро развезло, и он стал вступать в чужие разговоры и задираться. Пьяный он оказался злым и подозрительным. Но, видно, его здесь знали и не обращали внимания, пропуская едкие слова мимо ушей. Когда его кто-то окликнул и позвал: «Серега, иди сюда!», он радостно осклабился и сказал Павлу: «Мои кореша! Айда к ним!» Но Павел посмотрел на часы и заспешил: «Не могу. Надо домой». Сергей полез пьяно целоваться, но задерживать не стал.

Павел шел пешком, часто останавливался, глазел по сторонам, знакомясь с городом, и беспричинно улыбался. Его захлестывала радость бытия. Ему хотелось обнять каждого встречного, хотелось с каждым заговорить. А встречные торопились и жили полной гражданской жизнью – для них война стала уже чем-то прошлым, хотя следы ее были всюду. На месте домов – груды кирпича, покореженное железо, битое стекло, разметанные взрывами расщепленные доски, бревна. Казалось, весь город превращен в груды развалин. И на этом фоне радовало глаз выщербленное пулями, но уцелевшее пятиэтажное здание, на куполе пожарной башни которого развевался красный флаг.

Улица Свободы находилась в стороне от центра, и Павел, поминутно спрашивая и путаясь в переулках, наконец, подошел к дому, где жила сестра.

Дом был несуразно длинный и изогнутый, как паровозный состав на повороте, со множеством подъездов и входов. Видно, к основной части дома все подстраивали и подстраивали квартиры, и дом удлинялся вглубь двора до тех пор, пока ни уткнулся в каменную кладь разрушенного детского сада. Посреди двора был разбит огород, обнесенный железными прутьями, колючей проволокой и ржавой металлической сеткой.

Павел стоял в нерешительности, не зная, в какую дверь войти. Сердце его бешено колотилось. Из окон смотрели на него с любопытством. Вдруг из дверей ближнего к Павлу подъезда выпорхнула легонькая старушка с пучком волос, собранных узлом на затылке. «Пашенька, сынок, – с каким-то всхлипом выдохнула она и повисла на Павле, и обмякла вдруг, сразу ослабев. Павел подхватил ее, прижал к себе, гладил по голове и тихо повторял: «Мама! Родная моя!»...

Папироска давно догорела до мундштука. Павел бросил ее под ноги и по привычке раздавил сапогом. Становилось прохладно, да и голод давал себя знать, и Павел подумал, что надо идти домой, а в голове все звучало: «Пашенька, сынок!»

И он вдруг совершенно отчетливо понял, что нужно делать. Нужно взять мать к себе. И все пойдет по-другому.

И ему сразу стало покойно, он поднялся со скамейки и уже без злобы пошел в дом...

Павел пришел к нам в субботу ни свет, ни заря, чтобы забрать к себе мать с Ольгой. Отец уговорил бабушку оставить Ольгу у нас. Сейчас она бы только мешала там. И потом, ее нужно было куда-то устраивать. Ольга закончила семилетку. Учеба давалась ей трудно, и школу она не любила. Девчонки дразнили ее «рыжей-конопатой», а мальчишки смотрели на нее как на пустое место. В конце концов, все согласились, чтобы Ольга получила какую-нибудь легкую специальность.

Бабушка собрала свои нехитрые вещи в клетчатый шерстяной платок и завязала концы узлом. Все вместе пили чай и говорили ни о чем. Бабушка пыталась плакать, дядя Павел её успокаивал, а мать недовольно говорила:

– Мам, тебя никто не гонит. Не хочешь, не уходи!

Бабушка торопливо вытирала слезы и отвечала:

– Да нет, дочк, поживу с Пашенькой.

На дорогу опять присели. И дядя Павел увел бабушку Марусю, одной рукой поддерживая её под локоть, другой неся нетяжелый бабушкин узел.

Глава 12

Мила. Последнее средство. Погружение в особое состояние. Исцеление. Рассказ Милы. Загадочные следы на шее. Благодарность.

Ждать вестей от генерала нам долго не пришлось. Уже на следующий день за отцом прислали машину. На этот раз председателя горисполкома заранее поставили в известность, что отец на весь день поступает в распоряжение комитета госбезопасности. Меня нашли на пустыре, где я с пацанами играл в футбол. Мать меня быстро передела, и мы поехали к генеральскому особняку.

Кира Валериановна еще в прихожей скороговоркой, волнуясь и промокая глаза кружевным носовым платком, рассказала нам, что к ночи у Милы опять разболелась голова, она плакала, потом с ней случилась истерика. Таблетки не помогли. С трудом ей удалось уснуть. Во сне она задыха-

лась. Утром голова не прошла. Сейчас болит не так сильно как вчера, но Мила в депрессии. Ничего не ест, никого к себе не пускает. Варя, домработница, принесла к ней поднос с завтраком, так она выгнала ее. На меня кричит ...

Кира Валериановна всхлипнула и высморкалась в свой кружевной платочек.

Мы, как и в прошлый раз, прошли в зал, но на этот раз Кира Валериановна, оставив нас, сразу пошла за дочерью. Мила не заставила себя ждать, она помнила, как быстро я унял ее головную боль вчера, и сейчас торопилась освободиться от этой боли. Красные воспаленные глаза девушки застилала слезы. Бледность, словно маска, покрывала ее лицо. Было видно, что боль измотала ее.

– Володя! – тихо сказал отец.

Я подошел к Миле, попросил закрыть глаза и стал водить руками ото лба к затылку и в стороны. Темно-красные сгустки снова выделялись на фоне сине-сиреневого свечения.

– Ты чувствуешь тепло? – спросил я Милу.

– Да, приятное тепло, как теплый ветерок. Даже не ветерок, а какое-то колебание, которое проходит через голову. Я чувствую покалывание.

– Боль проходит?

– Проходит, – тихо, словно боясь спугнуть это ощущение наступающего облегчения, сказала Мила.

Еще немного и боль исчезла. Снова на ее лице проступил легкий румянец. Посветлели глаза. Некоторое время Мила сидела неподвижно, прислушиваясь к новому ощущению.

– Как ты, доченька?

– Хорошо, – одними губами ответила Мила. Она все еще боялась, что боль может вернуться.

– Юрий Тимофеевич, но ведь потом все снова повторится? – Кира Валериановна даже не спрашивала, а утверждала.

– Кира Валериановна, Володя хочет попробовать другой метод. Для этого он должен ввести Милу в особое состояние, которое может испытывать сам.

– Это гипноз? – попыталась осмыслить Кира Валериановна.

– Не совсем, – уклонился от объяснения отец.

– Это опасно?

– Да нет. Он будет контролировать ситуацию.

– Что для этого нужно?

– Ну, прежде всего, чтобы Мила полностью доверилась моему сыну.

– Мила! – Кира Валериановна умоляюще посмотрела на дочь. У нее самой на мой счет, по-видимому, никаких сомнений не осталось.

– Я согласна. Я на все согласна. Вы не представляете, что такое постоянная головная боль. Я все последнее время нахожусь в каком-то полуживом состоянии. Я ничего не могу делать, я никого не хочу видеть. Иногда мне хочется убить себя.

Мила разрыдалась. Этот эмоциональный взрыв выплеснул накопившуюся в ней душевную боль, позволяя организму расслабиться, и набрать силы для сопротивления болезни.

– Вот и хорошо, вот и молодец, – попытался успокоить ее отец, а Киру Валериановну стала бить мелкая дрожь. Очевидно, она тоже была на грани срыва.

Отец глазами показал мне на нее.

Я подошел и быстро ввел ее в состояние гипноза. Через минуту вывел уже расслабленную и спокойную. Помоему, она даже не заметила этого, потому что, увидев, что я стою возле нее, удивленно посмотрела на меня и вопросительно на отца.

– Все в порядке, Кира Валериановна. Вы стали нервничать, и Володя помог вам. Теперь так, Володе нужна тихая комната. Такая, чтобы туда не проникали посторонние звуки и шум.

– Я думаю, Милочкина спальня подойдет. Хотя у нас везде тихо. Да я и Варвару предупрежу, чтоб за этим проследила.

– А вот Варвару вашу давайте сюда, Кира Валериановна, ему нельзя мешать. Лучше будет, если мы все останемся в зале.

– Пап, мне нужно посмотреть.

– Конечно, пойдете, – услышала Кира Валериановна.

– Милочка, веди нас.

Мы поднялись по деревянной лестнице с красивыми резными перилами на второй этаж, и Мила провела нас в свою комнату. Комната была сравнительно небольшая, сравнительно, если говорить о зале, но очень уютная. Кровать с зеркальными шарами, застеленная ковровым покрывалом, с пирамидой подушек в изголовье. Над кроватью ковер, над письменным столом географическая карта с двумя полушариями, небольшое круглое зеркало в рамке, под ним тумбочка. В углу кресло. Главное же, что на полу лежал мягкий ковер, в ворсе которого буквально утопали ноги.

– Вот эти часы ходят? – спросил я, заметив на столе будильник.

– Ходят, только я их не завожу, чтобы не тикали, – сказала Мила.

– Громко тикают?

– По-крайней мере, слышно. А что?

– Можно завести? – попросил я.

– Пожалуйста, – пожала плечами Мила. Она завела часы, и они стали ритмично отсчитывать секунды.

– Все, пап. Только Миле нужно снять свитер и надеть что-нибудь свободное, а еще лучше спортивный костюм. Еще нужно завесить шторы и включить настольную лампу.

– Прямо театр какой-то, – не удержалась от ехидной реплики Мила.

– Мила, не забывайся, – осадила её Кира Валериановна, и она послушно прикусила язык.

– Вы выйдите, пока я переоденусь? – все же в её словах сквозила то насмешка, то ехидство.

– Да, пожалуйста, – отец поспешил к выходу. Мы снова спустились в зал.

– Это продлится долго? – опросила Кира Валериановна. Отец обернулся ко мне.

– Не знаю, пап. Может быть, час, может быть, два. Здесь время не замечаешь. Просто чувствуешь, что все закончилось.

– Но это действительно не опасно?

– Кира Валериановна, доверьтесь моему сыну, – в который раз пришлось успокаивать её отца.

– Я готова, – Мила в спортивном костюме выглядела ещё более стройной и привлекательной.

Я встал, и мы пошли в комнату Милы. Без отца и присутствия Киры Валериановны я почувствовал себя свободнее. Войдя в комнату, я плюхнулся в кресло. Мила села на стул.

– Ну и что дальше? – насмешливо спросила Мила.

– Сейчас увидишь, не спеши. А кто твой отец?

– Генерал, – с гордостью ответила Мила.

– Здорово. Зато мой специальное задание в Иране выполнял, – похвастался в ответ я.

– Меня это не интересует. Скажи лучше, как ты все это делаешь?

– Не знаю, – признался я. – Умею и все.

– А что ты ещё умеешь?

– Много чего.

– Ладно, хвастун. И ты меня действительно вылечишь?

– Не знаю, – откровенно признался я. – Если ты сейчас мне поможешь и войдешь в то состояние, в которое мне нужно, может быть и вылечу.

– Так давай. Что я должна делать?

– Хорошо. О чем ты сейчас думаешь?

– Ни о чем.

– Вот и хорошо. Сейчас ты ляжешь на пол. Я буду рядом.

– Что, лежать? – глаза ее озорно блеснули.

– А что? – удивился я.

– Да нет, ничего, ложись.

– Слушай, Мил, я, кажется, сказал тебе. Мне сидеть здесь с тобой не очень охота. Я сейчас бы с пацанами в футбол гонял или на речке загорал.

– Лежать.

– Что лежать?

– Ну, ты сказал: «Мне с тобой здесь сидеть». Ты же лежать будешь.

– Дура, – разозлился я. – Мне что, у меня голова не болит!

– Все, Володя, прости. На меня иногда находит. Я действительно хочу вылечиться.

Мила легла на пол.

– Закрой глаза. Дыши равномерно и спокойно. Я буду держать твою руку и входить в это состояние вместе с тобой. Мне сделать это проще, а ты войдешь вместе со мной. Если тебе будет страшно или плохо, я помогу. Не бойся ничего.

Я лег рядом и взял руку Милы в свою.

– А сейчас слушай тиканье часов, настраивайся на их ритм. Потом ты услышишь музыку. Дыши, как тебе удобно. Скоро твой организм сам настроится на нужное дыхание.

Вскоре Мила начала быстро дышать. Потом дыхание выровнялось и стало более глубоким. Я почувствовал, как завибрировало ее тело, появились слабые судороги. Я понял, что она перестала контролировать свое тело. Мила лежала спокойно, но иногда пальцы её рук принимали неестественное положение и холодели, но мне достаточно было сжать их сильнее, как гибкость и тепло возвращались. Несколько раз у нее нарушался ритм дыхания, и я возвращал ей правильный ритм. Но я чувствовал, что не достигаю основной цели: заставить её пережить роды. Тогда я вошел вместе с ней в то состояние, в котором она пребывала, и стал направлять потоки энергии, заполнявшие ее и меня, в область таза, и когда они вызвали ту боль, которую я недавно пережил сам в нижней части живота, и у меня начались судороги, я вышел из этого состояния, но видел, что судороги начались у Милы. Её тело изгибалось, скрючивалось, испарина выступила у неё на лбу. Она открывала рот, чтобы закричать, но крика не было. Вдруг Мила стала задыхаться. Она хваталась рукой за шею, пытаясь убрать что-то мешающее ей, и я держал свои руки у её шеи, снимая неприятные ощущения энергией своих рук. Когда страшные переживания закончились, она затихла, и по её лицу потекли слёзы. Лицо выражало покой и радость.

Когда я вывел Милу из необычного состояния, на её лице плавала счастливая улыбка.

– Как твоя голова? – спросил я.

– Да подожди ты с головой... Я такое видела. Мои не поверят. А что будет с девчонками, с ума сойти.

– А ты не рассказывай, если все равно не поверят.

– Да ты что? Да я все равно не удержусь... Послушай, Володь, я что, правда рожала? – переходя на шепот и округляя глаза, спросила Мила.

– А я откуда знаю? Что, и про это будешь рассказывать?

– И ты все видел?

– Ничего я не видел. Я видел совсем другое.

– Ну, тогда ладно, – успокоилась Мила.

– У тебя синяки на шее.

– Откуда? – испугалась Мила и бросилась к зеркалу. – Ничего себе! Это не ты, случаем?

– Вот дура. Ты же в сознании была. Смотри, матери не брякни.

– Да ладно, шуток не понимаешь? Что я, правда, дура что-ли?

– Ты не помнишь, как сама себя за шею хватала?

– Помню, меня душило что-то, не давало дышать.

– Ладно, пойдем вниз.

– Иди, я свитер надену, а то мать сразу увидит. Я лучше ей потом расскажу.

Я спустился в зал. Кира Валериановна поднялась мне навстречу.

– Ну, как, Володя? Ее лицо выражало вместе и тревогу и ожидание.

– Нормально, – сказал я,

– Что нормально? – спросил отец. – Толком говори.

– Пусть она скажет.

Мила впорхнула в зал, ее будто подменили. Это была сама доброжелательность. Улыбка не сходила с ее лица. Она опустилась в кресло и весело сказала:

– Mam, что со мной было! Сказал бы кто раньше, что такое бывает, – ни за что бы не поверила.

Кира Валериановна даже растерялась. Она не знала, что делать; смеяться или плакать, верить тому, что видела или нет.

– Как вы себя чувствуете, Мила? – поинтересовался отец.

– Спасибо! Просто чудесно. Такое ощущение, что у меня начинается новая счастливая жизнь. Только вы мне объясните, что это было?

Мила принялась рассказывать.

Когда я стала глубоко дышать, я, как Володя и сказал мне, стала слышать музыку. Сначала я слушала тиканье будильника, а потом тиканье куда-то пропало, и вместо него зазвучала какая-то незнакомая музыка. Потом появилась вибрация в руках и ногах. И меня закрутили потоки энергии и какого-то белого огня. Увидев яркий свет, я подумала, что на потолке зажглась люстра. Открыла глаза – вокруг по-прежнему полумрак от настольной лампы. Закрыла гла-

за, опять светло как в солнечный день. А потом увидела невероятное: руки Володи излучали свет. Это было хорошо видно. Из любопытства я посмотрела на свою руку – она тоже светилась. Что это Юрий Тимофеевич?

– Это могла быть просто игра воображения. Это причудливый образ необычного состояния вашего сознания, – соврал отец.

– Но это было так реально, – разочарованно протянула Мила.

– А почему я рожала?

– Милочка, что ты городишь? – испугалась мать. – Ты понимаешь, что ты несешь?

– Понимаю, мама. Скажи ей, Володя.

– Чего сказать? Я-то откуда знаю? Это же тебе приснилось, а не мне. – Я почувствовал, что краснею. Ну и дура. Она и правда хочет рассказать. И не стыдно.

– Вова, я не понимаю, что-то случилось? – на лице отца было удивление.

– Да ничего не случилось. Она должна была пережить свое рождение вновь. В этом и заключалось лечение.

– Мам, ты слушай, что со мной было. Сначала я испытывала муки схваток, весь процесс родов и блаженное состояние радости. Потом я уже не рожала, а сама рождалась. Я испытывала чувство невесомости. Это непередаваемо приятное ощущение. Казалось, я погружена в жидкость в какой-то емкости. Я плавала в этой жидкости в позе зародыша. Вдруг появились другие ощущения – словно я закована в какой-то деревянный скафандр и освобождаюсь от него, испытывая невероятное блаженство. Опять возникла невесомость. Только теперь казалось, что я парю в воздухе: мое тело поднялось над полом и медленно смещалось в горизонтальном положении. Я видела неземное сияние. Неужели такое блаженство испытывает новорожденный. Но прежде у меня был страх, меня душило что-то, я задыхалась, А страх такой, как будто я умираю. А потом все хорошо.

А еще я чувствовала, как холодное пламя вылечивает меня. Оно словно пожирало мою болезнь.

– Это что, сон, Володя?

– Наверно, сон, – согласился я.

– Сон? – недоверчиво посмотрела на меня Мила. – Хорошо!

А это тогда что?

И она сделала то, чего я от нее не ожидал: отвернула горловину свитера и показала синяки на шее.

– Мила, что это? – Кира Валериановна уставилась на шею дочери. Отец вопросительно посмотрел на меня. А я с ужасом ждал, что она ляпнет на этот раз.

– Когда я появлялась на свет, меня что-то душило, я испытывала страх, я задыхалась и, как вы говорите, во сне хватала себя за горло.

Я вздохнул с облегчением, потому что от нее можно было ожидать всего чего угодно. Она бы могла сказать «не знаю», и мне пришлось бы объяснять, что это за синяки и кто ее душил. Хотя я бы не удивился, если бы она сказала, что это я душил ее.

Кира Валериановна неожиданно спокойноотреагировала на объяснение дочери. Она только поднесла свой кружевной платочек к глазам и сказала;

– Да, доченька, в самом деле, тебя душила пуповина, которая обмоталась вокруг шеи. Я так была рада, когда все закончилось благополучно, и ты появилась на свет...

В конце концов, мне пришлось рассказать отцу о пережитом мной необычном ощущении, которое стало ключом к болезни Милы. Отец, как всегда, стал искать объяснение этому явлению.

– Знаешь, сынок, когда младенец появляется на свет, между ним и матерью нет границ – это единое целое. И переживания у них общие. Нет ничего удивительного, что ребенок запоминает ощущения матери. Правда, есть еще одно объяснение. По мнению Юнга, каждый человек может оживить в себе память предков. Это обобщенные образы – мужское и женское начало, материнское состояние, переживание родов. Хотя наша наука осудила юнговскую теорию психоанализа как реакционную. И то: ученик Фрейда. А фрейдизм – вообще не стоящая внимания чушь.

Был у нас с отцом разговор и об этих злополучных синяках на шее Милы. Я уверял, что она не могла себе наставить синяков, синяки появились сами.

– Как же они могли появиться сами? – усомнился отец.

Тогда я напомнил про ожог, который у меня как-то появился на глазах у отца, когда я представил, что держу руку над пламенем.

– Возможно, – согласился отец. – Тогда это могут быть следы от воображаемой пуповины...

Еще несколько раз я ездил в генеральский особняк один. Я продолжал лечить Милу энергией своих рук.

Болезнь отступила. После того как она побывала в необычном состоянии, у нее исчезли головные боли. Мила отказалась от лекарств и чувствовала себя очень хорошо. От ее раздражительности не осталось и следа, хотя вредности в ней было, хоть отбавляй.

Как-то нас еще раз позвали вместе с отцом. Генерал прислал за нами машину вечером. Мы с Милой ушли в ее комнату, а отца генерал увел к себе в кабинет. Варя унесла к ним закуску, и сидели они там очень долго.

Меня Кира Валериановна поила чаем и была ко мне очень доброжелательна. Мила меня все время дразнила и говорила колкости, а мать одергивала ее и, обращаясь ко мне, говорила:

– Вы, Володя, на нее не обращайтесь внимания. Она не хочет вас обидеть, просто у нее такой вредный характер.

Мы уехали домой, когда уже смеркалось. От отца пахивало коньяком, он был в хорошем расположении духа, хвалил генерала и уверял, что тот человек редкого ума, но о чем они там говорили, рассказывать не стал. Мы знали только, что отец просил генерала никому из знакомых не говорить обо мне, но скорее он намекал на подруг Киры Валериановны.

На следующий день шофер Фаддея Семеновича привез аккуратный сверток. Когда мы сняли шуршащую пергаментную бумагу, под ней оказались шахматы. Шахматная доска была инкрустирована янтарем и малахитом, а шахматные фигуры из слоновой кости и черного дерева изображали войско. Король и королева – шах и шахиня, на боевом слоне – погонщик, на коне – арабский наездник, ладьи изображала крепостную башню, а пешки – индийских солдат со щитами и копьями.

Отец с восторгом разглядывал фигуры, был смущен и не знал, как поступить с подарком. Вернуть, значило обидеть хозяина. И оставить неловко. Будет похоже, что Милу лечили из корысти.

В конце концов, решили поговорить с генералом, если удастся, или с Кирой Валериановной.

А недели через две отца пригласили в обком партии к самому первому секретарю и предложили на выбор должность секретаря райкома или зам зав. отделом обкома партии. Отец сослался на то, что еще не совсем оправился после ранения, и спросил, нет ли какого-нибудь места для него по специальности. Первый пожал плечами и сказал с сожалением:

– Жаль, вы нам подходите. Тем более вас рекомендуют очень ответственные люди... Ну что ж, поправляйтесь. К этому вопросу можно вернуться позже. А работу мы вам пока подберем. И подлечим. Я распоряжусь, чтобы вас прикрепили к нашей поликлинике.

– Ну и правильно, – сказала мать отцу. – Собачья работа. Не с твоим здоровьем, высунув язык, бегать по району.

– Там бегать не надо. Первому секретарю машина положена.

– Не нужна нам никакая машина.

Секретарь обкома свое слово сдержал. На этот раз отца пригласили к заведующему промышленным отделом. Здесь тоже был выбор: директором какой-то фабрики или главным инженером какого-то комбината. Отец выбрал второе... Мать по этому поводу сказала:

– Ну и правильно. У главного инженера ответственности меньше. За все отвечает директор.

С Милой мы еще какое-то время встречались. Раза два по ее просьбе за мной присылали машину. Мы даже гуляли в Купеческом гнезде. Я ей еще был интересен.

Кира Валериановна усаживала меня за стол, угощала шоколадными конфетами и печеньем, спрашивала про школу, про родителей.

Потом они с Кирой Валериановной уехали на море. Вернулись к самому началу учебного года, и наши встречи как-то сами собой прекратились.

Так закончилась эта история, хотя генерал еще раз даст о себе знать, и в нашей семье помянут его добрым словом.

Глава 13

Нинка Козлиха. Цирк. Работа за контрамарки. Карманник. Цирковое представление.

К вечеру второго дня домашний арест с меня сняли, и я вышел на улицу.

Во дворе стучали топорами плотники. Это парикмахер Хаим Фридман строил себе павильон для парикмахерской. Его жена, огненно рыжая Зинка, командовала мужиками.

Пацаны сидели на пригорке у сараев, выходящих задами на улицу. На высоком крыльце Голощаповского подъезда и на табуретках, вынесенных из дома, расположились старухи и обсуждали житейские мелочи.

У Пахома правый глаз расплылся синяком. Ему всегда попадало «на всю катушку». А что недодавала мать, отсчитывал отец. Отец Пахома говорил: «Так-то оно надежней».

– А как же теперь документы? – спросил я.

– Ничего, сходим, пусть шум утихнет, – пообещал Монгол.

– Ты записку, Мишка, не потеряй, – сказал Мотья-старший.

– Учи ученого! – обиделся Монгол.

– Гляди, пацаны, – Каплунский показал глазами в сторону голощаповокого крыльца.

По улице плыла Нинка Козлиха. Она шла, покачивая бедрами, демонстративно не обращая внимания на старух, которые с раскрытыми ртами уставились на неё. Нинка была одета в просвечивающееся насквозь голубое с белыми цветами платье; под платьем прозрачная короткая комбинация, а через комбинацию четко вырисовывались трусики, присборенные с боков, как шторы в окнах прокурора.

– Во бесстыжая, – смогла выговорить Кустиха. Сплюнула в сторону, перекрестилась и скороговоркой добавила, заведя глаза вверх:

– Прости меня, господи, грешную.

И сразу, будто всех прорвало:

– У неё и батька беспутный был.
 – Известно, каков поп, таков и приход.
 – А оно и мать не лучше.
 – А меня озолоти, в жизнь бы в таком сраме не пошла,
 – доложила Кустиха.

– Ой, бабы, давеча, уж к ночи, я на двор вышла, слышу смех и два голоса, мужской и Нинкин. Ну, бабы, чего я только не наслушалась. Вот где срам-то.

– Ну, ну! И чего срам-то? – заинтересовалась Туболиха. Кустиха поправила платок и зашептала с бабками, те качали головами, а глаза их горели лукавым огнем.

– Нинка! К офицеру пошла? – крикнул Пахом и, заложив пальцы в рот, пронзительно свистнул.

Монгол смазал его по затылку.

– Ты чего? – опешил Пахом.

– Ничего. Она тебя трогает?

– Влюбился что-ли? – пробормотал как бы про себя Пахом.

– Чего? – приподнялся на локтях Монгол. – В лоб захотел? Я могу.

Пахом отодвинулся от Монгола. Нинка скрылась за углом.

– Во Козлиха дает! – засмеялся Мотя-младший, когда Нинка скрылась за углом. Никто не поддержал Мотю и тот, скосив глаза на хмурого Монгола, замолчал.

– Гляди, пацаны. Сенька бежит, – заметил Семена Письмана Пахом.

Семен действительно спешил изо всех сил. Черная дермантиновая сумка с синей заплаткой и перевязанными медной проволокой ручками тяжестью перекашивала его на одну сторону, и он припадал на правую ногу, будто она у него была короче.

– Что он кричит? – опросил Монгол.

– Вроде «сыр» какой-то, – пожал плечами Мотя-старший. Не понять, пытит как паровоз.

– «Цирк», вроде «цирк», – разобрал Самуил.

– Цирк приехал, – выдохнул, наконец, подбежавший Семен, бросил сумку на траву и завалился рядом. Грудь его вздымалась и опускалась с ритмом бешено работающего насоса.

– Бреешь!

Мы разом сели.

– Ты говори толком, рыло, – строго сказал Пахом. – Где цирк?

– Мать послала за солью, – переведа дыхание, стал рассказывать Семен. – А на пустыре у моста машины, лошади и клетки со львами. А рабочие вбивают в землю колья.

– Бежим, – вскочил Монгол. И мы побежали в сторону Московской.

– А я? Я только сумку отнесу, – взмолился Семен. – Я ж вам про цирк сказал.

Но мы его не слышали. Мы на всех парах неслись к площади.

На месте разрушенного здания у моста и выровненной бульдозером площадке, как раз напротив Покровской церкви, царило оживление. Прохожие останавливались, чтобы посмотреть на оживший пустырь. Пацаны, надежно заняв все свободные позиции, жадно следили за событиями, которые разворачивались на площадке.

Заливисто лаями собаки, скрытые вагончиками, раздавался львиный рык, и недовольно фыркали лошади.

Четверо рабочих натягивали брезент купола. Усатый пожилой дядька, видно старший, покрикивал на рабочих, те что-то сердито отвечали. Работа продвигалась с трудом.

– Ребята! – донеслось до нас. – Ребята! Бесплатно в цирк хотите? Усатый обращался к нам. Мы ринулись к нему.

– Будете помогать. Послезавтра представление.

Помогать хотели все, но усатый отобрал самых старших, в том числе и крутившихся здесь хорики. За младших стал просить Мотя и Монгол.

– Дядь, вы не смотрите, что они маленькие, они, зато, проворные. Носить будут чего-нибудь. Вон досок сколько.

– Это скамейки, – заметил усатый начальник, – и, подумав, решил:

– Ладно, валяйте все. Только, чур, не бить баклуши.

Работали дотемна. Семен с Мотей-младшим и Армен Григорян быстро устали и только путались под ногами, мешая старшим. Монгол отправил их домой. Мотя-младший стал хныкать, но брат показал ему кулак и наказал:

– Скажи там, что мы работаем и что нас за это в цирк пустят.

Еще раньше разбежалась хорикововкая малышня.

Остальные старались изо всех сил – таскали, держали, вбивали, тянули и лезли на глаза усатому дядьке, закрепляя свое право на бесплатный проход в цирк.

И уже валились с ног, когда усатый отпустил нас домой.

– Спасибо, ребята, помогли! Завтра приходите пораньше, а послезавтра всех, кто будет работать, пуцу в цирк бесплатно.

У нас вытянулись лица. Пахом зло сплюнул и тихо ругнулся. Мы не думали, что придется работать еще день, и растерянно смотрели на Монгола. Расстроенный не меньше нас, Монгол пожал плечами.

– Придем, – вяло согласился он за всех, и мы молча поплелись домой, еле волоча ноги и не зная, что нас там ожидает.

Но дома все обошлось. Пацаны предупредили наших родителей, которых, видно, вполне устраивало, что мы занимаемся хоть каким-то делом и вроде как зарабатываем, пусть даже на цирк, а не болтаемся «черте где».

На следующий день на работу в цирк не пошел Каплунский. Я твердо решил последовать его примеру. У меня на ладонях были кровавые мозоли, и все во мне сопротивлялось, когда Витька Мотя насмешливо спросил:

– Ну что, Вовец, ты идешь?

– Иду! – глухо, как стон, выдал я из себя и тут же усомнился, я ли это сказал. Тело мое болело, и не хотелось двигаться, не то что таскать что-то.

– Ну, айда! – приказал Монгол.

И опять таскали, и опять крепили, и опять держали и тянули. Правда, рвения нашего сильно поубавилось. Все делалось как во сне. Ряды хориков тоже поредели. Их пришло двое: Венька и Толик Жирик. И вид у них был не лучше нашего. К полудню чуть разошлись и, вроде, стало полегче. И совсем приободрились, когда дядька с усами подозвал нас к себе и пожал всем по очереди руки:

– Спасибо, ребята, помогли. Завтра в 12 первое представление. Приходите пораньше, спросите Станислава Юрьевича. Я вас проведу.

Ночью я долго не мог уснуть, спал плохо, ворочался, просыпался и смотрел на ходики. А снился мне цирк, снились львы, слоны и клоуны, играла музыка и падали почему-то звезды из-под купола, а купол был небом ...

Вскочил я ни свет ни заря. А на зеленом бугорке за сараями на улице уже сидели Пахом и оба Моти. До двенадцати было далеко, и нам ничего не оставалось делать, только ждать. Часам к десяти собрались все, и ноги сами принесли нас к цирку. Мы слонялись возле вагончиков, приставленных вплотную друг к другу, пытаюсь в щели между ними увидеть, что происходит там, внутри. Вагончики составляли закрытую со всех сторон площадку. Снаружи оставалась только касса и красные дощатые стены цирка с огромным брезентовым куполом, от которого расходились во все стороны стальные тросы. А на площадке за вагончиками шла таинственная жизнь, не умолкал собачий лай, кто-то звал Наташу, стучали молотком, пофыркивали кони, и изредка сотрясал воздух львиный рык.

Стали появляться родители с детьми. Дети постарше шли одни. Казалось, здесь собрались пацаны со всего города. Здесь были курские и монастырские, но это была пацанва мелкая, и они не особенно задирались, потому что здесь за ними не было взрослой шпаны.

Пацаны шныряли вокруг цирка, высматривая лазейки, через которые можно было прошмыгнуть в цирк без билета.

Когда открылась касса, народ заволновался, очередь сжалась плотнее, придвигаясь к кассе. Мы тоже придвинулись ближе к цирку, опасаясь, что нас не найдет Станислав Юрьевич. Раздался женский вопль, посыпалась ругань и началась перебранка.

– Кошелек у кого-то свиснули, – определил Пахом. Но нам было не до чужого кошелька, мы ждали Станислава Юрьевича.

Вдруг на крыше одного из вагончиков появился клоун с белым лицом, красным носом картошкой и огромным красным ртом. Широкие белые штаны и такую же широкую белую куртку украшали крупные красные горошины, такие крупные, что скорее были похожи на яблоки.

Голову клоуна венчал колпак с кисточкой, из-под которого свисали длинные соломенные волосы.

– Здравствуйте, почтенная публика! Клоун сделал два глубоких риверанса. Вокруг смеялись и улюлюкали.

Начинаем представление всем на удивление.

Крысы лезут в самолет – начинается полет,

Медведь на тумбе станцует румбу,

Собачка так и сяк станцует краковяк,

Девушка невидимка расскажет о военных,

Гражданских и судебных делах.

Времени для начала остается очень и очень мало.

Приобретайте билеты. Налево касса, направо вход.

Вот!

Клоун сделал на крыше вагончика сальто и исчез.

Уже стали пропускать по билетам. Уже одного пацана милиционер стащил со стены и вел за ухо подальше от цирка. Тот орал благим матом: «Дяденька, отпустите, я больше не буду». Но за спиной милиционера тут же, став на спину другому пацану, подтягивался на руках, чтобы нырнуть в щель между стеной и презентом, ловкий безбилетник.

Мы стояли возле билетерши, и Монгол канючил:

– Тетенька, пропустите, мы работали здесь, нас Станислав Юрьевич обещал провести бесплатно.

– Ничего не знаю, отойдите, – отвечала строгая билетёрша. – А то милиционера позову.

Мы отчаялись и совсем упали духом, когда раздался первый звонок.

– Тетенька, позовите Станислава Юрьевича, – униженно просил Монгол, а мы подтягивали.

– Пропустите нас, позовите Станислава Юрьевича.

– Вот он, пацаны! – вдруг завопил Пахом, и мы разом повернулись в ту сторону, куда показывал Пахом. Станислав Юрьевич, большой и важный, в сером толстом пиджаке, с красной бабочкой вместо галстука, неторопливо шествовал, нет, не шествовал, а нес тело по опустевшей территории цирка.

Появился он у вагончиков, а мы ждали его у входа в цирк.

Мы бросились к нему, и все разом загалдели:

– Станислав Юрьевич, нас не пускают. Скажите, чтоб пропустили. Вы нам сказали, что пропустят бесплатно, а она не верит. Вы обещали.

– Тихо, тихо! ... Обещал, значит? – Станислав Юрьевич улыбался.

– Ну, сколько вас тут? Кто работал?.. Этих помню. Он показал на Пахома, Монгола, старшего Хорика.

– Да что-то вас тут больно много! А эти пескари что, тоже работали? Что-то я их не видел.

Станислав Юрьевич по-прежнему улыбался. У него было хорошее настроение. Семен, Мотя, Армен, младшие хорики умоляюще смотрели на старших ребят и чуть не плакали.

– Работали! – твердо сказал Монгол. – Они в первый день работали, и вы их не запомнили.

– Они скамейки таскали, – подтвердил Венька-хорик.

– Ладно, таскали, значит таскали! Ларисочка, пропусти эту молодежь. Только прошу, с галерки – ни шагу. Не вздумайте лезть вниз. Увижу, всех выгоню.

Станислав Юрьевич будто стер улыбку, и на лице остались одни строгие усы. Но мы его уже не слушали, мы бросились вверх по деревянному трапу, чуть не сбив с ног «Ларисочку».

Свободных мест не было. Люди сидели плотно, так что, если бы в цирк пришла тетя Клава, ей пришлось бы покупать два билета, такие узкие места отводились на одного человека.

Мы стояли за последним рядом галерки у самого входа. У Монгола голова упиралась в брезент, уходящий конусом вверх, и он стоял, пригнув голову, как бодливый бык перед атакой.

Заиграли марш, и все стихло. Только шуршали бумажки. Наверно, кавалеры угощали дам конфетами...

Перед нами сидела мелкая шпана с Курской. Я стал ловить себя на том, что не могу сосредоточиться. Что-то мне мешало. Музыка вдруг уплывала, и в уши врывался отчетливый женский вопль и слова Пахома: «Кошелек у кого-то свиснули». Это длилось всего какие-то доли секунды, после чего я снова слышал звуки марша, но что-то опять во

мне ломалось, и в ушах снова звучал людской гомон и мужская ругань.

– Клоунов давай! – раздался голос сидящего прямо передо мной пацана. Я чуть не упирался в его стриженную под бокс голову с оттопыренными ушами. Мой мозг с противным звоном стал расползаться сначала до размеров цирка, потом до размеров всей площади, на которой стоял этот цирк. Теперь я видел цирк сверху. Видел вагончики, кассу. А потом меня словно бросило со всего маху на толпу у кассы. Я оказался возле того лопухого пацана, когда он ловко вытянул кошелек из сумочки молодой женщины, тут же передал его пацану постарше и быстро выбрался из очереди сам. Опять мои уши прорезал женский вопль, и все исчезло. Оркестр играл марш, а я смотрел на арену. Но когда я почувствовал, что оркестр начинает снова куда-то уплывать, я стал протискиваться на другой конец, где стоял Пахом, подальше от сидевшего передо мной карманника.

На арену вышел наш знакомый Станислав Юрьевич. Раздались аплодисменты. Оркестр умолк. Станислав Юрьевич поднял руки, призывая к тишине, и обратился к зрителям:

– Здравствуйте, уважаемая публика. Московский цирк приветствует вас сегодня на этой арене.

Преждев аплодисменты, он продолжал:

– Сегодня мы вам покажем дрессированных диких зверей, а также вы увидите гимнастов под куполом цирка, мага и чародея и его говорящую голову, лилипутов и многое другое, не менее интересное. Весь спектакль вас будут смешить клоуны Бип и Боб.

И сразу выскочили два клоуна: один уже знакомый нам белый и другой, рыжий. Голову рыжего украшала огненная шевелюра.

Белый клоун, ни слова не говоря, огрел рыжего тростью по голове, тот упал как подкошенный, потом встал и заревел, а из глаз его фонтаном били слезы. Он мотал головой, и слезы поливали арену как из лейки.

– За что ты меня бьешь, Бип?

– А это, чтобы ты не врал, Боб!

– Да я еще ни слова не сказал.

– Вот потому и не сказал, что я тебя побил, а если бы сказал, то обязательно соврал бы.

И он снова стукнул рыжего увесистой тростью. Зрители хохотали до слез.

Потом на арену выходили акробаты. Они делали сальто, ловко крутили флаши, прыгали с трамплинов, становились в трехэтажные пирамиды.

Ходили на задних лапах беленькие болонки, считала до четырех сообразительная дворняга, которую портил, а может быть, украшал, хвост закорючкой.

Красавцы-кони вороной масти тоже ходили на задних ногах, становились на одно колено и, кивая головой, благодарили публику за аплодисменты.

Фокусник показывал забавные фокусы с узлами на веревочках и металлическими кольцами.

Голова действительно лежала на тарелке и разговаривала, а девушку, которая вышла из публики, распилили пополам, туловище откатили в одну сторону, а ноги – в другую, потом соединили, и она, как ни в чем не бывало, вылезла из ящичка. На свое место она не вернулась, а ушла за кулисы служебного входа.

Лилипуты проделывали все то же, что и обычные артисты: они показывали фокусы, жонглировали маленькими шарами и булавами, крутили, тарелки на палочках, а девочка-лилипутка доставала зубами розу с помоста, прогнувшись через спину, а потом просовывала улыбающуюся голову между ног и так ходила, держась руками за ноги, головой вниз. У лилипутов был даже свой силач, толстый, почти квадратный, человек. Он ходил по арене, широко расставив ноги и руки, поднимал гири, жонглировал штангой с двумя шарами на концах грифа, бросал вверх металлическое ядро и ловил его на шею.

А после небольшого перерыва, во время которого мы не выходили из цирка, опасаясь, что назад нас не пустят, мы увидели львов и тигра. Дрессировщик с пышными черными усами щелкнул кнутом, и они выскочили на арену, огороженную металлической решеткой, которую рабочие быстро собрали за перерыв. Дрессировщик кнутом загнал зверей на тумбы. Кнут щелкал непрерывно, звери рычали и пытались лапами достать кнут, но делали все, что хотел от них дрессировщик: перепрыгивали один через другого,

прыгали через горящее кольцо. Дрессировщик раздвигал львам пасти и садился на их спины. Львы на все отвечали рыком, внутренне противясь, но ни разу не послушались дрессировщика.

Домой мы шли возбужденные и пресыщенные таким для нас редким зрелищем, как цирк.

– Миш, а Миш, – спросил Семен Письман у Монгола. – А как фокусник тетку перелепил, а она целая?

– Как, как! Очень просто! Там две тетки были спрятаны.

– А куда ж они прятались? Там же некуда. Один ящик, в котором она лежала.

Монгол подумал, пожал плечами и честно ответил:

– Почему я знаю?

– А голова? – спросил Каплунский, – Ведь не отрезали же её в самом деле? Куда туловище делось?

– Может это гипноз? – предположил Армен Григорян.

– Ага, гипноз! – засмеялся Монгол. – Туловище есть, а весь зал не видит. Скажи, Вовец.

– Да нет, конечно, – подтвердил я.

Монгол взял кепку Армена за козырек и натянул ему на глаза.

– Я читал в одной книжке, – сказал Самуил. – Там объясняются физические явления. Оказывается, можно так установить зеркала, что они будут преломлять свет особым образом, и всем будет казаться, что это пустое место. Нам кажется, например, что стол с ножками, а на самом деле это ящик.

– Ну, это ты загнул! – не поверил Венька-хорик, который со своими пацанами шел впереди. – Какие зеркала ни ставь, ноги-то закроются. А фокусник ходил вокруг стола, и мы все видели его ноги.

Так и не решив этот вопрос, мы разошлись по домам.

Глава 14

Олька теряет карточки. Симка-дурочка. Городские сумасшедшие. Керосиновая лавка. На речке. Я «колдую»

Мать варила обед. Летом она готовила на примусе. Соседки, Туболиха и тетя Нина, пользовались керосинками.

Мать керосинку не любила – в ней хоть и было пять фитилей, грела она слабо.

Бабушка крутилась возле матери. Она приходила к нам почти каждый день. Дядя Павел с Варей уходили на работу, и бабушка, если дел больших не было, шла к нам.

Мать поставила передо мной миску с картошкой, огурцы и отрезала кусок хлеба. Я стал жадно есть.

– Был в цирке-то? – спросила мать.

– Был.

– Ну и что там, в цирке-то?

– Клоуны, львы, лилипуты, – без воодушевления стал перечислять я.

Я уже перегорел цирком, и мне говорить об этом не хотелось.

– Из тебя слова не вытянешь, – вздохнула мать.

– Да все они такие, прости меня Господи, – поддакнула как-то невпопад бабушка. Она больше обычного суетилась вокруг матери и больше мешала, чем помогала.

– А где Олька? – спросил я.

– Сидит в комнате, ревет! – бабушка понизила голос до шепота.

– А чего ревет?

– А от матери попало.

– От моей?

Бабушка промолчала. Олька часто тоже мою мать называла матерью.

– За что?

– А за дело.

– За какое дело? – Я уже начал злиться, потому что от бабушки никогда ничего толком не добьешься.

– Карточки потеряла! – наконец сказала бабушка.

Я молчал, не зная, что сказать. Карточки – это хлеб. В войну – это жизнь или смерть. Сколько людей лишились жизни, оставшись без карточек. Правда, сейчас не война, но все же. На базаре буханка хлеба – двести рублей, для некоторых половина получки.

– Била? – осторожно полюбопытствовал я, жалея Ольку.

– Знамо, по голове не погладила.

– И как же теперь без карточек?

– Дак карточки-то целы.

– Как целы? А говоришь, потеряла.

– Да, и потеряла.

– Что ты, баб, все «да, дак». Расскажи толком-то, потеряла или не потеряла? – Я все же разозлился.

– Да, да..., – начала опять бабушка, но тут встряла мать.

– Украли у нее карточки, – голос у матери был раздраженный, даже злой. – Украли, а она ничего не сказала. Это Кустиха рассказала. Какой-то хромой дядька выхватил у нее карточки из рук. Она закричала, а тот бежать. Спасибо мужики в очереди пожалели, да бросились за хромым. А тот: «Знать ничего не знаю, не брал». Мужики накостыляли ему и обыскали. Нашли карточки и отдали этой дуре.

– А за что же Ольке попало? Карточки-то целы!

– За то, что рот не разевай. Кто карточки в руках держит? Хорошо, мужики нашлись сознательные, а то – ищи ветра в поле.

Я пошел к Ольке. Она сидела в темной комнате и уже не редела, только шмыгала носом. Я присел рядом.

– Что ты из-за ерунды реवेशь? Подумаешь, попало! Мать уж забыла все.

– Да-а, тебе бы так, – всхлипнула Ольга.

– А ты помнишь, как меня мать веником огрела. Я хотел увернуться, споткнулся и сопатку раскровянил. И не ревел.

Олька улыбнулась сквозь слезы. Видно, вспомнила, как я летел через порог.

– Вот Пахома мать лупит, это лупит. Прошлый раз она его так поленом отходила, что он три дня на улицу высунуться не мог. А наша больше кричит, чем бьет.

– Ага! А помнишь как меня мать туфлей по голове.

– Ну, Оль, за такое, кто хочешь убьет. Ты же ее новые замшевые туфли испортила. Немецкие. Дядя Павел привез. Надо сообразить было, замшевые туфли гуталином почистить!

– Откуда я знала? Она попросила почистить, я и почистила. Мне никто не сказал, как надо.

Эту почти трагическую историю в семье помнили до конца жизни. Подарки дядя Павла – черное бархатное платье, расшитое бисером, и черные замшевые туфли на высоких каблуках – мать берегла как зеницу ока.

В первый раз, когда она примерила платье и надела туфли, дядя Павел сказал, что она у нас как настоящая артистка. А отец, когда она надевала это платье и туфли, самодовольно улыбался и глаз с нее не сводил.

Мать и платье, и туфли надевала редко, просто некуда было, но туфли время от времени выгаскивала, чистила от пыли одежной щеткой, вытирала тряпочкой, в которую она их заворачивала, любовалась и снова прятала в ящик комода.

Как-то в очередной раз она достала туфли, развернула и стала любоваться. Но тут ее позвала тетя Нина. Мать оставила туфли и пошла, наказав Ольке почистить туфли. Ольга, недолго думая, достала гуталин, взяла щетку и стала мазать замшу. Замша никак не мазалась, и Ольга, наивная душа, пошла докладывать матери, что туфли не чистятся. Мать сначала не поняла, потом не могла поверить, а когда увидела изуродованную туфлю с втертым гуталином, с ней случилась истерика. Ольга стояла ни жива, ни мертва. После истерики последовал яростный взрыв. Мать схватила туфлю за каблук и бросилась на Ольгу. Раза два Ольге попало подметкой по голове, а на третий раз Ольга нырнула под кровать. Мать пыталась достать ее, но не могла и только шарилась туфлей под кроватью и, всхлипывая, причитала:

– А ну, вылезай, подлюка! Убью!

Олька вжалась в стенку и затихла. Мать еще побегала по комнате и постепенно остыла, села на кровать и заревела сама. Ольга просидела под кроватью до вечера. Все поставил на свои места отец. Когда он узнал, что мать била Ольку туфлей, сам пришел в ярость, но ярость его была тихой, может быть, этим и страшной. Он выгаскил перепуганную Ольку из-под кровати, прижал ее к себе, погладил по голове, на что Ольга разрыдалась, и сказал, едва сдерживая себя:

– Бить ребенка? Сироту?.. За паршивые туфли! ...

– Запомни, – процедил он сквозь зубы. – Это в последний раз.

Мать не оправдывалась. Она уже отошла от своего праведного гнева и теперь чувствовала раскаяние...

– Ладно, Оль, плюнь! Смотри, какая хорошая погода!

– Вовка! – донеслось с улицы, – Вов, выходи. И я уже собрался шмыгнуть в коридор.

– Куда? – остановила меня мать. Еще не нагулялся? Целыми днями на улице. Сходи-ка за керосином.

Я нехотя вернулся:

– Пусть Олька ходит.

– Олька сейчас полы мыть будет. А потом мы белье на речку полоскать пойдем. Вот деньги на два литра. Сдачу принесешь.

Я с кислой физиономией взял жестяной жбан. Проволочная ручка резала руку, и мы, когда ходили за керосином, обматывали ее газетой, свернутой в несколько слоев.

– На речку не идешь что-ли? – бросил взгляд на керосиновый жбан Каплунский.

– Не видишь, его мамка за керосином послала! – не мог удержаться ехидный Пахом.

– Как будто тебя не посылают! – шикнул на него Монгол и сказал:

– Приходи, Вовец, мы на своем месте будем.

Я побегал в керосиновую лавку, которая находилась в трех кварталах от нашего дома, в крошечном полуподвальном помещении, где кроме керосина продавались мыло, фитили, стекла для керосиновых ламп, примусы, керогазы и керосинки, а также толстые стеариновые свечи, гвозди, различный инструмент, веники, гуталин и даже хомуты, и много другого товара. За керосином сбежать было недолго, но я терпеть не мог стоять в очередях. Конечно, это была не хлебная очередь, но все равно очередь.

В очереди шел обычный разговор о том, что, где сегодня давали, что-где почем, и сплетничали о соседях.

– Симку-то дурочку знаете? – сказала тетка из углового дома с нашей улицы.

Симку знали, и все помнили, как ее хотели определить в школу для умственно отсталых. Привели к учителям, стали задавать разные вопросы, а она как в рот воды набрала. Молчала, молчала, потом как обложит учителей матом, да таким, что они уши позатыкали. Вот и вся ее учеба, которая закончилась, так и не начавшись.

Кто-то засмеялся, кто-то сочувственно покачал головой. И все согласились с набожной старушкой, которая перекрестилась и сказала:

– И смех и грех. Не дай Бог! Прости нас, Господи!

Отец Симки, маленький еврей Исаак, считался хорошим портным и кормил один всю семью. Он каждое утро с точностью часов шел через всю улицу на работу в ателье и также точно возвращался домой вечером. Ходил он важно, насколько ему позволяла его незначительная комплекция. А после работы он опять работал допоздна, выполняя частные заказы на дому. Его жена, дородная и белая лицом Фира, сидела дома. Считалось, что она воспитывает детей. Кроме Симы у них была еще Галя, девушка на выданье, очень симпатичная, смуглая, с черной шапкой густых волос, миниатюрная как отец. Еще одна дочь, Женя, вышла замуж за русского, такого же коротышку, как ее отец Исаак, составив похожую на родителей пару.

Сима пошла в мать. Несмотря на свои неполные тринадцать лет, она уже была вполне сформировавшейся девицей. Симу, дурочку от рождения, не запирали, и она при виде бродила по улице, заходя в квартиры и часто на смерть пугая хозяек.

Стали говорить ее матери, Фире, чтобы следила за дурочкой, и некоторое время Симу держали дома. Но попробуй, удержи живого человека взаперти. И Сима продолжала гулять по улице. Особенно-то никто и не возражал. Хуже стало, когда Сима почувствовала свою плоть. У нее появилась привычка задира́ть подол перед мужчинами. Свои мужики знали ее и стыдили, нехорошо, мол, Сима, так нельзя. Чужие сразу понимали, что девушка не совсем в своем уме, и быстро проходили дальше, а ребятам это было на потеху. Иногда они приходили с другой улицы специально на это представление, и, улучив момент, просили: «Сима, покажи». А потом с хохотом разбегались. Мать Симу секла, но это помогало мало.

В нашем городе, как и в любом другом, были свои сумасшедшие. Одни вели себя тихо и были почти незаметны, другие чудили.

Был такой Витька Лавровский, маленький и толстый мужичонка, он всегда хотел есть, и есть мог сколько угодно. Как-то раз он выскочил под колеса милицейского мотоцикла. Мотоцикл чуть не сбил Витьку и едва не перевернулся.

– Слушай, – обратился Витька к подбежавшему милиционеру, как ни в чем не бывало, – езжай в столовую возле

автоколонны. Там сегодня макаронов наварили во-о, – и провел рукой по грязной, небритой шее. – Меня накормили от пуза и тебе дадут, только побыстрей, а то сожрут все без тебя, – посоветовал он ошалевшему старшине.

Милиционер в сердцах плюнул и дал Витьке по шее, чем того смертельно обидел.

Был еще сумасшедший, Саша. Тот любил переодеваться. Он мог, например, надев где-то раздобытую милицейскую фуражку, завернуть в далекий объезд телегу с простоватым деревенским мужиком.

– Да мне ж вот сюда, тут три шага, – молил мужик. Но Сашка-милиционер оставался непреклонным;

– Сказано, проезд закрыт. Давай заворачивай. И Мужик заворачивал и ехал черте куда.

А когда Сашка надевал тельняшку, то ходил вразвалочку, широко расставляя ноги, будто под ним качает палубу. И тогда он говорил: «Полундра», «братки», «свистать всех наверх». Пацаны дразнили его. На это Сашка поворачивался, делал блатной полуприсед с разводом рук и говорил: «Ша, салаги», и орал: «Полундра, наших бьют».

Был еще один тихий помешанный, на вид совершенно нормальный человек, чисто одетый и неприметный среди людей. Каждый день он приходил на Главпочтамт, брал телеграфные бланки или просто любые клочки бумаги, заполнял их крючками и закорючками, а потом четко выводил адрес: Москва, Кремль. Кто знает, что творилось в его душе! Но, видно, его съедала какая-то обида, и он жаловался высшей власти.

Тихо помешанные жили бок о бок с нами. Они никому не мешали и даже скрашивали трудную послевоенную жизнь. А буйных отправляли в психушку, расположенную возле деревни Кишкинка. Название стало нарицательным: отправить в Кишкинку, значило – отправить в психушку.

Один такой буйный, Слава Григорьев, жил в нашем дворе и с ума сходил на наших глазах.

Григорьев пришел с фронта в 1944 году, списанный вчистую по контузии. Это был высокий широкоплечий двадцатипятилетний красавец, бывший спортсмен. До войны он занимался боксом и даже был чемпионом округа. После контузии у него часто болела голова, и тогда он сидел дома,

в маленькой комнатенке с крохотным коридорчиком. С ним жила его тетка, мрачная, затюканная старуха. Она боялась Славку, никогда ни с кем не разговаривала, тенью проскользывала по двору в магазин и также, умудряясь оставаться незаметной, возвращалась домой в их со Славкой каморку. Славкина тетка даже помои старалась выносить по ночам.

Славка хорошо играл в шахматы, и когда у него не болела голова, выходил во двор со старенькой шахматной доской и играл со всеми, кто мог составить ему партию. Мой отец, тоже любитель шахмат, иногда играл с ним и говорил, что Славка играет, по меньшей мере, по первой категории.

Но любимым Славкиным увлечением была литература. Он писал рассказы о войне и относил их в редакцию. Ему рассказы возвращали, и он беззлобно поносил редактора. Свои рассказы Славка показывал всем. Рассказы были короткими и непонятными. Я помню начало одного: «В болоте, берега которого были обосраны коровами, квакали лягушки...». Но, видно, к своим литературным опытам Славка и сам относился с иронией. Он смеялся, когда читал что-нибудь из своих рассказов. Впрочем, он все время смеялся. А иногда вдруг начинал нести такую чушь, что его собеседники недоуменно пожимали плечами и отходили. Жил он на небольшую пенсию, которую ему платили по инвалидности. Пенсии не хватало, и он пытался работать на заводе. Но больше двух месяцев удержаться на работе не мог, его увольняли. Мужики с нашей улицы, которые работали с ним, говорили, что он ненормальный. Всё чудил. А последний раз пошел к директору завода и сказал, что начальник их цеха – шпион и работает на американскую разведку. Директор сначала внимательно слушал, но потом, когда Славка понес ахинею про какие-то явки в туалете завода и пленки с разведанными, понял, что перед ним душевно больной человек, вызвал милицию, и Славку забрали. Отпустили его, правда, в тот же день.

Второй раз его забрали, когда он попытался запатентовать «Способ подготовки бочек для соления огурцов». Причем, патентовать он пошел в ту же редакцию, куда носил свои рассказы, а когда его оттуда выставили, двинул в

Обком КПСС. Там его и скрутили, но через пару дней, обследовав и поставив на учет, снова выпустили. Во дворе и на улице Славку стали сторониться. Он лез ко всем со своими рассказами, бестолково и бессвязно что-то объяснял, часто хохотал и говорил громко, будто сам ничего не слышал, а, может быть, и не воспринимал реальность происходящего, оставаясь со своим миром наедине. Он уже утверждал настойчиво и серьезно, что послевоенная страна преобразуется при его непосредственном участии, что его план роста благосостояния народа лежит в Кремле у товарища Сталина. Эти его слова пугали людей. Теперь, завидев Славку, знакомые старались нырнуть в первый попавшийся двор и переждать, пока он пройдет.

Вскоре после этого его поместили в Кишкинку, а во двор приходили неприметные штатские люди и интересовались, что еще Григорьев говорил про товарища Сталина.

– К зиме Славка пришел тихий и сильно похудевший. Вяло рассказывал, как выигрывает у главврача психушки в шахматы. Посмеивался, но как-то словно нехотя. Иногда жаловался, что в психушке бьют, заставляют работать и дают насильно лекарство, от которого уходит вся сила. Его перестали бояться и замечать, и он снова растворился в нашей повседневной жизни.

А в начале весны в Славку опять вселились черти. В глазах появился лихорадочный блеск, движения стали резкими, речь отрывистой и быстрой. Опять его понесло, и он начал говорить бессвязную ерунду. Потом он собрал все бумаги, какие нашел в доме, сложил их в коридорчике и поджег. Тетка, пришедшая из магазина, потушила костер. Тогда Славка избил тетку. На этот раз скорая приехала за ним к ночи. Но он раскидал санитаров, здоровых мужиков, и они бегали за ним по огородам и ловили чуть не до утра. На этот раз Славку упрятали надежно, и больше мы его не видели...

Керосин наливали из широкой железной бочки литровыми, полулитровыми и двухсотпятидесятиграммовыми мерками. Эти алюминиевые мерки-черпаки висели на длинных ручках с ушками вокруг бочки. Керосин качали в бочку как пиво ручным насосом из большой черной цистерны, стоящей на металлических подставках у стены.

Уже подходя к своей улице, я увидел Юрика Алексеева с его вечным молотом. Он шел на пустырь, ежедневную свою боль и радость.

– Юрик? Вчера сколько? – вежливо спросил я, готовый разделить его триумф или неудачу.

– Пятьдесят три семьдесят, – ничуть не заносясь, ответил спортсмен.

– Молодец, Юрик! – похвалил я. Алексеев хорошо улыбнулся мне, мое сердце заколотилось радостно, и я на крыльях полетел домой.

Мать с Олькой меня не дождались, и я, поставив жбан с керосином в коридор, помчался на речку.

Женщины стирали и полоскали белье на больших камнях, отполированных бельем и водой, и на небольшом дощатом плотике, одним концом закрепленном на берегу, другим к двум сосновым столбикам, вбитым в неглубокое дно у берега.

– Мам, я с ребятами купаться! – нашел я мать. Олька с девчонками плавали на надутых наволочках рядом.

Чуть выше мылся Шальгин. Намыленная голова белым поплавком покачивалась в воде. Это он плыл к берегу. Вот он вышел из воды по пояс, выставляя на обозрение развитый торс, синий от наколок. Эти наколки мы знали наизусть, потому что летом Шальгин ходил по двору полуголый. По вечерам, выпив водки, он выносил гитару и пел сильным хриплым голосом с блатным надрывом, пел здорово, а мы слушали и разглядывали наколки. На груди красовались профили Ленина и Сталина, на руках кинжал, обвитый змеей, и голая красавица с длинными ресницами; на спине средневековый замок и еще бог весть что: и орел, несущий опять же голую красавицу в когтях, и «не забуду мать родную», и могильный холмик с крестом; у него и на ногах были наколки. Я помню надпись: «они устали». При всем при этом, мужик Шальгин был умный и не злой, любил книги и читал запоем. Но в подпитии становился буйным, и тогда от него старались держаться подальше как от греха.

– Керосин принес? – донеслось до меня.

– Принес.

– Сдачу принес?

Но я уже бежал на наше место под ремеслухой. Ребята наплавались и лежали на песочке, лениво переговариваясь. Разом замолчали, увидев парней, спускающихся к реке,

– Орех с Кумом! – тихо сказал Мишка Монгол.

Парни поздоровались за руку с Шалыгиным, чему-то посмеялись и стали раздеваться. Мы с восторгом смотрели на Кума. Мощные плечи, тонкая талия и мышцы, змеиными клубками перекатывающиеся под белесой и кажущейся прозрачной кожицей торса. Орех был массивнее своего друга, такой же широкоплечий и мощный, но мышцы его обволакивал небольшой слой жира, и они не казались такими рельефными как у Кума.

– Они физкультурники? – спросил Семен Письман.

– Орех играет за город в хоккей, а Кум чемпион по гирям. А вообще они на пятом заводе работают, – объяснил Мишка Монгол.

– Миш, а ты слышал, как Кум монастырских побил? – опросил Мотя-старший.

– Слышал. Только он их не бил. Они там перебздели все.

– Расскажи, Миш, – попросили мы.

– Ладно, – согласился Монгол. Помолчал и, глянув на Мотю, предупредил:

– Только, чур, не перебивать! Я как слышал, так и расскажу... Кум познакомился с девахой в горсаду. А деваха оказалась монастырской. Ну, пошел он ее провожать, а там сидят человек пять шпаны у забора.

– Больше, там человек шесть было.

– Мотя, рассказывай ты, если такой ушлый! – обиделся Монгол.

– Вить, дай Мишка расскажет, – вмешался Мухомеджан.

– Ну, сидят там, не знаю, может и шесть человек, – продолжал рассказ Монгол.

– Точно шесть, – подтвердил Мотя.

– Кум с девахой прошел мимо – ничего, все тихо. А когда пошел назад, один, самый блатной, остановил его. Остальные сидят, смотрят. Этот блатной начинает рыпаться: тебе, мол, что, жить надоело? И все такое прочее. Кум ему так спокойно отвечает: кореш, мол, ты меня не знаешь, и я тебя не знаю, я, мол, тебя не трогаю, и ты иди своей доро-

гой. Блатной Кума за грудки. А Кум, если его разозлить, – зверь. Недаром их любая шпана стороной обходит. Короче, Кум взял его за кадык и вломил ему с такой силой, что тот пролетел метра три.

– Больше, метров пять, – поправил Мотя.

– Вить! – Монгол строго посмотрел на Мотю-старшего.

– Ну вот, блатной пролетел, не знаю, сколько, и прямо на своих корешей, которые сидели у забора. Забор завалился. Шпана понять не может, что случилось, бабки за забором перепугались, орут на своих, а тот, кто с Кумом залупился, лежит без памяти. Потом до кого-то из монастырских дошло, что это Кум, а Кум даже не оглянулся на все это и спокойно себе пошел.

– А потом что? – спросил Пахом. – Монастырские не простят так просто.

– Да ничего! Видишь, вон, плавает.

– А пацан тот жив? – тихо спросил Армен Григорян.

– Жив, Кум ему челюсть сломал, и еще у него сотрясение мозга, – объяснил Монгол и добавил:

– А мог и убить.

– А, говорят, они с Орехом и Мироном ходили к монастырским и пили мировую с их паханом.

Монгол закончил свой рассказ, и пацаны молча стали смотреть, как резвятся в воде Орех с Кумом, и от их мощных тел, как от моторок, волны расходятся кругами и бьются о берег.

– Вовец, дело есть! – сказал Мотя-старший.

– Сейчас, я только окунусь!

Я на ходу скинул майку и феску, сбросил свои видавшие виды сандалии и с размаху врезался в теплую ласковую воду.

– Ну, так значит что? В лес мы пойдем? – сказал Мотя, когда я вылез из речки.

– Тебе мало досталось? – лениво усмехнулся Монгол. – Вон у Пахома еще фингал не сошел, а ты на всю задницу не садишься, все боком норовишь.

– Будто тебе не досталось? – обиделся Мотя.

– Мне не досталось. Раз только мать по кумполу съездила шваброй. Да она до моей морды не дотянется! – довольно засмеялся Монгол.

Монгол был и правда длинный. И нескладный. От своего роста он сутулился и ходил плечами вперед, смешно размахивая руками.

– И чем копать? Теперь лопату не пронесешь, увидят. Да и не найдем мы сами ничего, – поставил точку Монгол. – Всю землянку, что ли, перекапывать? А, может быть, там вообще никаких документов нет.

– А с запиской что? – Каплунского, конечно, больше всего волновала записка – ведь это он ее нашел.

– Я думаю, что записку с патроном надо отнести в краеведческий музей или сообщить в военкомат, – предложил Самуил. – А, может быть, музей сам свяжется с военкоматом. Если их это заинтересует, мы покажем место.

– Молоток, Самуил, – похвалил Монгол.

– Кому нужна одна записка? – я уже успел обсохнуть и лежал со всеми на песке, лениво щурясь на солнце. – Лучше будет, если мы принесем вместе с запиской документы.

– Ты знаешь, где искать? – живо повернулся ко мне Монгол.

– Я знаю, что найду! – уклончиво ответил я. По крайней мере, я знал, что они реально существуют...

В лес мы шли втроем: Мишка Монгол, Мотя-старший и я. На этот раз до леса мы дошли быстро. Мы не отвлекались, не глазели по сторонам и не дурачились. Помня урок нашего первого похода, мы решили вернуться назад до обеда. Дома мы сказали, что идем на речку, а ребята предупредили: если что, после речки мы пошли на пустырь играть с хориками в футбол.

Землянку мы нашли без труда, и только здесь сели отдохнуть и в один присест съели хлеб, который прихватили из дома, посыпав его солью и потерев корочку чесноком,

– Ну, давай, Вовец, колдуй, – сказал Мотя.

Мне не нравилось, когда пацаны говорили «колдуй», но я не обижался, потому что говорилось это без всякого умысла.

Я уверен был, что у меня получится. Сон дал необходимый толчок, хотя я всегда чувствовал, когда смогу «видеть». Я прошел по траншее и остановился у полуобвалившейся землянки. Теперь я уже не управлял собой. Я подчинялся какой-то другой силе, и мои действия похожи были

на действия лунатика. Я спустился в землянку, пролезая под обвалившимися бревнами, и присел на дощатый лежак, сдвинув рукой еще не сгнившее тряпье. В ушах появился легкий звон, и землянка колыхнулась. Воздух завибрировал, как в жаркий день над асфальтом, и заколебались неясные тени... И все разом исчезло.

Я взял гильзу от противотанкового патрона, подержал ее, бросил и снова сел. И вдруг звон в ушах до боли сдавил мои перепонки, заставляя согнуться. Звон так же внезапно пропал, как и появился, и я увидел окоп, двух солдат: один припал к пулемету, другой стрелял из винтовки. Голова того, который стрелял из винтовки, была кое-как перевязана белой тряпичей, очевидно оторванной от рубахи полосой, потому что стоял он у бруствера полуголый, а разорванная нижняя рубаха и гимнастерка валялись рядом. Повязка пропиталась кровью и смешалась с пылью, образуя засохшую грязную корку. Вот раненый оставил ружье, поднял гимнастерку, достал маленькую записную книжку, вырвал листок, сложил его пополам и стал писать что-то огрызком карандаша, часто поднося его ко рту. Потом свернул клочок бумаги в несколько раз, засунул в пустую гильзу и заткнул пулей, выбитой из целого патрона.

Вся картина виделась мне как замедленное кино. Что-то я видел четко, что-то еле различимо, но картина не исчезала, и я знал, что только моя воля теперь может остановить её.

Раненый что-то беззвучно сказал товарищу, и тот вынул из кармана белую картонку, свернутую пополам, наверно, документ, и отдал раненому. Потом снова взялся за пулемет. Раненый достал из своей гимнастерки точно такую же книжицу, завернул в остатки нижней рубахи, спустился в землянку, огляделся и стал копать саперной лопаткой землю у стенки возле лежака; положил сверток в образовавшуюся ямку, засыпал землей, разровнял и притоптал ногами.

Снова в ушах появился звон, невыносимый, доводящий до иступления. Я зажал уши и через секунду с облегчением почувствовал, что сижу в полной тишине в землянке. Я замерз, и по рукам бегали мурашки гусиной кожи.

– Пацаны! – крикну я из землянки. – Спускайтесь сюда кто-нибудь. Спустился Монгол. Я показал ему, где копать, и мы вместе стали разгребать гильзами и руками землю. Сердце мое радостно забилося, когда появилась грязная от земли обветшалая тряпица, и мы вытащили сверток.

– Есть! – заорал Монгол. – Молоток, Вовец... Огольцы, нашли! Наверху мы развернули тряпку и бережно взяли в руки две тоненькие, из двух плотных листов книжечки.

К обеду мы были дома.

Глава 15

Голубятница Раечка. Катины заботы. Мария Семеновна. Драка с плачевным результатом. Монгол. Немой Бэк. Музей.

Солнце еще только тронуло крыши домов и верхушки деревьев, и еще зыбкая прохлада исходила от земли, и трава поблескивала утренней росой, а мы уже сидели на голощاپовском крыльце, будто никуда не уходили с вечера.

Раечка, семидесятилетняя шустрая старуха с утра гоняла голубей. Голуби невысоко вспархивали над голубятней и снова пытались сесть на конек крыши, но Раечка резким пронзительным свистом и шестом, к концу которого была привязана тряпка, поднимала их в воздух, не давая сесть, и краснопегие, чиграши, почтари, турманы, бабочные, наконец, взвились стаей и ушли в сторону, набирая высоту.

Раечка держала голубей всю жизнь, и ее знали все приличные голубятники города. Ее шикарная голубятня, обитая железом, стояла на четырех высоченных металлических столбах и была видна всей улице.

Задрав головы, мы долго любовались белой стаей порхающих в небе голубей. Они будто купались в утреннем солнце. Частые взмахи крыльев делали их похожими на больших бабочек. Вот от стаи отделился один голубь. Он стал кувыркаться через голову, падая вниз. Это турман, или кубырной. Докувыркавшись почти до земли, он вдруг, как бы опомнившись, взмыл вверх и быстро присоединился к стае. В небе появились еще две стаи. Это другие голубятни-

ки запустили своих голубей. Небо, пронизанное солнечным светом, казалось бездонным и прозрачным. У меня от долгого созерцания красоты голубиноного полета заслезилась глаза и свело шею. Я опустился на землю.

Звякнули ведра. Это шла собирать пищевые отходы для своих свиней Катя, мать моего одноклассника Сашки Митрофанова. Полы мужского офицерского кителя развевались и мешали ей. Обтрепанный шерстяной платок, большие резиновые сапоги, хлюпающие на ногах, делали ее фигуру несуразной и жалкой, но Катя на себя не обращала внимания, ее поглощала одна забота – накормить своих свиней.

Кате хозяйки сочувствовали. Муж ее, Федор, хоть и был хороший мастеровой, но пил, а сын Сашка болел эпилепсией. Сашку мать жалела, хотя особо с ним не церемонилась, и он волчком вертелся у нее по хозяйству. Когда у него участились припадки, врачи советовали прервать учебу, и он год не учился, а потом его определили к нам в шестой класс. Мать надеялась, что он осилит семилетку и получит, как Бог даст, законченное образование.

Припадки начались у него лет с пяти, после того, как его покусала собака, их сторожевая дворняга Лайка. Лайка только оценилась и никого не подпускала к щенкам. Сашка полез гладить их, и Лайка, никогда до этого не трогавшая своих, словно взбесившись, вдруг ощерилась и с яростью вцепилась в него зубами.

Лайку Федор пристрелил из охотничьего ружья, а щенков утопил, и больше они собак не заводили.

Катя скрылась в нашем дворе.

– Катя к Кустихе пошла, – отметил Пахом. – Сейчас собачий концерт начнется.

Собаки словно поджидали Катю и яростно набросились на нее, исходясь в злобном лае, пытаясь подобраться к пяткам или ухватить за подол кителя, но никогда не кусали: то ли боялись ведра, то ли просто снимали на Кате свое собачье напряжение, а, может быть, это была своеобразная разминка, тренировка высших собачьих качеств: голоса и отваги. Это продолжалось изо дня в день. И хотя одни собаки куда-то время от времени пропадали, другие занимали их место, и объект передавался, словно эстафета.

Покрикивая на собак басом, считая, что так лучше их отпугнет, хотя это собак только больше раздражало, Катя рысью пробежала через двор и юркнула в Кустихину квартиру. Лай смолк.

Мимо нас прошел маленький Исаак.

Неожиданно на конце улицы появилась Нинка. Она устало брела в сторону дома. Ее растрепанные волосы шевелил легкий ветерок. Она шла босиком, а туфли несла в руках.

– С работы, Нин? – не удержался Пахом.

– Ага, с ночной! – беззаботно засмеялась Нинка. – А вам чего не спится?

Нинка, не останавливаясь, проплыла мимо нас. Мы проводили её восхищенными взглядами.

Снова захлебнулись в лае собаки, и на улицу, согнувшись под тяжестью ведра, выскочила Катя. Ее окликнула Мария Семеновна, сидевшая напротив нас на крыльце своего дома. Мария Семеновна была старой девой и жила с братом, тоже бобылем, Николаем Семеновичем. Совсем недавно умерла их девятилетная мать, выжившая из ума старуха, и они, наверно, с облегчением вздохнули, потому что мать регулярно поджигала дом, а в остальное время сидела на крыльце и разговаривала сама с собой вслух, уделяя основное внимание детям, которых зло ругала матерными словами.

– Кать, поди-ка!

Катя, мельча шаг, как беременная сучка Шпулька, послушно засемила к Марии Семеновне.

– Развели псарню, – стала ворчливо сочувствовать Мария Семеновна Кате. – Людям прохода не дают. Боишься из квартиры выйти. А дети все с этими собаками возятся... Не кусаются! – передразнила кого-то Мария Семеновна. – А укусит? Что тогда?.. Ну-ка, за хвост потяни, как Колька вчера. Это надо сообразить, чтоб Пирата за хвост ухватить! Его же, черта страшного, все собаки боятся... Если б моя воля, я бы всех собак на мыло извела.

Катя согласно кивала головой, нетерпеливо ожидая, что еще хорошего скажет ей Мария Семеновна.

– У Сашки-то давно припадки были? – спросила вдруг Мария Семеновна про Катиного сына.

– Пока бог милует, – Катя поплевала в сторону левого плеча.

– Ты смотри! – Мария Семеновна понизила голос до шепота, который отчетливо долетал до нас. Как все глуховатые люди, она говорила громко. – Он возле Симки-дурочки ходит. Кабы чего не вышло. Симке-то даром, что тринадцать лет, а чувства уже все бабьи имеет. К мужикам ее тянет. И вытворять стала что зря. То подол задерет перед ребятами, а то вчера ремесленника за срамное место схватила. Тот с перепуту на всю улицу орал. Думали, повредила что. Мать Симку секла и дома заперла. Да ведь вечно запрети держать не будешь.

– Ой, господи! – перепугалась Катя. – Избави бог. Уж я ему, паразиту окаянному, выдам по первое число. Вот наказание-то!

Не на шутку встревоженная, Катя заспешила домой.

– Во дает Сашок! – засмеялся Пахом.

– Да брешет старуха, – не поверил Витька Мотя. – Она, как ее мать, тоже с придурью.

Мы посмеялись, соглашаясь с Витькой.

– А я скоро работать пойду! – вдруг сообщил Монгол.

– А школа? – не подумав, ляпнул Григорян.

– Ты, Армен, с луны что-ли свалился? – Мотя отвесил Армену шелобан.

– Какая школа? Мне туда дорога заказана. Буду в вечерней учиться.

Глаза Монгола стали грустными.

Монгола исключили из школы за драку. Дрался он с Юркой Бараном, а попало завучу. А дело было так.

В седьмом классе шел обычный урок истории. Феодальный строй, междоусобица, «Вассал моего вассала – не мой вассал». И тому подобная ерунда. И каждый, как полагается, занимался своим делом. Кто играл в морской бой, кто рисовал войну, кто сосал жмых – любимое лакомство всех пацанов. Мишка Монгол старательно выводил хлоркой двойку в дневнике, благо сидел за предпоследней партой. За Монголом сидел Юрка Голубев по прозвищу Баран. И вот Юрка Баран стал школьной ручкой с пером № 86 водить за ухом Мишки Монгола. Монгол отмахнулся раз, другой. Потом, не поворачивая головы, раздраженно, как и положено занятому человеку, которому не дают работать, прошипел: «А кто-то щас получит по бараньей морде».

После этого обиженный «баран» уже откровенно полез на рожон. Он уколол Монгола пером. Рассвирепевший Монгол схватил свою ручку, обернулся, с грохотом откидывая крышку парты, и всадил перо в скулу Барана. И началось «ледовое побоище». Два пятнадцатилетних переростка с яростью бросились друг на друга. Крепко сбитый широкоплечий Баран и тощий, но длиннорукий и жилистый Монгол, не уступая друг другу, сцепились в равном поединке. У Барана кровь сочилась из раны на скуле, а у Монгола текла из разбитого носа. Историчка истошно орала на всю школу. Ученики, разделившись на два лагеря поддержки, тоже повскакали с мест и галдели, подбадривая бойцов. Насмерть перепуганная историчка, открыла двери и кричала: «Кто-нибудь, помогите!»

Прибежал завуч Петр Николаевич, такой же худой и длинный как Монгол, и с грозным криком «Прекратите! Сейчас же прекратите!» стал оттаскивать того, кто был ближе. Ближе, на свою беду, оказался Монгол. Это его и погубило. Он в запале драки, еще не понимая, что происходит, с размаху съездил завучу в ухо. Тот опешил, но быстро пришел в себя и попытался подмять Монгола. И тогда Монгол, не принимая насилия над собой, стал отбиваться от завуча и, уже лежа, лягнул его в подбородок, вырвался и убежал. Класс притих, Баран вжался спиной в стену и стоял, безвольно опустив руки и хлопая своими пустыми серыми глазами. На его щеке запеклась темной коркой кровь. Историчка прилипла к доске и всхлипывала, сжимая на груди кулачки. Завуч, тяжело дыша, со словами: «Исключить мерзавца» быстро вышел из класса. В дверях бросил: «Зоя Сергеевна, продолжайте урок».

Барана в школе оставили до первого предупреждения. Монгола исключили. Припомнили и двойки, и второй год в шестом классе. А особенно учителей вывел из себя дневник, в котором бедный Монгол аккуратно хлоркой вывел двойку. Этот дневник, как вещественное доказательство монголова разгильдяйства, передавался на педсовете из рук в руки, и учителя возмущенно восклицали: «Ну как же так можно!» ...

– А куда работать-то, Миш? – в голосе Пахома было и уважение, и сочувствие.

– Учеником автослесаря. В автоколонну.

– Это на Революции?

– На Революции, – подтвердил Монгол. – Рядом, и ездить ни на чем не надо. Буду получать сначала ученические. Говорят, двести рублей. А слесари по пятьсот получают.

Монгол с таким воодушевлением говорил о своей будущей работе, что мы невольно позавидовали ему.

– А знаете, кто там начальник? – Монгол выдержал паузу. – Немец. Клейн его фамилия.

– Как это немец может быть начальником? – не поверил Каплунский.

– Так он Герой Советского Союза.

– Герой Советского Союза? – у нас вытянулись лица.

– Как может быть немец Героем Советского Союза? – обиделся Пахом.

– А вот и может. Он наш разведчик. Он ходил среди фашистов в их офицерской форме и добывал нужные сведения.

Мы молча переваривали эту странную историю.

Улица ожила. В нашем дворе уже стучали топорами плотники: парикмахер Арон достраивал свой ларек, чтобы потом увезти его на базарную площадь.

Из дома вышла старшая прокурорская дочка, красавица Ленка. И сразу же появился на парадном крыльце Витька Голощапов в военном кителе без погон и в синем галифе. Хромовые сапоги его отражали солнце. На гимнастерке выделялись желто-красные нашивки о ранениях и орденские планки. В руках он держал офицерскую планшетку. Витька догнал Ленку, что-то сказал ей, но она даже не повернула головы, и они пошли рядом.

Прошел немой Бэк, рослый молодой мужик. Грудь его распирала сила, а ноги, пораженные детским параличом, он словно тащил за собой, но делал это мощно, и они вспахивали землю.

– Привет, Бэк, – закивали мы дружно головами, поднимая руки в приветствии. Бэк тоже закивал нам, открыто улыбаясь. Большой ребёнок. Одно время его донимали хорики. Они дразнили его, жестом показывая на язык, а потом на задницу. Бэк свирепел. Он хватал попавшиеся под ноги камни и с яростью разъяренного животного метал в обидчиков. Те мол-

ниеносно исчезали за заборами, и камни с невероятной силой летели в дерево ворот, выбивая щепки. Все кончилось после того, как сожительница Бэка, тихая невзрачная женщина, поговорила с участковым дядей Володей. Участковый прошелся по нескольким домам, и Бэка оставили в покое.

– Ну что, пошли что-ли? – Монгол потянулся, разминая занемевшие от однообразной позы конечности. Мы дружно, словно стая воробьев, сорвались и полетели в сторону Московской.

Краеведческий музей находился в Рядах. Мы много раз пробегали мимо вывески с названием «Краеведческий музей» на черном стекле, но в музее ни разу не были. Деньги, если они у нас появлялись, мы предпочитали тратить на кино, которое не променяли бы ни на что на свете. А вот на второй этаж, где поселился краеведческий музей, мы шли в первый раз.

Препираясь и толкаясь, мы стояли у дверей и никак не могли решиться войти. Дверь открылась сама. Пожилая женщина, увидев целую ораву мальчишек, спросила:

– Мальчики, вы к кому?

Мы сразу умолкли.

– Нам к директору, – нерешительно выговорил Самуил.

– А зачем вам директор? – женщина приветливо улыбнулась.

– Говори ты, Мишка! – толкнул Монгола Самуил.

– Вот, мы нашли в окопе! – Монгол разжал кулак, где лежал патрон. – Здесь записка. А еще документы.

– Подождите минуточку! – женщина скрылась за дверью. Мы опять загалдели.

– Нужна им эта записка! – сказал Мотя-старший. – У них тыща таких записок, если не больше!

– Да подожди ты квакать, – остановил Мотю Монгол. – У нас не одна записка. У нас еще документы.

– Испыток – не убыток! – поддержал Каплунский. – Что нас, съедят что-ли?

Дверь снова открылась. Вышла знакомая нам женщина и мужчина в очках.

– Вот, Валерий Петрович! Это ребята, которые к вам.

Валерий Петрович оглядел нас всех по очереди и весело сказал неожиданным басом:

– Ну, ребята, пошли ко мне в кабинет.

В кабинете Валерия Петровича поместились с трудом. Стульев не хватило, и хозяин сходил и принес еще два стула. Мы, ощущая неловкость, тихо сидели, разглядывая чучела птиц, чьи-то кости и черепки, занимавшие все свободные углы кабинета. На книжных шкафах лежал сноп то ли ржи, то ли пшеницы, на подоконнике стояли глиняные вазы и миски с отбитыми краями.

– Ну, давайте, что там у вас? – Валерий Петрович надел маленькие круглые очки, которые не вязались с его крупной головой, заправил мягкие дужки за уши, и стал похож на сову. Он долго разглядывал записку и документы, потом снял очки, достал из кармана брюк мятый платок и стал тереть стекла очков.

Мы молча смотрели на его, ставшее задумчивым, лицо.

– Да-а, – наконец сказал, будто разговаривая сам с собой, Валерий Петрович. – Много наших полегло в этих краях. – И тут же, словно стряхивая с себя тяжесть воспоминаний, спросил:

– Где нашли?

Мы подробно рассказали, как ходили в лес.

– Больше не ходите! – сказал Валерий Петрович строго, это прозвучало как приказ. Но тут же другим, почти умоляющим голосом, попросил:

– Ребята, я прошу вас, не ходите больше в лес. Пока минеры не доведут свое дело до конца. Сами знаете, сколько всего осталось после фашистов! У минеров руки не доходят. Еще в городе полно снарядов и мин. На вулкане живем! Договорились?.. Ну, вот и ладно. Записку мы обязательно поместим в музей. Солдатские книжки передадим в военкомат, пусть сообщат родным... Сколько еще будет этих последних приветов с того света!

Валерий Петрович замолчал. Потом спросил:

– А вы в музее нашем уже бывали?

– Я до войны был, – сказал Мишка Монгол. – Один раз.

Остальные промолчали.

– Ну, понятно. Сейчас я вас проведу. Большое вам спасибо за записку и особенно за документы. Теперь это уже не без вести пропавшие.

Валерий Петрович переписал наши фамилии, встал и каждому из нас пожал руку. Потом повел через коридор ко входу в музей. Он передал нас женщине, сидевший у входа в зал, где помещались экспонаты, и попросил пропустить нас. Женщина кивнула, посмотрела на нас с неудовольствием.

– Если что-то будет непонятно, спрашивайте у работников музея, они дежурят в залах, – сказал Валерий Петрович и ушел.

– Руками ничего не трогать, близко к экспонатам не подходить, – строго предупредила женщина и еще раз с недовольным видом оглядела нас.

Но мы уже не могли отвести глаз от огромного чучела бурого медведя. Медведь стоял на задних лапах, держась передними за толстую березовую палку, больше похожую на ствол дерева. Красная пасть медведя застыла в яростном реве. Казалось, медведь вот-вот оживет и пойдет на нас. У меня даже мурашки пошли по телу. Мы невольно стали говорить шепотом.

– Этот экземпляр попал в музей задолго до революции из имения графа Комаровского, – вдруг заговорила женщина, так холодно встретившая нас вначале. – Кто его убил, неизвестно. Только стоял он здесь во время революции и при немцах, и, как видите, цел... Это, вроде как, наш музейный талисман.

Женщина рассказывала с удовольствием, даже голос ее подобрел.

Видно, любила этого медведя и музей, если так быстро оттаяла. Она гордилась чучелом так, словно сама его убила, набила соломой и поставила рядом с собой у входа. И теперь не он охраняет вход, а она сторожит его.

Мы вежливым шепотом поблагодарили служительницу, и пошли дальше. Мы осматривали кости и собранные скелеты доисторических животных, найденных еще до войны при раскопках. С картин на нас глядели наши предки, больше похожие на обезьян, но палки в руках и шкуры животных вместо одежды позволяли думать, что они разумные.

Нас привлек, и мы долго не отходили от него, макет древнего поселения с очагом и нехитрой утварью. Будто отзвук мертвого прошлого донесся до нас. Скорее даже нет. Прошлое не казалось мертвым. Эти древние исторические предметы излучали что-то неуловимое, что принимало наше сознание, потому что мы не были чужими этому прошлому, мы были его частицей, его живым продолжением.

Динозавры разгуливали по равнинам, и их головы возвышались над мощными кронами деревьев. Птеродактили парили в воздухе, выскивая добычу, и саблезубые тигры угрожающе раскрывали страшные пасти, а их свирепый рык слышался далеко окрест. А наши предки в звериных шкурах испытывали ужас перед окружающим их миром, как могли, противостояли этому миру, и их единственной целью было выжить, чтобы на Земле восторжествовал Разум.

Постепенно мы возвращались в наш, уже более знакомый нам мир. Мы уже основали город-крепость по указу царя Ивана Грозного и стали южным заслоном на пути татаро-монгол, потом мы помогали Петру I Великому строить флот, воевать с турками и шведами. Мы делали революцию, печатали листовки на ротаторе и стреляли из маузера по врагу.

Все это было интересно, но казалось далеким. А вот война с фашистами шла вчера и даже идет еще сегодня, если считать, сколько погибло и продолжает гибнуть от мин и неразорвавшихся снарядов, как братья Галкины или Толик Беляев.

Мы ходили от экспоната к экспонату и долго смотрели через стекло на полуобгоревший комсомольский билет, личные вещи командиров, именное оружие.

Фантазия наша была беспредельна, и мы примеряли на себя шинель генерала Гуртьева, пользовались его планшеткой и компасом. Мы сидели в землянке при тусклом светильнике из гильзы артиллерийского снаряда и читали письма-треугольнички из далекого тыла.

Одна небольшая комната посвящалась партизанскому движению нашего края. Здесь можно было увидеть аусвайсы, выдаваемые жителям города немецкой властью, белые нарукавные повязки полицаев с черными надписями «Polizei», партизанские листовки, написанные от руки, и даже пеньковую веревку с петлей, такую, на которых вешали сопротивлявшихся немецкой власти или за отказ работать на

нее. Мы все это хорошо знали. Я по рассказам взрослых, а Михеевы, Монголис, Венька Хорьков и еще многие ребята, остававшиеся в оккупации, видели зверства фашистов собственными глазами.

Дальше шли полупустые залы, которые мы проскочили галопом. Нас совершенно не интересовала скудная послевоенная продукция первого мирного года. Только у чучела довоенной свиньи Машки мы остановились на минутку и подивились её огромным размерам...

По дороге домой мы оживленно обсуждали увиденное, не толкались, не кричали и были рассудительны. Наверно, за часы, проведенные в музее, мы стали чуть-чуть взрослее и, может быть, умнее.

Глава 16

Обыск у дяди Павла. Тень генерала. Дядя Павел на свободе.

Дома я застал мать и бабушку Марусю в слезах. Бабушка Маруся теперь бывала у нас редко. А когда приходила, жаловалась матери на невестку Варвару, жалела сына, потому что видела: Павла Варвара не любит.

На этот раз бабушка пришла с бедой. Арестовали дядю Павла. К ним на квартиру пришли двое, предъявили удостоверение, пригласили понятых и произвели обыск. Впрочем, это даже нельзя было назвать обыском. У Мокрецовых все было на виду: фанерный стол, старенький Варварин шифоньер, комод с небольшим зеркалом, купленным на барахолке уже при совместной жизни, да кровать. Пришедшие с обыском заглянули под кровать, подняли на всякий случай матрац, затем открыли шифоньер и вытащили из него новые яловые сапоги, спаренные суровой ниткой за края голенищ. Варвара была на работе, а бабушка, тряслась от страха и не понимала, что происходит.

– Чьи сапоги? – строго спросил высокий, со стрижкой под бокс и от того, что затылок и виски были выстрижены, казавшийся более лопухим, чем был на самом деле.

– Должно, Павла, – едва выговорила бабушка непослушными губами.

– А вы, стало быть, его мамаша будете? – уточнил другой, пониже ростом, с крупной, начинающей лысеть головой. – Сапоги принес сын?

– Сын, – подтвердила бабушка, моргая подслеповатыми, подернутыми мутью глазами.

Больше они ничего искать не стали, даже не осмотрели чемоданы, которые лежали на шифоньере, составили акт, заставили расписаться под актом понятых и ушли, взяв с собой сапоги. После их ухода, насмерть перепуганная бабушка опустилась на стул и сидела так, ничего не соображая и не зная, куда бежать и что делать.

Когда Варвара пришла с работы, бабушка бросилась к ней с расспросами, но словно споткнулась о гипсовое лицо и какой-то потусторонний, отсутствующий взгляд.

Невестка невидящими глазами окинула кухню и стала медленно снимать пыльник; потом пошла в комнату и, как была в туфлях, бросилась вдруг на кровать. Плечи ее затряслись, послышались глухие рыдания.

– За что же такое наказание? – выговаривала Варвара. – Мало я с ним мучилась? А теперь этот позор на мою голову. Ведь под суд же теперь пойдет ...

Мать принесла кружку воды и стояла над Варварой, уговаривала:

– Варь, да что это ты, дочк? На-ко, выпей вот... Что ж теперь убиваться?

А у самой ноги подкашивались, и тряслись руки. Она по Варвариным словам догадывалась, что случилось, хотя не могла вполне осознать серьезность положения.

– Что натворил Пашка-то, что с обыском приходили, – отважилась, наконец, спросить бабушка.

– Украл, – вот что натворил Пашка твой, – почему-то злорадствуя, проговорила Варвара. – Сапоги украл.

– Да как же это? – охнула бабушка.

– Да так же, – змеей зашипела Варвара. – Дружки появились, выпивки.

– Да сапоги-то он принес на обмен. Сказал, что кому-то менять срок подошел, – возразила бабушка.

– Подошел, да не подошел, – теперь в словах Варвары были зло и горечь. – Сапоги у него выпросил на обмен этот мордатый дружок его, Месяц, чтоб ему облезнуть, скотине.

Пашка взял сапоги домой, а Месяц должен был отдать ему старые...

Она замолчала и вдруг заговорила о другом, озаренная:

– Маслов донес, больше некому. Он дежурил, когда Пашка проносил сапоги. Он давно на него зуб имел. Наш-то дурак нес и не скрывал. Думал оформить потом, сам ведь хозяин.

– Так может и обойдется? – с робкой надеждой спросила бабушка.

– Да как же ты не понимаешь? Сапоги – то дома наши. Кому теперь нужно знать, что он думал, чего не думал?

– Так этот, дружок его, скажет.

– Как же? Скажет и покажет. Держи карман шире! – скривила губы в презрительной усмешке Варвара.

Все это в подробностях, которые вытягивала из нее клещами моя расстроенная мать, рассказывала бабушка, а мать еще и еще пыталась ее, заставляя повторять, как шел обыск, что говорили, да какими словами ругала Павла Варвара...

Павла до суда не выпустили. Следствие велось долго. За хищение социалистической собственности судили строго, и дяде Павлу грозило не менее пяти лет с лишением всех наград, что разом перечеркнуло бы все его боевые заслуги, будто их и не было.

Но совершенно неожиданно суд вынес очень мягкий приговор. Дяде Павлу дали два года условно за халатность. Месяц, на следствии отрицавший любую свою причастность к этому делу, мол, первый раз о сапогах слышит, и Мокрецову должно быть стыдно выкручиваться и наводить тень на честных советских граждан, на суде изменил свои показания. Он рассказал все, как было. Его бледное лицо покрылось испариной, и он все время поглядывал в сторону, где сидел офицер МГБ.

Когда вынесли приговор, дядя Павел заплакал.

Варвара встретила дядю Павла не то, чтобы холодно, но и без особой радости. Вроде того что «пришел, ну и пришел». Зато бабушка светилась вся, как икона от лампадки.

У нас дядю Павла встретили просто, по-доброму. Устроили стол. За бутылкой отец спросил:

— Ну, как, тяжело пришлось?

— Да, честно говоря, уже и не думал, что свидимся. Не знаю, какому богу молиться, кого благодарить? — ответил Павел. За время, проведенное под следствием, он сильно изменился, осунулся, еще похудел и стал совсем похож на подростка.

— Генерала благодари, а лучше Вовку... за то, что он его дочку вылечил, — тихо сказал отец.

— Неужто сам помог? — не поверил дядя Павел.

— А кто еще мог бы помочь в твоём положении?.. Сколько времени прошло, а добро помнит. Другой бы с его властью и думать забыл.

У отца счастьем светились глаза, как будто он сам сделал доброе дело.

— Ну что, ж спасибо ему. И тебе, племяш, спасибо?

Дядя Павел встал и картинно, чуть не в пояс, поклонился. Я смутился, а отец засмеялся:

— Да брось ты, Павел. Все хорошо, что хорошо кончается. Давай-ка выпьем за то, что ты цел, и все плохое позади.

На работу дядю Павла взяли на машиностроительный завод чернорабочим. Работа была тяжелая и грязная, но денежная. Первое время он приходил домой и с ног валился. Прежде чем поесть, ложился и лежал без сил, уставившись в побелку потолка бессмысленным взглядом. Потом втянулся и ничего...

Значительно позже, уже повзрослев, я осмысленно понял, как невыносимо трудно было дяде Павлу определиться и найти свое место в запутанном мире гражданских хитросплетений после четырех лет жестокой войны, укравшей его юность.

Глава 17

Квартирант Мухомеджана. Открытая эстрада. Во дворе у татар. «Теория соответствия» Амира. Ода огородам. Морские офицеры Витька Голощапов и Ванька Горлин. Нинка учит нас танцевать.

У Алика Мухомеджана поселился квартирант, их дальний родственник Амир, невысокий, но крепко сбитый, широкоскулый и черноглазый парень. Амир часто улыбался, и его белозубая улыбка располагала к нему. С нами Амир охотно водился, но все его разговоры сводились к девушкам. Амир мечтал до армии жениться, чтобы он служил, а она его ждала и писала письма. В армию ему предстояло идти осенью, а невесты он еще не нашел, поэтому по вечерам ходил в горсад на танцы. Амир всегда носил с собой расческу и небольшое прямоугольное зеркальце, часто смотрелся в него и поправлял расческой непослушные волосы. На ночь он надевал на голову мелкую сеточку на резинке, чтобы лучше лежали зачесанные назад волосы.

Мы иногда тоже бегали в горсад и смотрели через щели в дощатом заборе, огораживающем танцплощадку, на танцующих. Но больше нам нравились приезжие из Москвы артисты, которые давали концерты в летнем «Зеленом театре». Нам нравились сатирические куплеты:

Римский папа грязной лапой
Лезет не в свои дела.
Ах, зачем такого папу
Только мама родила?

Мы хохотали, рискуя свалиться с забора, с которого смотрели на выступления артистов.

Когда нас сгоняли с заборов, мы лезли на деревья, которых полно росло вокруг эстрады.

– Тарапунька, знаешь какая самая широкая река в мире?

– Конечно, Штепсель, знаю. Это Амазонка.

– А вот и нет. Орлик.

– Почему?

– Да потому, что третий год здесь мост через Орлик строят, а конца не видно.

Мы смеялись, потому что мост, и правда, никак не могли построить, и люди, чтобы попасть на Ленинскую улицу, ходили по шаткому деревянному мостику, рискуя свалиться в реку.

Мы сидели во дворе у татар, в котором, кроме них, в полуподвале жили еще Изя Каплунский с матерью и младшей сестрой Лизой и Мишка Чекарев, тоже с матерью и совершенно взрослой сестрой.

Чекарев заканчивал школу и собирался поступать в летное училище, поэтому занимался физкультурой. Он крутил «солнце» на самодельном турнике и поднимал штангу, выкатывая её из-за ограды палисадника, где она хранилась. А еще Чекарев ходил в музыкальную школу и таскал за собой обитый черным дермантином футляр с баяном, похожий на ящик, но с двумя замками, как у чемодана. Мы старались подражать Чекареву, лезли на турник, болтались как сосиски, и все, что могли, это поупражняться в подтягивании.

Мы сидели на траве, наслаждаясь теплым солнечным днем. Чекарев что-то разучивал на баяне по нотам. Ноты стояли перед ним на стуле, упираясь в спинку, а сам он сидел на табуретке и брал аккорды, время от времени наклоняясь ближе к нотам или переворачивая листы. Мы терпеливо ждали, когда он заиграет что-нибудь уже выученное.

– Пара должна соответствовать, – рассуждал Амир. – Он должен быть выше девушки на полголовы. Она должна доставать ему до уха. И одеты они должны быть хорошо. Он обязательно в костюме, и чтоб белая рубашка, а воротничок выпущен на пиджак. Вообще, хорошо, когда мужчина темный, а женщина светленькая. Мне нравятся светленькие.

Мне все это было совершенно безразличного, но я заметил, что Монгол, Мотя-старший, Самуил и Алик Мухомеджан слушают Амира с интересом.

– А то, иногда смотришь, она с ним одного роста или даже выше. Такая пара не смотрится.

– Как Исаакова Женька с Женькой, – подтвердил Пахом.

– Это какая? – поинтересовался Амир.

– Да сестра Симки-дурочки, Женька. Она с мужем живет теперь в доме Никольского, комнату снимают.

– Так у нее и отец Исаак меньше матери, – напомнил Монгол.

– И что хорошего? – пожал плечами Амир.

– Так Исаак любит свою Фиру, – возразил Самуил. – И что же здесь плохого?

– Ну, не знаю, – немного смешался Амир. – Конечно, ничего плохого. Но все же лучше, когда пара соответствует.

И Амир улыбнулся своей открытой улыбкой,

Чекарев продолжал разбирать ноты, и баян отвечал стройными, сильными аккордами, и уже складывалась какая-то мелодия.

– Вот вчера шла девушка с морским офицером. Она светленькая и ростом как раз чуть повыше его плеча. Вот это подходящая пара. Все соответствует, – оживился вдруг Амир.

– Да это Нинка Козлиха с Ванькой Горлиным. Ванька в отпуск приехал. Он в прошлом году училище закончил, – засмеялся Пахом.

– Нинка всем подходящая пара, – подтвердил Самуил. – Позавчера она с Колькой Голощаповым под ручку шла.

– Так Колька с Ванькой вместе в отпуск приехали. Они же кореша. Вместе в училище учились, а теперь вместе служат, – сказал Мотя-младший.

– Без тебя знаем, – оборвал его Монгол.

Колька Голощапов, младший брат Витьки, который ухаживал за прокурорской Ленкой, жил в нашем доме, а Иван Горлин – на соседней улице, в частном доме. Они еще до училища дружили и все время ходили вместе. Вместе и в летное поступили. Считалось, что Колька в летчики пошел из-за романтики, а Иван из чисто материальных соображений. Тогда тетя Нина в разговоре с моей матерью заметила:

– Правильно надумал. Два года – и красивая обеспеченная жизнь. А то, смотреть жалко...

У Ивана был еще малолетний брат, и мать еле тянула их на свою уборщицкую зарплату. Отец пропал без вести еще в начале войны. И, если бы не огород, – не выжили бы.

Мой отец говорил, что эти одеяльные клочки земли полстраны спасли от голодной смерти. Как-то, когда у нас дома собралось застолье, отец заговорил со своим еще довоенным приятелем Константином Петровичем или КП, как все звали его у нас в доме, про огороды. Началось с то-

го, что гости стали хвалить материну засолку. У нас действительно всегда были очень вкусные помидоры и огурцы, и капуста. Мать, как всегда, зарделась, а отец сказал:

– Спасибо огороду. И клочок-то небольшой, а кормит.

– У меня есть статистика, – сказал КП. – Ты знаешь, например, Егор, что официально в 1942 году огородничеством занималось пять миллионов человек. Правда, тогда пол европейской части России уже находилось под немцем, и на эту часть сведения статистики не распространялись. Зато в 1945 году официальная цифра составила 18,5 миллионов человек.

– Не человек, а семей, – возразил отец. – Считались-то наделы. А наделом владела семья. Так что эту цифру нужно увеличивать минимум в четыре раза. Только, Костя, не верь ты статистике. Статистика суха. Никто в войну не спрашивал власти, где сажать картошку. Где был пустырь, там огород и разбивали. Сначала под картошку, а там, глядишь, сил хватило еще прикопать под капустку, да под редисочку, и лучку посадить можно. Знали: с землей жив человек, не помрет, выживет. Власти это тоже понимали и не препятствовали. Это сейчас, после войны, мало-помалу учет повели и постепенно с этих клочков, если он не при частном доме, стали сгонять...

Вот так, наверно, и тетя Капа с огородом вытянула Ивана с Мишкой. А когда Иван ушел в училище на казенный кошт, вздохнула с облегчением: с одним уже стало проще. Но вот Иван начал служить и вдруг прислал ей пятьсот рублей. Тетя Нина рассказывал, что тетя Капа редела над этими, свалившимися на нее деньгами, навзрыд, а когда успокоилась, пошла в магазин, купила полкило вареной колбасы и килограмм «жамок». Мишка, сроду колбасы не выдавший, проглотил кусок, который мать отрезала, нежевавши, а пряник долго облизывал, сдирая зубами глазурную корочку, и ел маленькими кусочками, которые не жевал, а сосал, смакуя и растягивая удовольствие.

Про Ивана моя мать говорила, что он уходил в училище тощим подростком: «Господи, шейка была как у цыпленка, щеки впалые, в чем только душа держалась. А теперь настоящий здоровяк: лицо округлилось, и шея как у быка». «Армия откормила», – согласно кивала тетя Нина и с удовольствием отмечала, что и Ванька, и Колька у девок – на-

расхват. «Конечно, – говорила тетя Нина, – золотые якоря, на фуражке золотая птичка, на погонах по две золотые звездочки и кортик сбоку, как у морских офицеров. Город-то сухопутный! Тут поневоле сойдешь с ума...».

– Так они, вроде, с Нинкой Козлихой ходят, – заметила мать.

– Да в том-то и дело, Шур... А как она их сразу двух перехватила – загадка с тремя неизвестными.

Этот факт приводил ее в недоумение и даже расстройство.

– Вот ведь, стерва, каких ребят взбаламутила, – возмущалась тетя Нина.

– Не говори, Нин. Столько девок хороших вокруг, а они вокруг этой сучки увиваются, – соглашалась моя мать.

– Да им, видно, сейчас хороших и не надо, – усмехнулась тетя Нина и, понизив почему-то голос, стала рассказывать матери, что слышала через стенку:

– Таня Голощапова ругала Кольку. Ты, говорит, что ж мать-то срамишь? С кем ты ходишь? С Нинкой, с проституткой. Вся улица знает. А он ей: «Да что ты переживаешь, мам? Я что, жениться что-ли на ней собираюсь!» А она: «Да хоть и не жениться. Что, других девок нет? Стыд-то какой!» А когда Ванька приходил, она и Ваньке выговаривала. Ванька смеялся: «Все, говорит, тетя Тань, мы с ней больше ходить не будем».

– А и правда, – сказала мать, – вроде вчера Колька с Иваном вдвоем шли. Нинки не было.

– Ага, а Нинка через полчаса за ними вслед из дома вышла, – засмеялась тетя Нина. – Но это, Шур, еще что? Витька познакомил Кольку с Ленкой, за которой ухаживает, а Ленке, видно, Колька приглянулся, потому что мать как-то выговаривала ему: «Ты, говорит, смотри Ленку не вздумай от Витьки отбивать. Любит он её. А он ей: «Пустое это. Она его не любит». «Это она сама тебе сказала?» – спросила Таня. «Зачем, – говорит Колька. – Это и так видно». «Ладно, – вздохнула Таня. – Видно-то видно, да он не видит. Любовь-то, она слепая. Я прошу тебя, не крути ты ей голову». «Ладно, мам, я все понимаю».

– Неужто правда? – моя мать покачала головой, а в голосе ее было сомнение и удивление.

– Да чтоб у меня язык отсох, – побожилась тетя Нина, – Когда они громко говорят, у меня в спальне за шторой, все слышно. Перегородки-то, сама знаешь...

Баян взорвался быстрым фокстротом Цфассмана. Чекарев закончил занятия и как всегда после этого начинал свой маленький концерт. Мы оставили разговоры и придвинулись поближе к баяну. Из дома вышла горбатенькая сестра Мухомеджана, Зина, и села на крылечко. Из полуподвала вылезла Лизка, сестра Изи Каплунского. Во двор потянулись соседи. Зашла на веселье Женька, а с ней обе Исааковские дочки: средняя Галя и Сима-дурочка. Исаак жил в соседнем дворе, а Женька ходила беременная и все время торчала у матери. Пришли и стали в сторонке Зойка Пирожкова с подругой. Скоро во двор набилось народу как на свадьбу. Женщины танцевали, а мы дурачились и смеялись беспричинно, глядя на Зойку Пирожкову и Лизку, которые танцевали друг с другом. Нам почему-то было неловко, и мы так прятали свое смущение.

Оживившийся Амир приглашал по очереди молодых женщин, и мы видели, как он вежливо кланялся и просил: «Разрешите вас!» А потом отводил партнершу на место и говорил: «Спасибо за танец». Амир спросил у Монгола:

– А чего вы не танцуете? Не умеете что-ли? Это же просто. Танцевать нужно уметь обязательно. Без этого ни с какой девушкой не познакомишься.

– А где научиться-то? – смеясь, спросил Витька-Мотя.

– Ну, я могу показать. А еще лучше, если девушка. Девушки все умеют танцевать.

– Нинка может научить, – сказал Монгол, краснея.

Нинка, к нашему удивлению, сразу согласилась. Утром мы сидели на прокурорском крыльце и ждали, когда выйдет Ванька Коза.

– Вань, позови Нинку, – попросил Монгол. Нинка вышла, и Монгол позвал:

– Нин, поди сюда.

– Еще чего! – фыркнула Нинка. – Тебе надо, ты и иди.

Монгол подошел и, смущаясь, спросил:

– Нин, ты на танцы ходишь?

– Ну! – не понимая, к чему Мишка клонит, подтвердила Нинка.

– А танцевать умеешь?

Глупее Монгол придумать не мог. Спросить у барышни, которая ходит на танцы, умеет ли она танцевать!

– Ты что, хочешь меня на танцы пригласить? – засмеялась Нинка.

– Не, Нин, – испугался Монгол. И разом выпалил: – Научи нас танцевать,

– Что, приспичило? Влюбился что-ли? – развеселилась Нинка.

– Еще чего! – разозлился Монгол. – Не хочешь, так и скажи!

– Ладно, ладно, – сказала Нинка примирительно. – Научу. Где будем учиться-то?

– У Каплунских. У них мать на работе. Они все время одни.

Софья Борисовна Каплунская, строгая красавица с гордой осанкой и мягкой походкой балерины, работала бухгалтером в богом забытой конторе «Вторчермета». Но она держалась за эту работу, потому что помнила, каких унижений стоило ей получить это место. Её нигде не брали на работу. Двери закрывались перед ней, как только начальник отдела кадров узнавал, что ее муж осужден по политической статье.

Им бы тоже не выжить, если бы не огород и соседи. Соседи то какую-нибудь одежду для детей принесут, то что-нибудь из еды. И гордая Софья Борисовна не могла отказаться от помощи. Когда к ней в первый раз пришла тетя Клава, Пахомова мать, со шматом сала, и Софья Борисовна, покраснев как рак, стала отказываться: «Зачем? Не надо. У нас все есть!», тетя Клава поставила руки в боки и глянула на Софью Борисовну так, что та сразу отвела глаза в сторону: «Ты свою гордость оставь! У тебя двое. Сама, как хочешь, а дети не виноваты. Их вырастить надо. Ну-ка бери!» «А если б я оказалась в твоём положении, неужто не помогла бы? – уже тише сказала тетя Клава, заглядывая в её глаза». И Софья Борисовна сало взяла и больше от помощи отказываться не смела. Эта помощь шла от сердца.

Софья Борисовна отдавала из своих четырехсот рублей бухгалтерской зарплаты сто рублей некоему Дмитрию Моисеевичу, с которым ее свел портной Исаак, за устройство на

работу. И Софья Борисовна была этому рада. Во-первых, она имела твердый заработок, во-вторых, ей шел пенсионный стаж. Поэтому она старалась. Приходила в контору раньше всех, уходила позже всех, да еще прихватывала работу на дом.

Изя с Лизой целыми днями оставались одни. Еда чаще всего состояла из картошки. Хлеб, – когда был, когда нет. На день мать оставляла детям большую сковородку жареной на подсолнечном масле картошки, а когда кончалось масло, то кастрюлю вареной, и Изя, как старший, делил эту картошку на два раза, чтобы хватило до вечера, а потом они с нетерпением ждали, когда придет мать, и они после ужина сядут все вокруг грубо сколоченного из тесаных досок стола и достанут отложенную вчера на самом интересном месте книгу Жюль Верна. Днем они только смотрели эту замечательную книгу, перелистывали ее, давно выучили подписи под картинками и играли в придуманную ими самими игру: один закрывает надпись под картинкой, другой говорит на память слова. Если ошибался, менялись местами. Например: «Путешественники подъехали к станции Род Гумм», или «Люди и животные исчезли в огромной волне», «Элен и Мэри не спускали глаз с лодки», «Отрубленные головы торчали на частокале».

Им очень хотелось узнать, что будет дальше, но читать без матери они не смели. Это было табу, нарушить которое значило бы разрушить гармонию их единства, поколебать любовь и доверие друг к другу, которые их связывали без отца. А они инстинктивно боялись этого, потому что без любви и доверия останется пустота.

И еще они очень надеялись дожидаться отца. Но я знал, что отца их нет в живых. Однажды Изя показал мне небольшую выцветшую фотокарточку отца, и меня током пронзила мысль, что этот человек мертв. Эта уверенность пришла с ощущением неуловимой перемены в изображении человека на фотокарточке. Мой мозг отметил, что на фотокарточке живое «нечто» как бы померкло, то есть его не было. Я вернул фото и Изе ничего не сказал...

Нинка пришла, как и обещала, к десяти утра. Часов мы не имели, но как только мать Каплунских ушла на работу, нырнули по кирпичным ступенькам вниз, в полуподвал. Большую часть жилища занимала печка с плитой, но, не смотря на то, что ее топили даже летом, в комнате ощуща-

лась сырость. Мотя-старший принес из дома патефон и несколько пластинок. Мы сразу завели патефон, а Монгол пошел на улицу ждать Нинку.

– Что-то вас больно много, – оглядела нас Нинка.

– Мы, Нин, мешать не будем, – заверил Армен. – Мы просто посмотрим и пластинки послушаем.

– Да мне-то что? Мне вы не мешаете, – согласилась Нинка. Она выбрала пластинку, вставила в патефон и покрутила ручку завода.

«Мне сегодня так больно, слезы взор мой туманят. Эти слезы невольно я роняю в тиши», – зазвучал рыдающий голос Изабеллы Юрьевой.

– Давай, Мишка, возьми мою правую руку, отведи ее в сторону левой рукой, а правой обними меня за талию. И пошли. На меня.

– Два шага, поворачивайся. Ногу приставляй. Теперь на тебя. Танго танцевать легко. Ходи в такт музыке. Раз-два, раз-два. Ну вот, получается.

«Мой нежный друг, часто слезы роняю, и с тоской я вспоминаю дни прошедшей любви».

Мишка неуклюже ходил за Нинкой. Лицо его покраснело, но было сосредоточено, ноги деревянно двигались, повторяя Нинкины движения. И на Нинкины ноги Мишка ни разу не наступил.

– Молодец, – похвалила его Нинка. – У тебя есть чувство ритма. Только зад не отключивай. Ну-ка, прижми меня этой рукой, которая на талии. Да не бойся ты. Вот так. Девушкам это нравится.

Мишка стеснялся такой близости и отворачивал лицо то в одну, то в другую сторону. Нинка понимала это и нарочно прижимала его еще плотней.

– Ну ладно, хватит, – решила, наконец, Нинка. – Вить, давай ты, – позвала она Мотю-старшего. – А ты, Мишка, смотри и повторяй за нами. Потом Нинка учила Самуила, потом Алика Мухомеджана. Фокстрот оказался не труднее танго. Только немного другой ритм, побыстрее.

«Сердце мое, не стучи, глупое сердце, молчи. Я шутить над собой не позволю, я изменника прочь оттолкну и при встрече кивну головою, равнодушно и гордо кивну».

Теперь пацаны уже сами могли танцевать друг с другом, и все топтались под музыку, а Нинка только поправляла.

– Да-а, не балет. Но если немного потренируетесь, то из вас получатся женихи хоть куда.

Нинка была явно довольна своей работой. Оказалось, что Изя Каплунский давно умеет танцевать. Их учила Софья Борисовна, их мать, и они очень ловко танцевали с сестрой и танго, и фокстрот.

– Вовка! – неожиданно позвала меня Нинка, – иди-ка ко мне. Тебе тоже нужно учиться танцевать. Подрастешь, будешь девкам головы кружить. Вон глаза какие синие, как озера.

Она обняла меня крепко за талию, прижала к себе, лишив возможности дышать, и повела меня так, что я стал двигаться как одно целое с ней, она почти несла меня. Или это я сам летел? Я задохнулся. Мое сердце билось, словно птица в силках. Я не мог понять, что со мной. Какое-то новое ощущение вошло в меня. Мне было приятно чувствовать Нинкино тело через ее легкое ситцевое платье. От волос ее пахло травой, а вся она источала что-то волнующее. Я как под гипнозом ходил за Нинкой, повторяя все ее движения. Я легко передвигался вместе с ней, я танцевал, и мне казалось, что я давно умею это делать. И я влюблен был в Нинку... Наверно, от меня исходил такой мощный поток флюидов, что Нинка остановилась, серьезно посмотрела на меня, мягко отстранила, потом толкнула легонько в плечо и смущенно сказала:

– Хватит с тебя. Теперь сам научишься. – И добавила с легким вздохом, а улыбка плавала на лице: – Ох, Вовка! Будут по тебе девки сохнуть.

Потом она поймала Монгола и позвала:

– Пойдем, научу целоваться!

Монгол опешил, но безропотно пошел за Нинкой за печку, а я почувствовал вдруг смертельную тоску, и это, наверно, была ревность.

Глава 18

Монгол приводит девушку. Предательство.

Дом Мишки Монгола с улицы закрывал латанный-перелатанный глухой забор без ворот, но с калиткой. Щели забора забивались ржавыми полосками железа, кусками фанеры – всем, что попадалось под руку.

Калитка выглядела не лучше, петли ее не держали, она нижним концом лежала на земле, и чтобы открыть калитку, ее нужно было приподнять.

Латал забор сам Монгол, Он деловито стучал молотком по железу, и металлический грохот слышали все окрестные улицы до самой Московской. Мать Монгола, Анна Павловна, с гордым умилением смотрела на сына, радуясь, что растет хозяин в доме и, отмечая, что он все больше становится похожим на отца.

Мишкин отец Арвис Монголис работал начальником производства на пятом заводе. Его арестовали еще до войны по делу инженеров. Тогда прокатилась волна арестов по городу. Анна Павловна от горя чуть с ума не сошла, год исправно обивала пороги соответствующих учреждений, в конце концов, узнала, что он осужден на десять лет без права переписки за вредительство, ничего не поняла, но с тех пор в ее поведении появились некоторые странности. Вроде и нормальная, только вроде как немного не в себе.

Со стороны пустыря, там, где до войны стояли ремонтные мастерские и где мальчишки на бетонированной площадке играли в царю, а девчонки в классики, небольшой дворик и огород Монгола, тот самый, который за два миллиона копал Ванька Коза, огораживал редкий дощатый заборчик.

Подходя к Калитке Мишкиного дома, мы услышали женский смех и голос самого Монгола. Мы опешили и не стали стучаться в калитку, а пошли к забору со стороны пустыря.

То, что мы увидели сквозь забор, смутило нас и повергло в уныние. Монгол привел домой чужую женщину. Огненно-рыжее тощее создание сидело на приступках крылечка и лузгало семечки, доставая их из небольшого газетного кулечка, а Мишка выжимал двадцатикилограммовую гирию. Эту гирию все мальчишки поднимали только до колен, а выжимали ее, вернее толкали только Монгол и Мухомеджан. Гирия была странной прямоугольной формы с утопленной ручкой. Мишка корячился с гирей, лицо его побагровело, и он чуть не складывался пополам, выталкивая гирию в третий или четвертый раз. Рыжая заливалась звонким смехом. Непонятно, чему она смеялась, но чистый ее смех

был приятен и рассыпался серебром. Тем не менее, рыжую мы возненавидели сразу и бесповоротно. Она уводила нашего друга. Это как чужая голубка, которая садилась на Римочкину голубятню, а потом уводила какого-нибудь ее сизокрылого. Разве можно представить, чтобы Римочка равнодушно взирала на это.

– Миш, не упернись! Кила вылезет! – первым не выдержал Пахом. Все захохотали, и в этом смехе была месть, неприязнь к рыжей и презрение.

Рыжая перестала грызть свои семечки и вопросительно посмотрела на Мишку. Монгол бросил гирию и повернулся в нашу сторону. Мы замолчали и осуждающе смотрели на Монгола, ожидая, что он бросится на нас и, может быть, даже со зла проломит забор, но он лишь криво усмехнулся, покрутил указательным пальцем у виска, взял под руку свою рыжую и увел в дом.

Мы молча потоптались еще на площадке и пошли искать Витьку Мотю. Витька выслушал наш взволнованный рассказ равнодушно.

– Ну и что? – оказал Мотя. – С вами что ль в пристеночки интереснее играть? Может, у него любовь!

И заметив на наших лицах растерянность, успокоил:

– Малы еще, раз не понимаете. Подрастете, поймете.

Чего мы поймём, Мотя не сказал.

– Может, и ты приведешь? – ехидно спросил Пахом.

– Не твое, Пахом, дело! Может, и приведу, – оборвал его Мотя и больше не стал с нами разговаривать.

Глава 19

Опять скандал. Разбойное нападение на дядю Павла. Больница. Счастливая встреча. Новая жизнь дяди Павла.

Бабушка Маня вдруг снова зачастила к нам. Она плакала, закрывалась с матерью в зале, и они там долго о чем-то шептались, но чаще всего бабушка не таилась и рассказывала о неладной жизни сына с невесткой. И я опять представлял или «видел» то, что происходило у Павла в доме.

Варвара после Павлова суда словно взбесилась. Разговаривала криком, все ее раздражало, она могла без причины закатить истерику, часто плакала. Сначала Павел молча сносил все это, чувствовал свою вину. Потом запил. Пьяного Варвара на кровать не пускала, и он спал, где попало, на стульях, на сундуке. Иногда его приводили, и тогда он валялся на полу, после чего ходил недели две, как в воду опущенный, в рот не брал ничего спиртного, и когда Варвара, исходя криком, чистила его на чем свет стоит, виновато молчал и только хлопал глазами. А после снова напивался. Пил он вдумчиво, пьяный похож был на помешанного: звал кого-то, кому-то отдавал честь, скрипел зубами и, обхватив голову руками, плакал. Иногда пел что-нибудь фронтовое, по-рыбьи ртом хватая воздух и задыхаясь. А в глазах его была смертельная тоска.

Однажды, в день полочки, он не пришел домой. Варвара ждала его, прислушиваясь к шорохам, просыпалась несколько раз ночью и вся кипела злом, готова была разорвать его на части.

– Ой, убили? – вдруг тихонько заскулила бабушка, – Чует мое сердце, убили.

– Как же, убьют его, – ненавидяще прошипела Варвара. – Нажрался, да завалился у кого-нибудь. Или в вытрезвитель загремел. А в глубине души шевельнулась, жившая там мысль: «Господи, убили – отмучилась бы».

А утром на работу ей позвонили из больницы. Ночью Павел поступил без сознания с проломленным черепом. Нашли его на улице. Утром, придя в сознание, он попросил сообщить о нем жене и дал телефон.

Варвара в больницу не пошла. Бабушку пустили на несколько минут, и она потом, вытирая концом платка тихие слезы, рассказала Варваре в надежде разжалобить ее:

– Плохой. Говорит – еле языком ворочает.

– А он им всегда еле ворочает. Деньги, небось, выгнали? – криво усмехнулась Варвара.

– Его остановили двое ребят и по голове железкой ударили... Видать, знали, что с деньгами идет, подкараулили.

– Вот и пусть святым духом питается. Я его кормить не собираюсь. На хрен он мне сдался?.. Хватит с меня. Я еще свою жизнь хочу устроить. Связалась, дура. Да хоть бы мужик был, а то глядеть не на что.

В тот же день Варвара подала на развод.

К дяде Павлу ходила бабушка. О Варваре он не спрашивал, и бабушка не упоминала про нее тоже, а когда проговорила, что Варвара подала на развод, дядя Павел прореагировал спокойно, только губы скривились в горькой усмешке.

– Как же так получилось-то? – спросил отец дядю Павла, когда мы пришли к нему в больницу.

– Выпимши был. С получки с ребятами выпили. Только, Тимофеич, не подумай, выпили-то всего ничего. Так вот, только перешел через маленький мостик, хотел идти через скверик, там ближе. Подошли двое ребят: «Тихо, – говорят. – Пикнешь – перо в бок. Давай деньги». Я сделал вид, что полез в карман, а сам момент выждал и одному ногой в пах, а от второго не увернулся. Откуда у него железка в руках оказалась? Сразу не рассмотрел. Только почувствовал удар по голове и упал. Очнулся, никого нет, весь кровью залит, и подняться не могу. Не знаю, как на дорогу выполз. Там меня, видно, и нашли.

– Совсем обнаглела шпана! Куда только милиция смотрит? – возмутилась мать...

И вдруг неожиданно у Павла все определилось и сладилось, будто судьба, сжалившись над ним, дала ему передышку... И бабушка, и Павел не раз пересказывали эту историю: бабушка, не скрывая удовольствия, Павел с застенчивой улыбкой, выдающей смущение. Моя мать радовалась за брата, отец ободрял его, а мне снились (а, может быть, я видел наяву) картинки Павловой жизни, которые потом осколками собирались в единое целое...

В больницу к Павлу пришел Семен, с которым они вместе работали в цехе. Семен, бывший фронтовик, был лет на десять старше Павла. Мужик баламутный и заводной, но добрый и открытый. В руках Семен держал дермантиновую сумку.

– Здоров, кирюха! – добродушно пробасил Семен. – Жив? А, говорят, на тот свет собрался. Передумал что ль?

Семен засмеялся своей шутке. Павлу было приятно, что его навестил кто-то с работы.

– Привет от ребят. Вот передачу прислали.

Семен выгащил из сумки хорошие папиросы «Беломорканал», бутылку «Ситро», яблоки, конфеты. Потом он достал

миску с котлетами, банку с огурцами и тарелку с оладьями. Павел с недоумением смотрел на оладьи и котлеты.

– А это Тонька прислала, – перехватил его взгляд Семен. – Помнишь, были у нее в Новых Выселках, выпивали. Моя двоюродная. Она про тебя все знает.

Павел смутился. Он помнил Тоню, и она ему тогда понравилась. Тихая, с виду неприметная женщина, с добрым чистым лицом и влажными всепрощающими глазами. Семен как-то в выходной затащил его к сестре. Это было совсем недалеко, минут тридцать автобусом; небольшая деревенька, колхоз «Рассвет». Они взяли с собой бутылку водки, и Тоня суетилась, собирала стол, как на свадьбу, и прислуживала им, а потом сходила в сельмаг и принесла еще бутылку. Была доброжелательна, внимательно слушала Павла и от души смеялась, когда тот рассказывал что-либо смешное. Павлу было приятно и необычно от такого внимания к нему, и ему не хотелось уходить. Семен чувствовал себя здесь как дома, водил Павла по саду, показывал небольшое Тонино хозяйство, кроликов, огород. Потом они долго сидели на скамейке под яблоней и пели. Тоня прибирала в доме, время от времени выходила на крыльцо и хорошо улыбалась.

– Ну, как тебе моя сестричка? – спросил тогда со смехом Семен.

– Женщина мировая, с такой можно и в разведку, – искренне ответил Павел.

Теперь Павел не знал, что и сказать. Эта передача была приятна и неожиданна.

– Зачем это она? – с чувством неловкости проговорил Павел.

– А ты ей сам скажи, – засмеялся Семен. – Она внизу сидит. Позвать?

– Да ты что? – всполошился Павел. – У меня видок-то.

– А что? Боевой видок, – отметил Семен и, несмотря на протесты Павла, поднялся:

– Ладно, выздоравливай. Ещё, может, как-нибудь заскочу. Он ушел, и через несколько минут вошла Тоня. Смущаясь, она протянула ему руку-лодочку и, церемонно поздоровавшись, сказала:

– Вы, Паша, только не подумайте чего-нибудь такого... Я ведь от всего сердца. Если вам неприятно, скажите.

– Что вы, Тоня, удивился Павел, даже привстал. – Мне очень даже приятно.

И замолчал, не зная, что еще сказать, поглядывая на Тоню как-то украдкой.

Одета она была просто. Немного старомодный черный бостоновый жакет с юбкой, туфли на низком каблуке, на голове цветастый крепдешиновый платочек. Все, однако, сидело на ней ладно и аккуратно.

Понемногу разговорились, и Тоня просидела у него до самого обеда. Несколько раз порывалась уйти, но Павел просил посидеть еще немного, и она оставалась.

Павлу неловко было просить, чтобы она как-нибудь зашла к нему еще, но она сама сказала:

– Я еще приду.

И стала ходить к нему ежедневно. Павлу с Тоней было легко и просто, и в его разлаженных мыслях появилась вдруг определенность, а вместе с определенностью стала появляться уверенность.

Как-то, когда Павел мог уже самостоятельно ходить, не ощущая тошноты и головокружения, которые почти месяц не позволяли ему даже сидеть, а не то, чтобы двигаться, они с Тоней сидели в больничном дворе.

Погода стояла ясная, солнечная, но уже чувствовалось приближение осени. То паутинка задержится на лице, то взгляд наткнется на желтеющий кленовый лист. Да и вся зелень стала какой-то тяжелой. Природа налилась и томилась, словно девка на выданье. Густые и сочные темно-зеленые кроны деревьев покачивались на ветру, и не было в них уже весеннего легкомыслия, когда они распускались почти прозрачными зелененькими листочками.

Тоня рассказывала про свою деревенскую жизнь, про мужа, погибшего на втором году войны.

– Я с ним и пожить-то как следует не успела. Даже ребенка не прижила, – задумчиво сказала Тоня и добавила, чуть помолчав:

– Очень ты похож на него. Я тебя как с Семеном увидела, аж сердце упало, до чего похож. И характером ты доб-

рый. Жалок ты мне, Паша, – призналась она. У нее на глаза навернулись слезы.

Тоня вытерла глаза концом косынки, завязанной узелком на подбородке.

– Да что ты, Тонь! – смущенно пробормотал Павел, обнимая ее за плечи. Она уткнулась в него, счастливая.

– Паш, у тебя с женой-то серьезно? Может, наладилось бы еще? – спросила на всякий случай Тоня.

– Ну, уж нет, – нахмурился Павел. – Хватит.

Через неделю Павла выписали. Он зашел домой, когда Варвара была на работе, чтобы собрать вещи.

Тоня его ждала с самого полдня. Она несколько раз выходила к автобусу, пока, наконец, ни увидела Павла, проводила его в дом, и он, поставив чемодан в горнице, хозяйски прошел в сенцы, взял ведра и сходил к колодцу за водой. Потом, раздевшись по пояс и попросив Тоню слить ему, фыркал под ручейком ледяной воды и с удовольствием растирал тело докрасна чистым льняным полотенцем, пахнущим речкой. Тоня, скрестив руки на груди, глядела на его тощее тело и думала, жалея Павла, что его надо получше кормить...

На следующий день к ним переехала бабушка Маруся.

Глава 20

Мучительные приступы. Я лечу отца. Вечером у колонки. Аська Фишман. Катин муж Федор. Разговор матери с тетей Ниной. Прокурорская Лена уезжает.

У отца случился очередной приступ. Эти приступы теперь случались реже, чем в первый год его возвращения. Я легко справлялся с ними, если это случалось при мне. Но иногда я гонял где-нибудь с ребятами мяч или загорал и купался на речке. Бывало, что я ощущал тревогу, и тогда спешил домой, и чем ближе подходил к дому, тем отчетливее «принимал» сигналы беды.

Обычно приступ давал о себе знать заранее. В этот день отец чувствовал вялость, сонливость, у него пропадал аппетит, все время хотелось пить, и он спешил отпроситься

с работы, потому что головная боль появлялась внезапно и быстро усиливалась, пока не обрушивалась всей силой; и не оставалось тогда воли сдерживать себя.

Переставала существовать стройная реальность, она уступала место хаосу. Мозги кипели и распирали череп изнутри. Казалось, что череп, в конце концов, не выдержит и расколется. Отец перетягивал голову полотенцем и стягивал узел все сильнее и сильнее, словно укрепляя череп. В горсаду так стягивали треснувший вяз металлической стяжкой, свинчивая болтом, пока железо не врезалось в кору. Но наступал момент, когда человеческое терпение кончалось. И тогда из отцовского горла вылетал стон, больше похожий на рев раненого зверя. Отец катался по кровати и прокусывал наволочку подушки, пытаясь заглушить боль...

Я ощутил тревогу, когда вспомнил, что хочу есть, и мысли унесли меня на нашу кухню. Пацаны еще остановились поговорить с хориками насчет футбольного матча между нашими улицами, а я уже мчался к дому. Отец, обессиленный, лежал на кровати. Мать дала волю слезам, сбрасывая напряжение и страх последних часов на меня.

– Где тебя носило? Паразит! Ни отца, ни матери не жалко. Отец при смерти был, а ты лындаешь, черти носят. Где ты был?

Я ничего не ответил и подошел к отцу. Отец был бледен и лежал на спине с руками поверх одеяла, голова его бессильно откинулась на подушке.

– Скорую вызывали. Врач укол морфия сделал, – пояснила мать. Я положил руку на голову отца, веки его чуть дрогнули, он открыл глаза и улыбнулся мне вымученной улыбкой.

Я ясно видел легкое мерцание голубоватого свечения вокруг головы отца. Гармонию свечения нарушали красно-оранжевые сгустки. Морфий только приглушил боль, но она оставалась, и ее нужно было снять, иначе она вернется, как только действие лекарства закончится. Я подержал руки над головой отца, то приближая, то удаляя их, и когда почувствовал легкое покалывание в пальцах, стал делать круговые движения в области скопления сгустков. Иногда мне казалось, что оранжевая боль просачивается через мои руки и уходит через меня, оставляя во мне что-то

неприятное, гнетущее, и отнимает силы. Я был похож на человека, который взялся за оголенный электропровод с неиссякаемым источником тока, потому что источник боли моего отца был так же неиссякаем.

Боль – это SOS живого организма, который начинает сигнализировать о том, что защитные силы выработали свой предел. Сейчас я заберу эту боль, но потом она начнет вырабатываться снова. Я мог на какое-то время помочь отцу, но вылечить не мог. Его мозг был поражен необратимо и жил за счет всех жизнеспособных органов, которые отдавали все свои силы и сами оставались без защиты. Я все это мог прочесть по свечению, окутывающему живое тело, как коконом, легкой мерцающей оболочкой. Я научился определять очаг болезни и степень поражения основных органов. Становясь старше, я стал интересоваться анатомией, о непонятном спрашивал отца, поэтому знал расположение и функции основных органов...

Через несколько минут темно-красные сгустки окрасились в розовый цвет, потом стали менять свой цвет на голубоватый и скоро свечение стало почти однородным. Этого было достаточно. Я знал, что сейчас отцу лучше. Дыхание его стало глубоким и ровным. Я погрузил отца в сон. Теперь он проснется выспавшимся, и силы снова вернуться к нему. До следующего раза, который, как я надеялся, теперь отодвинется еще дальше. Но только время покажет, насколько его организм и моя помощь справились с болезнью.

Я чувствовал слабость, апатию, и мне тоже хотелось спать, но я пошел на улицу. Что-то мне вслед говорила мать, окликнула тетя Нина – я не слушал. Мне хотелось побыть одному.

Незаметно спала жара. Солнце погасило свой слепящий лик и красным диском опускалось за горизонт. Ярче обозначились предметы. Они перестали отражать прямой солнечный свет и стали более различимыми, контрастными. Зато тени на глазах удлинились и, расплываясь, теряли четкие очертания. Наступала та вечерняя благодать, когда силы начинают вновь возвращаться в мышцы и готовят тело для торжества плоти.

Сегодня мне опять приснится сон, который повторялся с регулярным постоянством несколько последних лет.

Я пробиваюсь на какой-то диковинной машине через льды, через снежные торосы к полюсу, а слева от него – огромный водопад. Многотысячетонные массы воды, пенясь и разлетаясь миллионами брызг, падают с диким грохотом, кипят, путаясь в водовороте, находят свой путь и мощными потоками устремляются вниз, заливая все свободное пространство. Именно вниз, потому что я ощущаю планету, как огромный глобус. А над водопадом повисает гигантская молния, одним концом касаясь водопада, другим, уходя в бесконечность.

Молния постоянна, как непрерывная дуга электро-сварки, и пульсирует, играя переменчивым цветом. Я ощущаю ее энергию, которая пронизывает окружающую среду.

Иногда в этих снах водопада нет, а я парю над землей, вижу реки, артериями прорезающие землю; горы, словно вылепленные на макете умелыми руками художника; моря и озера, похожие на лужицы после дождя и заливающие почти всю планету; величественные океаны, и материки, которые плавают в них огромными плотами.

Вуаль почти прозрачных облаков лежит подо мной и украшает голубую планету.

Но всегда присутствует молния. Она упирается в землю и уходит в бесконечность. И все пронизывает энергия, которую я ощущаю каждой своей клеткой. Энергия наполняет меня, как пустую оболочку. И я не боюсь всей этой грандиозной и страшной силы, этого гула, парализующего слух.

А утром я просыпаюсь свежим, бодрым и сильным...

– Вовка, сходи за водой! Дома воды ни капли.

Мать стояла возле меня с ведрами. Наверно, сама шла за водой, но увидела меня. Я с удовольствием взял ведро и пошел к перекрестку.

У колонки столпились женщины, но их сейчас не занимала вода, их занимал скандал, который устроила Катя и Аська Фишман из-за отходов из бачков, которые стояли в новой трехэтажке. Бачки эти ставил свиной откормочный цех с улицы Революции. Катя успевала набрать свое ведро до того, как цеховые забирали отходы, но сегодня, выходя из дома, она наткнулась на свою бывшую соседку Аську Фишман, получившую с мужем Ароном квартиру в новом доме.

– Уже и здесь поспела? – ехидно спросила Аська.

Кате промолчать бы, но ее задели эти слова, и она сказала вроде про себя:

– Нам пенсий не начисляют.

Намек был куда как прозрачен. Вся улица знала, что Аська, сроду нигде не работавшая, когда строился дом, нялась сторожить стройку. На стройке лежали штабеля досок и стояла циркулярная пила. Аська, подворовывая ночью доски, пользовалась этой пилой, перепиливая их вдвое.

Работа с циркулярной пилой требовала определенной сноровки. И Аська такую сноровку выработала. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Доску повело, и пила циркнула по руке, отхватив два пальца на левой руке. А через некоторое время она стала получать пенсию по инвалидности. Это Катя и имела в виду. Аська взорвалась немедленно:

– Да у тебя в чулке больше, чем у директора мясного магазина на сберкнижке. Ты же по три поросенка выкармливаешь. Даром что как нищая в тряпье ходишь.

Этот спектакль в один момент собрал немало зрителей. Кто-то шел за водой, кто-то из магазина. И теперь с удовольствием наблюдали за развитием драмы.

– Зато ты вся в золоте ходишь, – теперь уже напропалую пошла Катя. – Сонька расплзлась не хуже того поросенка, вот-вот лопнет. И один Арон работает.

– Вон отсюда, паскудина, – не вынесла этих слов Аська... – А ну-ка, вываливай все назад. Ходит, выгребает ... Для нее здесь бачки поставлены.

– Чтоб тебе подавиться этими объедками! На, ешь! – сразу осевшим голосом выкрикнула Катя и, теряя рассудок от нахлынувшей ярости, опрокинула ведро прямо рядом с Аськой. И вдруг, сообразив, что это может плохо кончиться, быстро пошла от Аськиного дома. Аська охнула и стала по рыби ловить ртом воздух, не находя слов для возмущения, и только когда Катя была уже недосягаема для рук, крикнула вслед:

– Ну, тварь, чтоб твоей ноги здесь больше не было! И близко не смей подходить к этому дому.

На это Катя показала зад, похлопав по нему ладонью, и от греха поскорее затрусил к своему дому.

Публика хохотала.

Не успел закончиться один спектакль, как начался другой. Теперь все взгляды были обращены на дорогу, по которой два приятеля вели Федора, Катиного мужа. Вели его серединой улицы, поддерживая под руки с двух сторон. Шли молча, сосредоточенно выбирая дорогу, стараясь обойти рытвины и выбоины. Были они в той стадии опьянения, когда все внимание направлено на ноги, а мозг выполняет одну работу: не дает упасть, удерживает на ногах. Тетя Мотя, оставив ведра, бросилась к дому Кати, которая жила чуть подальше колонки, чтобы сообщить о том, что ее Федора ведут пьяного, но Катя, уже сама стояла у калитки, высматривая мужа.

– Катя, твоего ведут! – сообщила издали тетя Мотя и остановилась, прижимаясь ближе к домам.

Федор безвольно висел на своих дружках, закатывая глаза от натужного усилия согнать дурь, скрипел зубами. Но ближе к дому сделал вдруг отчаянное усилие, пытаясь высвободиться из рук своих приятелей, и те, потеряв равновесие, упали вместе с ним. Поднялись и, с пьяной решимостью довести друга до самого дома, упорно пытались снова взять оставшегося на земле Федора за руки, но Федору это не понравилось, и он, вдруг обидевшись, неожиданно ударил в лицо своего приятеля. Тот удивленно охнул и, не раздумывая, ответил сильным тычком в зубы. Федор повалился и, матерясь, пытался стать на четвереньки, но приятель, не давая ему подняться на ноги, завалил и стал пинать ногами, ладясь угадать под ребра. Сразу оторвалась от ворот и коршуном налетела на него Катя. Она стала оттаскивать его от Федора, колотя кулаками по спине и пытаясь дотянуться до волос. Другой приятель долго не мог взять в толк, что происходит, а потом бросился отнимать своего товарища у Кати, и скоро они ушли, оставив Федора на земле.

Федору никак не удавалось подняться. Катя помогала ему и причитала на всю улицу:

– Ой, убили. Убили, окаянные.

Кто с сочувствием, кто с любопытством, а кто с откровенным удовольствием смотрели на дармовое представление и с нетерпением ждали, чем этот спектакль закончится.

Помог Кате Ольгин сын Толяй, добрый малый из нашего двора. Он поднял Федора и вместе с Катей отвел в дом...

Я поставил ведра на скамейку возле рукомоЙника и пошел к отцу. Отец открыл глаза. Был он бледен, но выглядел заметно посвежевшим.

– Как ты, пап? – спросил я.

– Спасибо, сынок! Чтобы я без тебя делал?

Он смотрел на меня с такой любовью, что мне стало неловко, и я опустил глаза.

Мать позвала есть. Она хотела принести еду отцу в постель, но он встал и вышел к столу сам. Мать уже успокоилась и теперь наседкой кружилась вокруг отца. Она отдавала ему все лучшее и всю любовь своего нерастрченного сердца, отодвигая всех, в том числе и меня, на второй план. Видно, они с отцом еще не успели налюбоваться, и теперь она берегла его и холила, как могла, добывая для него мед, который мешала с коньяком и орехами, делая питательный состав; она отжимала свекольный сок и поила его от давления. Он был для нее и ребенком и мужем. Казалось, «поддержать» отца стало целью ее жизни. Она говорила: «Надо поддержать Юру» и подкладывала ему лучшие куски. Я не обижался, потому что тоже любил и жалел отца.

После ужина отец лег с книгой в свою кровать, а я пошел в темную каморку, где раньше жила бабушка Маруся с Олькой и где теперь спал я, потому что Олька перешла в зал.

Я включил свет и взял томик Брет Гарта, которого мне принес отец. Но читать не получалось. Зашла тетя Нина, и они с матерью стали обсуждать последние уличные новости. Я невольно слушал.

– Шур, ты слышала, Ленка-то прокуророва уехала.

– Да что ты говоришь? – искренне удивилась мать.

Она всегда узнавала новости последней и чаще всего от тети Нины. Тетя Нина выдержала паузу, наслаждаясь произведенным эффектом от этой новости, и заговорила, не оттавливаясь:

– Укатила к себе в Ленинград и ни с кем не попрощалась. А до учебы еще месяц целый. Кольке-то что? У него этих девок – пруд пруди. А вот Витька, Витька сам не свой ходит. «Я слышала, как мать его уговаривала: «Вить, поел бы что-нибудь, что ж ты все куришь да куришь. Посмотри, на кого стал похож. Да чем же она, змея, тебя так присушила?» Да как заплачет, как заплачет. А Витька дверью – хлоп, и из дома вон».

– Да чем же, правда, она так его взяла? Девка как девка. Ну, конечно, красивая. Но уж не настолько.

И вздохнув почему-то, может, вспомнив молодого отца и себя молодую, сказала:

– Да и то, любовь, она не спрашивает.

– Жалко Витьку, – согласилась тетя Нина. – Такой парень. Все при нем. И добрый, и из себя видный. С войны капитаном пришел.

– Ну, как хочешь, Нин, а все же не пара он ей, – вдруг решительно заговорила мать. – У нее воспитание... и образованная. Вон в институте в Ленинграде учится. А он что? Хоть капитан, хоть не капитан, а как был лапоть, так лаптем и останется.

– Да Ленка за Витькой, как за каменной стеной жила бы. Это пока молодая перебирает. Только перебирать не из чего. Где они, мужики-то? Другая рада хоть за какого инвалида выйти, – с обидой сказала тетя Нина, и мне даже показалось, что в голосе ее задрожали слезы.

– Нет, Нин, когда человека не любишь, никаких золотых гор не надо, – мягко сказала мать. – А Ленка, что ж? Эта одна не останется. А, может, кто в Ленинграде есть!

«Прошлый раз мать за Витьку заступалась, а тетя Нина против была. А теперь все наоборот», – с удивлением отметил я.

Глава 21

Бабушка Паша. Капитал в матрасе. Мое видение. Память о сыне.

Исчерпав тему, обе надолго замолчали. Глухо позвякивали тарелки – это мать мыла посуду. Я снова открыл

книгу, но читать так и не начал. Тетя Нина, словно спохватившись, сказала:

– Ты ведь знаешь, что вчера бабушку Пашу похоронили?

Мать знала. Сама пятерку на похороны давала, когда по соседям деньги собирали. Но тетя Нина еще напомнила:

– Что могли, по людям собрали. Спасибо Моте, побегала. Гроб дядя Коля бесплатно сколотил, за одну выпивку. Немного собес помог. Ну, помянули потом. Мужики, которые гроб несли. Дядя Коля, Шалыгин, еще мужики.

– Да уж беднее бабы Паши не было! – согласилась мать. – Царство ей небесное!

– Да в том то и дело, Шур! Ты знаешь, сколько у нее в матрасе нашли? – Тетя Нина выдержала паузу и с какой-то злой радостью выдохнула: – Пять тыщ.

– Да ты что? – испугалась мать. Я живо представил, как у нее округлились глаза.

– Вот тебе и «что»! Стали разбирать вещи. А какие там вещи? Все на выброс. Мотя думала, может, что взять себе, да что там! Одно тряпье. Матрас и тот обветшал. Хотели выбросить, да что-то зашуршало. Мотя пощупала, вроде бумага. Надорвали материю, а она и распозлзлась, гнилая, да и повалились деньги. Больше пятерки и тридцатки, но были и сотенные.

– Вот тебе и нищая! – мать никак не могла прийти в себя. Я удивлен был не меньше и ждал, что тетя Нина скажет дальше, но на кухне установилось долгое молчание: тетя Нина с матерью стали что-то сосредоточенно двигать. Я вернулся к книге, но строчки расплывались, глаза невольно возвращались к одному и тому же месту. Со мной что-то происходило. Мне было не по себе. Я почему-то ощущал стыд и боль. И эта боль разрасталась, будто мне ее кто-то навязывал, она заполняла все мое существо, вытесняя реальность, а когда стала почти невыносимой, вдруг оборвалась, и бабушка Паша явилась мне как живая. Я попытался освободиться от этого наваждения, но она легко вошла в меня, и мое сознание заполнило что-то непонятное и пугающее новизной ощущений. Её жизнь вдруг стала моим навязчивым видением, но то, что я увидел под углом чужого восприятия, смешалось с тем, что я знал...

Бабушка Паша жила одна в маленькой комнатке с коридорчиком, приспособленным под кухню, где на ветхом кухонном столе стояла, покрытая копотью керосинка. На этой керосинке она варила свой нехитрый старушечий обед, чаще всего молочную вермишель. Дом, в котором она жила, был ветхий, облезлый и покосившийся. И бабушка Паша была такая же ветхая, как дом, в котором она жила, и помнила еще помещика, хозяина этого дома. Тогда дом был иной, с прямым фасадом, выкрашенным зеленой масляной краской, и под железной кровлей, радующей глаз ярким суриковым цветом.

Из той своей жизни бабушка Паша видела неясные и странные сны. Но видела она себя в этих снах как бы со стороны и все, что было давным-давно, казалось, было не с ней, а с кем-то другим. Сны путались, и перед ней представлял вместе с погибшим в гражданскую мужем Семеном, батюшка Богоявленской церкви, куда она ходила молиться, отец Борис.

А то видела сына, убитого в первый же год войны, после чего ополоумела от горя и сразу стала старухой. Сын снился мальчиком. Он протягивал к ней руки, а она, опять же посторонняя, никак не могла дотянуться до него.

Старушки богомолки, когда она рассказывала этот сон, со значением говорили, что это господь дает знамение, к себе призовет скоро.

– Да уж скорей бы, Господи! – вздыхала бабушка Паша, не потому что в самом деле считала, что пришла пора помирать, а чтобы не гневить Господа.

За сына она получала тридцать рублей пенсии. Соседка Мотя советовала похлопотать насчет прибавки. Как-никак, и муж, и сын головы за советскую власть сложили. Но хлопотать было некому, да и документов никаких, кроме двух писем от сына, да похоронки не было. И бабушка Паша обходилась так.

Полного достатка она никогда не знала. Озарилось, было, счастьем ее житье, когда Семена встретила, да не ей, видно, оно было предназначено, не в тот дом залетело, войной обернувшись, оторвало от мужа, не дав к нему привыкнуть как следует, разбив все слаженное вдребезги. Осталась вдовой Прасковья с плотью и кровью Семеновой, годовалым сыном.

Привыкнув жить бедно, бабушка Паша лучше жить не могла, потому что, как лучше, не знала. Она ни у кого ничего не просила, но ей всегда подавали. И принимая деньги, яблоко или кусок пирога, старые боты или поношенную кофту, униженно кланялась и благодарила от себя и от имени Господа, обещая его милость, будто он был ее родственник.

Вынужденная всегда и на всем экономить и отказывать себе во всем, она незаметно стала скупой. Покупала в основном молоко да хлеб, на что с гаком хватало мелочи, которую ей подавали. То, что перепадало ей из старой ношенной одежды, она ухитрялась куда-то сбывать и оставляла себе лишь малое из пожалованного, самое добротное и нужное, да и то прятала в сундук, предпочитая носить когда-то бывшее черным и, давно потерявшее цвет, сатиновое платье, высокие стоптанные ботинки, модернизированная копия «цыганок», в которых щеголяли еще гимназистки, да потертую плюшку, неизменно пользующуюся спросом у старушек и пожилых колхозниц.

По дороге домой бабушка Паша, откуда бы ни шла, кланялась земле, подбирая щепки, доски, кусочки угля – все, что горело и, таким образом, обеспечивала себя топливом; и никогда не упускала случая заглянуть в скрытые от глаз углы и кусты в поисках пустых бутылок, и они у нее вечно звякали в облезлой дерматиновой сумке с ручками, обмотанными изоляционной лентой.

В церковь она ходила не ко всякой службе, экономя на свечке и строительстве храма божьего, жертвуя только по большим праздникам, хотя в бога верила твердо, часто молилась с поклонами и не забывала прочесть краткую молитву «На сон грядущим»: «Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго Твоего Креста, и сохрани мя от всякого зла» и «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наша, вольная и невольная, иже в слове и в деле, иже в ведении и в не ведении, иже во дни и в ночи, иже во уме и в помышлении: вся нам прости, яко Благ и Человеколюбец».

В комнате, в углу, у нее висел черный от копоти Николай Угодник, которому она надоедала, выпрашивая себе здоровья и легкой смерти. У Матери Божьей, святой девы Марии, она не просила ничего, но делилась мелкими забо-

тами, пересказывая уличные склоки, жаловалась на суету мирскую и, повздыхав перед образом, снимала с души злобу, накопившуюся за день.

Выше отца Бориса в своей мирской жизни она никого не знала. И когда после окончания службы подходила к нему под благословение, робела. Ей казалось, что батюшка читает ее душу как книгу, где видит грехи, которые больше никому не ведомы. Она поспешно прикладывалась к кресту и, получив благословение, спешила отойти, а, отойдя, вздыхала с облегчением.

Так она и жила. Тихо. Уживаясь с людьми и Богом. Ничего ни у кого не просила, ничего никому не давала, разве что благословение Божье, которое давать было просто.

И счет годам, бабушка Паша потеряла и дня своего рождения не помнила.

Но умереть она не могла, потому что далеко под Псковом, в селе Дубки, лежал в братской могиле ее сын, и она еще не плакала на его могиле. И она знала, что не будет ей покоя, пока не съездит на его могилу.

Для того и копила деньги, откладывала копеечку к копеечке, рубль к рублю.

Она берегла память о сыне и носила ее в себе все эти долгие годы войны. И все эти годы ей не давала покоя мысль о том, что сын ее умирал в чужой стороне и звал ее, а она была далеко, и некому было унять его боль, утешить, облегчить его страдания. Эта мысль жгла ее и терзала сердце. И все чаще в последнее время стало возникать перед ней лицо сына, точно он напоминал ей о себе. И когда видение становилось особенно навязчивым, она шла в церковь, ставила незапланированную свечку, оставляла поминание и сама молилась за упокой души убиенного раба Божьего Михаила.

Однажды, когда бабушка Паша стояла в овощном магазине за капустой, ей стало плохо. Сердце вдруг сдавило невидимой силой так, что она не могла вздохнуть, в глазах потемнело, а ноги подломились, и она стала опускаться на пол. Она бы упала, но ее успели подхватить под руки, отвели к окну и усадили на ящик.

Когда сердце немного отпустило и бабушка Паша смогла перевести дух, ее отвели домой. Соседка Мотя дала ей капель и оставила одну.

Оставшись в своей комнатенке, бабушка Паша почувствовала себя плохо. Ноги не слушались, и хотелось поскорее лечь. У нее хватило сил по стеночке добраться до кровати... Она не видела ангелов и не слышала колокольный звон, и даже не успела понять, что умирает. Сердце сделало последний какой-то судорожный толчок, тело дернулось и замерло. Но мозг некоторое время еще продолжал работать, и сознание успело отметить расползающуюся пустоту и бестелесную легкость...

Я умер одновременно и вместе с бабушкой Пашей. Я летел в бесконечную бездну; я летел, а вокруг все рушилось и разноцветным калейдоскопом менялось и кружилось перед глазами... И разом все прекратилось, потому что я открыл глаза. Передо мной стояла мать и трясла за плечо.

– Что с тобой? Ты так стонал. Да у тебя жар, – мать приложила руку к моему лбу. Рука была прохладной, и ее прикосновение доставляло наслаждение.

– Да нет, ничего. Просто уснул, и что-то приснилось, – ответил я.

– Ну, спи, спи, – мать поправила одеяло, подняла книгу с пола, положила на стул рядом с кроватью и вышла...

– Ну и кому ж эти тыщи теперь? – спросила мать тетю Нину.

– А государству, кому ж? У нее-то никого не было. Кому копила?! А все жадность.

«Нет, – кричало все во мне, – это неправда. Не жадность, а святая материнская любовь. И не для себя копила, а для цели большой!»

Но я молчал. Видно так угодно кому-то было; ей оставаться осужденной, а мне молчать.

– ...все жадность наша. Хотя б отказала кому, хоть бы и Моте. Сколько Мотя для нее сделала?! А то так, никому.

– Так Мотя и взяла бы.

– Да нет, Шур, там же не одна Мотя была. Да и муж у Моти милиционер. Не дал бы. Не положено.

– Да и то, правда. Чужое руки жжет. Потом как жить? Совесть замучает, – согласилась мать.

– А, может, что и взяла, – словно не слыша и думая о чем-то своем, сказала тетя Нина.

Глава 22

Лето идет на убыль. На берегу. Выбор профессии. «Мотяция». Беспокойная плоть Вальки Андрянова. Ожидание большого футбола. Ванька Коза. Конная милиция. Футбольный матч.

До футбольного матча оставалось больше двух недель, а город уже волновался и жил ожиданием большого футбола. К нам ехала знаменитая московская команда класса «А», чтобы сыграть товарищеский матч с местными чемпионами. Этот подарок городу преподнесли москвичи к годовщине освобождения его от фашистских захватчиков. Болельщики обсуждали на улицах волновавшие их вопросы: приедет ли Константин Бесков, будет ли Всеволод Блинков, Василий Трофимов и Виктор Царев. И будет ли стоять в воротах Хомич. Скептики утверждали, что ничего этого не будет. Приедут запасные, а то и вовсе вторая команда, побегают в свое удовольствие, проведут тренировку и укатят восвояси.

Но как бы там ни было, футбола ждали, и, как обещали афиши, матч состоится при любой погоде.

А пока погода стояла необыкновенно теплая. Все в природе налилось и достигло предела своей зрелости. Природа млела и томилась и, тяготясь своим изобилием, готовилась разродиться несметными своими дарами. Лето уже перевалило за свою вторую половину. Вода в речке стала холоднее. В народе говорили «Пророк Илья в речку помочился». После этого купались только самые отчаянные. А по утрам и вечерам ходить в маечке стало зябко. И птицы стали тише. Реже раздавалось их веселое щебетание и жизнеутверждающее пение. Птенцы давно выросли, окрепли и вылетели из гнезд. Вороны и то каркали как-то по-особому, лениво и вроде потому, что им так положено.

Но до осени еще было далеко. Мальчишки сидели почти всей своей компанией на берегу под ремеслухой. Ветерок лениво играл темной густой зеленью листвы, и она,

будто нехотя, отзывалась легким шелестом. С нами не было только Мишки Монгола и Ваньки Козы. Ну, Ванька-то от нас давно откололся и появлялся лишь изредка, но и тогда больше молчал и тяготился нашей компанией. А вот Монгола всем недоставало. Мальчишки с грустью сознавали, что потеряли своего капитана.

– Монгол теперь с Толей Длинным в хоровой кружок в Клуб Строителей ходит, – сказал Витька Мотя.

– Куда ходит? – не понял Каплунский.

– Туда. Ты что, глухой, что-ли? – окрысился Мотя и уже спокойней сказал:

– Я с ними тоже ходил, но мне не понравилось.

– А Монгол сказал, что тебя не взяли, – с усмешкой вставил Самуил.

– Чего не взяли? Сам не захотел, – беззлобно отмахнулся Мотя, – Чего там хорошего-то? Сто придурков стоят в куче и тянут: «а-а-а!». «А» да «а» – вот и весь хор.

– А откуда Толя Длинный взялся? Он же уезжал жить к матери, – спросил Каплунский.

– Приехал в техникум поступать. Да Монгол корешился с Толей с пятого класса, когда мать Толи еще с отцом Свистковым жила. Дома-то напротив, – объяснил Мотя.

– А он в какой техникум? – заинтересовался Алик Мухомеджан.

– В машиностроительный.

– Может и мы в машиностроительный? – Мухомеджан приподнялся на локтях с травы и посмотрел на Мотю-старшего.

– А чем железнодорожный хуже? – в голосе Моти звучала уверенность. – Чем плохо работать на железной дороге? Будешь поездами командовать. А если не захочешь, можешь где угодно работать. Хоть в связи, хоть где. А машинка, что? Только на завод. Всю жизнь через проходную и в четырех стенах, как в тюрьме.

– Да это да! – сразу согласился Аликпер, который волю не променял бы на золотые горы, потому что любил природу и рыбалку больше жизни. В этом деле он не признавал компаний и ходил по грибы и на рыбалку один. И грибником и рыболовом он был удачливым, и к его удаче относились с уважением даже взрослые рыбаки.

«Мухомеджану бы в лесники или в рыбнадзор», – лениво шевельнулась у меня мысль и вдруг обрела четкую форму: «не поступит». Это было опущение, которое вспышкой пронзило мозг и погасло, не оставив следа. Все произошло произвольно. Через минуту я уже об этом забыл. Есть вещи, о которых лучше молчать. Как об отце Изи Каплунского. Наверно, здесь действовал всеильный инстинкт самосохранения, и это срабатывало помимо воли.

– Ты готовишься? – ревниво спросил Мухомеджан Мотю.

– Да так, грамматику читаю, – неуверенно сказал Мотя.

– А я что читаю, что не читаю. Темный лес, – засмеялся Мухомеджан. – У меня всегда с русским нелады были.

– А у кого лады? – согласился Мотя. – Вспомни, как учились-то!

– А ты, Самуил, все же с нами не хочешь? Тоже в машинку идешь?

– У него, брат, Наум, мастером на пятом заводе работает, – пояснил Каплунский.

– А я думал, Наум портной, – сказал Мотя-младший,

– Почему портной? – пожал плечами Самуил.

– Да все время в костюме ходит. Как Исаак.

Ребята засмеялись.

– Вовкин отец тоже в костюме ходит! – засмеялся Мотя-старший.

– Вовкин отец инженером работает, все знают.

– А чего Монгола вдруг в хор потянуло? – вернулся к их разговору Пахом. Видно ему никак не давал покоя Монгол, который ни с того ни с сего потащился в хор.

– Так у него голос прорезался, – лениво отозвался Мотя-старший. Руководительница сказала, что это после мотации.

– Чего? – не понял Пахом, – После мотации?

– Ну, ты, в ухо хочешь? – обиделся Мотя. – Мотация у всех бывает. Это когда голос меняется. Когда в мужика превращаешься.

– Вот у тебя еще не прошла, потому ты и пицишь. А у меня уже прошла, видишь, голос какой грубый. Только я петь не умею. А Монгол вот запел.

– Это где ж я пищу? – от возмущения Пахом сел. – Да я сроду не пищал. Скажите, пацаны.

Пахом действительно не пищал. Голос у него был мальчишеский, но сиплый, и все это подтвердили.

– Ну ладно, не пищишь – согласился Мотя. – Но все равно у тебя мотация.

– Мутация, – поправил я. – Возрастная ломка голоса в период полового созревания.

– А ты, Вовец, откуда знаешь? – на всякий случай опросил Пахом.

– Читал.

– Вовец все знает, – польстил мне Мотя-старший.

– Половое созревание – это как у Андрияна? – уточнил Пахом. Все засмеялись. Эту историю с Валькой Андрияновым знала вся школа.

Валька Андрианов в оккупации, как другие переростки, не был, но к шестому классу умудрился два раза остаться на второй год. Это был симпатичный крепкий парень, улыбчивый и не драчливый, но лентяй, каких мало. На уроках он сидел с такой постной физиономией, что его становилось жалко даже учителям.

Но с некоторых пор его стала беспокоить плоть, и он время от времени развлекался с не дававшим ему покоя предметом прямо на уроке. Особенно он приходил в волнение на уроке биологии. Молоденькая симпатичная биологичка была невысокая, худенькая, но с сильно развитой грудью. Эта грудь видно и доводила Андрияна до иступления. Он двигал рукой под партой, не сводя глаз с биологички. При этом физиономия его розовела от невыразимого удовольствия, и он сладострастно закатывал глаза. Сначала биологичка не понимала в чем дело. Только как-то раз сделала замечание: «Андрианов, что ты там все возишься?». В конце концов, ее не так беспокоил Андрианов, как остальной класс, который тридцатью парами глаз вдруг начинал косить в его сторону. Так долго продолжаться не могло, и однажды, когда началась очередная возня, биологичка, как бы невзначай приблизившись к Андриановой парте, вдруг кошачьим движением быстро откинула крышку. То, что она увидела, повергло ее в ужас. Она покраснела, глаза ее округлились, и она по-рыбьи стала хватать воздух ртом. Андриану бы прикрыться, но он уже не мог остановиться и с

выпученными глазами и перепуганным лицом все же заканчивал начатое дело.

И вдруг биологичка взревела:

– Вон, скотина! Вон из класса! – Гримаса брезгливого отвращения передергивала ее лицо.

Андриян, прикрываясь руками, боком неуклюже вылез из-за парты и под смех и улюлюканье класса бросился к двери, на ходу заправляя свой срам.

Биологичка, не смея сама пойти к директору с этим вопросом, рассказала все Нине Капитоновне, пожилой учительнице географии, а та директору школы.

Директор Костя вызвал Андрияна, но долго с ним не разговаривал, не читал нотаций, просто отобрал сумку и сказал, чтобы за сумкой пришла мать. А матери сказал, что без справки врача в школу его не пустит. Мать Андрияна высекла, а через день Андриян принес справку от невропатолога: «Здоров. Беседа о вреде онанизма проведена».

На том дело и кончилось.

– Вовец, какой будет счет? – вдруг спросил меня Пахом.

– Откуда я знаю? – пожал я плечами.

– Да ладно, можешь не говорить, – не поверил Мотя. – Но хоть кто выиграет?

– Да не знаю я, – сказал я, раздражаясь.

Знание приходило независимо от меня и чаще всего, когда я не ждал этого. Конечно, иногда я мог заставить свое сознание настроиться на непонятное мне и болезненное восприятие загадочного мерцающего пространства, которое несло информацию. Но для этого нужны были особые условия, при которых я мог бы управлять своим сознанием.

– Ну, хорошо, а как ты думаешь, по-твоему, кто выиграет? – подошел с другого конца Мотя-старший.

– Наверно, будет ничья, – наобум сказал я. Хотя, почему бы и нет? Московское «Динамо» будет у нас в гостях. Игра состоится в честь праздника нашего города, и выигрывать, вроде, не совсем удобно. Но и проигрывать команде класса «Б» тоже не резон. Вполне может быть ничья.

– «Ну, это ты загнул, – не поверил Самуил. – Московское «Динамо» в прошлом году чемпионат СССР выиграло. Они, если уступят, то может только ЦДСА. А ты, «ничья». Да они нас на сухую раскатают.

Самуилу можно было верить. Он не пропускал ни одного футбольного репортажа, которые вел всеобщий кумир Синявский. Самуил знал наперечет всех известных футболистов и мог назвать составы всех основных команд класса «А».

– Не может быть ничьей, – согласился Витька Мотя.

– Может и не будет, – не стал спорить я.

– Не хочешь говорить, не говори, только тогда вообще молчи, – обиделся за всех Изя Каплунский.

Мне нечего было возразить, и я молча жевал травинку.

– Я вчера Ваньку Козу видел, – вспомнил Самуил. – Блатяга. Московочка, сапоги в гармошку. Я ему: «Здорово, Вань! На футбол идешь? А он сплюнул так через зубы и говорит: «А как же. У меня и билеты третьем ряду»».

– Ни хрена себе, – обалдел Мухомеджан. – Билеты покупает. Это сколько ж у него денег?

– Да больше, чем у нас всех вместе на 1-е Мая было, – пришел к выводу Каплунский.

– Тут на кино у матери руб не выпросишь, – вздохнул Самуил.

– Да ну его на хрен с его деньгами, – сказал Мотя. – Лучше без денег, да на свободе. Он же без конвоя последние денечки ходит. Раз ворует, значит, тюрьма по нему плачет.

– Все. С Козой больше не водиться, – приказал Мотя.

– Да никто с ним уже давно не водится, – согласился за всех Каплунский.

Время перевалило за полдень, и солнце стало клониться к западу. Но жара не спадала, и мы все же рискнули искупаться. Вода обжигала тело, но мы с разбега бесстрашно бросались в воду, задыхаясь от спазм, сковывающих тело, и оглашая берег отчаянными воплями и не совсем приличными словами.

Матч между московским «Динамо» и сборной города был объявлен на семь часов, но уже часа за три до встречи команд народ потянулся к стадиону. А за два часа до начала трамвай и автобусы были забиты до отказа, и люди висели на трамвайных подножках, а автобусы из-за невозможности открыть двери, вторую часть своего маршрута шли без остановок до самого стадиона.

Стадион находился напротив горсада, и ряд вековых лип и каштанов служил хорошим местом для обзора футбольного поля не хуже трибун. Не только пацаны, но и взрослые уже карабкались на деревья, осваивая суки потолще, но, теснимые нижними, лезли выше, рискуя свалиться и сломать себе шею.

И уже за час до начала матча люди висели на суках такими гроздьями, что зелень становилась неразличимой. Ворон не садилось на ночевку на одно дерево столько, сколько сумело разместиться безбилетных зрителей.

Стадион окружала крепость шириной в два с половиной кирпича и высотой не менее двух метров.

Мы знали два места, где кирпичная кладка высыпалась, и забор стал ниже. Нужно было только подтянуться на руках и перевалить на ту сторону. Главное не свалиться на голову дежурного работника стадиона. Такое тоже случилось, правда очень редко, потому что уже на заборе можно было быстро сообразить, где там ходит дежурный и, если близко, отступить. Но это, когда нет конной милиции, а сегодня четыре лошади скакали вдоль забора, и всадники в милицейской форме угрожающе размахивали нагайками.

– Ну что? – оценив обстановку, сказал Мотя-старший.
– Через забор не перелезть. Вон сколько лошадей. Не успеть.

– Я попробую, – решил я. – Как только лошадь ускачет вон к тому концу забора, где дом генерала Родина, можно успеть. Там даже кто-то кирпичи подложил, совсем низко... Самуил пойдешь со мной?

Самуил с сомнением посмотрел на забор, на лошадь, бешено проскакавшую вплотную к забору, и покачал головой.

– Не, я лучше на дерево. Или с горсадовского забора посмотрю.

– Я пойду, – решил Мухомеджан.

Мотя-старший был с братом и тоже не захотел рисковать. Каплунский, было, подался в нашу сторону, но раздумал вдруг и остался на месте. Пахом уже сидел на дереве и орал нам что-то, призывно махая рукой. Но пацаны остались посмотреть, перелезем мы с Аликом или конный милиционер стеганет нас нагайкой. А если стеганет, мало не покажется.

– Я постарше, прикрою, – приказал Алик. – Беги, лезь первым. Я за тобой.

Мы дождались, когда лошадь проскачет в одну сторону, а другая – в противоположную.

Раз, два, три! Мы бросились через дорогу, но не успел я поставить ногу на кирпичи, как внезапное ощущение опасности заставило меня оглянуться.

На Алика мчалась лошадь. Алик следил за тем, как я перелезаю через забор и готовился тут же перемахнуть следом за мной. На это нужно было несколько секунд, но еще меньше нужно было лошади, чтобы поравняться с Аликом. Я наверняка успевал перепрыгнуть забор, но Алик попадал под нагайку, да не одну, потому что конники имели обыкновение крутиться на лошади вокруг своей жертвы до тех пор, пока она, прикрыв голову, убегала, тщетно стараясь увернуться от удара, или валил ее с ног, и та спешила отползти в сторону, подальше от опасной зоны.

– Не двигайся! – мой резкий окрик пригвоздил Мухомеджана к месту. Я закрыл его собой. А на него уже надвигалась лошадь, и он видел ухмылку на лице милиционера и нагайку в отведенной для удара руке. Но я уже знал, что он не ударит его. Мое тело напряжилось как перед прыжком, в глазах потемнело, и мой мозг выбросил такой поток энергии, которая, случись это в доме, наверное, пережгла бы все пробки. Лошадь, как от чумы, шарахнулась от меня в сторону, и тревожное ржание оскалило ее морду. У рыжего милиционера злорадная улыбка сменилась недоумением. Он с трудом удержался в седле и стеганул нагайкой ни в чем не повинное животное. Лошадь встала на дыбы, чуть снова не опрокинув седока, и тот еле выровнял лошадь и поскакал дальше, забыв, зачем вдруг развернулся, не доехав до конца забора. Меня с Аликом он не заметил, будто нас и не было. Алик так и не понял, что произошло. Он перевалил меня через забор и перелез сам. А я подумал, что в таком состоянии я и не смог бы перелезть через забор без посторонней помощи. У меня дрожали руки, и знакомая слабость, так часто угнетающая меня после таких эмоциональных нагрузок, неприятно сковала все мое тело.

– Дежурный стоял далеко спиной к забору. Его больше интересовало то, что происходило на поле. Он полностью доверял конной милиции.

- Тебе не попало? – участливо спросил Мухомеджан.
- Да нет, не успел, – вяло ответил я.
- Хорошо, что лошадь споткнулась, – объяснил Алик.
- А то, кранты. И тебе и мне. Повезло.

Потом пацаны, рассказывая взахлеб, как было дело, сошлись на том, что лошадь чего-то испугалась в самый последний момент и шарахнулась в сторону. Может, мильтон больно ткнул ее шпорой. А пока он справлялся с ней, я и Алик успели перелезть через забор. Со стороны, скорее всего, так и было.

Мы протиснулись к ограждению у самой беговой дорожки, за которой начиналось футбольное поле. Нас толкали, на нас кричали, но мы сумели протиснуться к самому ограждению, и поле лежало перед нами как на ладони.

На поле выскочили на разминку игроки обеих команд. Я постепенно приходил в себя. Меня еще подташнивало, но слабость прошла, и я среди всеобщего гула стал различать отдельные голоса и реплики.

- Всеволод Блинов... А вон Виктор Царев.
- Где, где?
- А кто на воротах? Хомич?
- Нет, кто-то из молодых. Запасной, наверно. Яшин фамилия.
- А Бесков? Бесков где?
- Нету Бескова.

Лениво постучав мячом по воротам, поприседав и поиграв мячом на публику, первыми ушли с разминки московские динамовцы. Их проводили жидкими аплодисментами. Следом потянулись местные футболисты, сопровождаемые ревом трибун. Свои смущенно улыбались и, поднимая руки в знак признательности, трусцой уходили в раздевалку.

- Накидайте им, ребята! ... Гена, вложи им пару штук... Дави их.

Болельщики знали своих футболистов. Знали Гену Татаренкова или просто Татара, знали Алексея Ивешина, Щеглова, Виктора Дьякова, вратаря Горохова.

Когда нетерпение стадиона достигало предела, на поле вышли судьи в черных рубашках и в черных длинных до колен трусах. Главный судья нес в руках футбольный мяч,

два боковых держали в руках флажки. И тут же следом бок о бок выбежали обе команды. Стадион взревел, и этот рев уже не прекращался, только затихал на время, чтобы возникнуть с ещё большей силой.

– Хомич. В воротах Хомич! – вдруг пронеслось по стадиону. И точно, объявили состав команд и вместе с Всеволодом Блиновым, Василием Трофимовым, Виктором Царевым, Александром Малявкиным и другими, знакомыми по репортажам Синявского фамилиями, назвали Хомича.

Стадион ликовал и, казалось, забыл о том, что болеет за свою команду. Но нет, стали называть состав местной команды, и каждого встречали тоже дружным ревом. И тут же футбольные спецы, которых везде хватает, стали перекраивать состав. «Зачем в ворота Кешу поставили? У него же руки дырявые. Нужно было Гороха ставить». «Не нужно было в защиту Сивого ставить. У него мяч между ног проскользывает. Вот Костик сыграл бы».

– А что с Бесковым? Почему Бесков не приехал? – огорчился стадион. И словно услышав вопрос, мучивший болельщиков, по стадиону объявили:

«Константин Бесков сегодня не играет. Бесков не смог приехать из-за болезни. Он простудился, и врачи посоветовали ему соблюдать постельный режим. Ничего серьезного, товарищи. Пожелаем ему скорейшего выздоровления».

Публика тут же простила Бескову его отсутствие и зааплодировала, разрешая ему поболеть. Что ж поделаешь? Со всяким может случиться.

Прозвучал свисток и матч начался. Динамо разыграло мяч, несколькими короткими пасами прошло нашу половину поля, и вдруг Трофимов каким-то немыслимым финтом оставил сзади нашего хавбека и, не подбирая ноги, с левой ударил по воротам. Мяч просвистел над штангой.

Наш вратарь только присел, не успев среагировать на удар. Если бы мяч попал в ворота, гол был бы неминуем. Стадион проводил мяч единым тысячекратно усиленным вздохом. «О-о!» И точно одно на всех сердце екнуло и опустилось. И теперь уже стадион стал похож на огромное тысячеглавое чудовище. Это чудовище рычало и стонало, ревели и свистело, радовалось и переживало, умирало и воскресало.

Еще одна быстрая комбинация, и тот же Трофимов с подачи Блинова вколотил мяч в девятку. Наш вратарь Иннокентий Агошков красиво бросился на мяч, но лишь коснулся его пальцами. И это была не его вина, потому что такие мячи не берутся. Стадион это понял и затих. Только на деревьях не поняли или не видели хорошо, что произошло, и кричали: «Вратарь – дырка! На мыло!».

После гола все вдруг переменялось. Динамовских атак стало меньше. Гости показывали финты, набивали мяч головой, коленями, а к воротам не шли. И болельщики увидели, наконец, броски Хомича. Хомич был без костей. Бросаясь на мяч, он извивался кошкой. Казалось, что забить ему можно только, если метра на два расставить штангу, да на метр приподнять перекладину. Он играл с мячом, как котенок с клубком? Он забавлялся. Даже на простой мяч он прыгал и, забрав его мертвой хваткой, изворачивался как-то красиво в воздухе и падал на него, замерев неподвижно, а стадион-зверь награждал его восхищенным гулом и овациями.

– Недаром англичане прозвали его «Тигром», – сказал кто-то рядом.

– Да уж другого такого не будет, – согласились другие.

Первый тайм так и закончился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Я к футболу, в общем-то, был равнодушен. Нет, слушал, конечно, репортажи, но не так как Самуил, который менялся в лице и орал вместе с Синявским «Го-о-л!»

Но здесь мастерство знаменитых на вою страну нападающих захватило и меня, и я тоже свистел, переживал, и мое сердце колотилось в унисон со стадионом, когда нашим чуть не забили еще один гол. Блинов, выйдя один на один с вратарем, как-то неловко ударил, и мяч срезался мимо ворот.

Стадион облегченно простонал свое «О-о», а мне показалось, что он нарочно не стал забивать этот мяч, он просто послал мяч мимо ворот.

Во втором тайме Хомича в воротах заменил запасной игрок, высокий голенастый мальчишка. Его ворота стояли против солнца, и он все время надвигал кепку на глаза, защищаясь от солнечных лучей.

Местные старались изо всех сил, но переиграть гостей не могли. Чемпионы есть чемпионы, даже с ослабленным составом. Гости подолгу держали мяч, демонстрируя ювелирные передачи. Футболист местной команды Горох, тоже вышедший на замену, взял пару очень хороших мячей, и болельщики моментально решили, что отныне только его и нужно ставить теперь в ворота.

И все же местные забили свой гол. Минут за пять до конца, когда весь стадион смирился с поражением, утешившись тем, что проиграли не кому-нибудь, а самому чемпиону Союза, Щегол прошел по правому краю, обыграл динамовского хавбека и сделал короткий пас Татару; тот без обработки вернул мяч Щеглу на ход, и Щегол, тоже без обработки, сходу послал мяч в угол ворот. Мяч задел штангу и влетел в сетку. Вратарь то ли из-за солнца, то ли из-за сутолоки у ворот, удар прозевал. Он бросился в угол, вытянув, насколько мог, свои длинные руки, и его тело почти закрыло ворота, но мяч не достал.

Что творилось на стадионе и прилегающем к нему пространстве, описать невозможно. Стадион вскочил в едином порыве и взревел, Эхом отозвались деревья-трибуны в горсаду. Рев стоял над городом, и совершенно равнодушные к футболу горожане, спрашивали друг друга, кто кому забил. Те, кто уже покидал стадион, расстроенные проигрышем своих, вернулись и тоже орали, досадуя, что не видели этого гола.

Последние минуты футболисты доигрывали при неутраченном голе стадиона. На поле уже никто не смотрел, и свисток судьи потонул в новом реве болельщиков.

Мы с Мухомеджаном шли домой вдвоем. Своих найти в этой черной колышущейся массе было также невероятно, как рубль на мостовой. Пацанов мы увидели, уже сворачивая с Московской на улицу Степана Разина. Окликнули и догнали. Возбужденные матчем пацаны, все еще обсуждали игру, жестикулировали руками и показывали, какой частью ноги били по ворогам нападающие, щечкой или подъемом.

– Вовец! – сказал с обидой Мотя-старший. – Один – один. Как ты и сказал. Только не надо темнить в следующий раз. Спросили, скажи. А то «не знаю, не знаю», – перердразнил меня Мотя. Я молча пожал плечами.

Это Вавилонское скопление народа закончилось вполне благополучно, «С деревьев свалилось всего человек пять, причем, только двое сломали ноги, и один получил перелом руки. Правда, многим досталось от нагаек конной милиции. Не обошлось, конечно, и без драк. Курские столкнулись с Монастырскими, но большого шума не получилось, и разошлись без ножей. Шпана вовремя вспомнила, что пришла на футбол, а не на разборку.

Глава 23

У кассы. Без билета. Кинотеатр «Родина». Кино.

В последний день лета мальчишки собрались дружно. Даже Монгол был снова с нами. Еще с вечера договорились идти в кино. Шла новая серия «Тарзана». От этих тарзаных серий весь город сходил с ума. Пацанва висела на деревьях и, приставляя рупором ладони ко рту, орала дикими головами, и не счесть было переломанных рук и ног, не говоря уже о расквашенных носсах, синяках и ссадинах.

На трофейные фильмы народ валил валом. Такие фильмы, как «Знак Зорро», «Индийская гробница», «Голубка», «Багдадский вор» смотрели бесконечное число раз и любили не меньше, чем «Волга-Волга», «Веселые ребята», «Они защищали Родину», «Цирк», «Чапаев» или «Александр Невский».

В кассу не пробиться. Но мы в общей очереди не стояли. У нас была своя примитивная система. Кто-то с деньгами становился слева от кассы, где тоже выстраивалась очередь из тех, кто лез без очереди, а остальные потихоньку проталкивали его, оттирая других желающих втиснуться в эту левую очередь...

Давили и слева и справа. Но где-то через час, изрядно помятые, но довольные, мальчишки с билетами и ошалелыми глазами выбирались из толпы, которая ближе к кассе уже мало походила на очередь. Вторая задача состояла в том, чтобы провести под шумок одного-двух малышей мимо билетёрши без билетов. С этой задачей успешно справлялся я. Малыши жались поближе ко мне, а я подавал свой билет и смотрел на билетёршу. Она как-то сникала и, переставая на какое-то время соображать, машинально отрыва-

ла контроль у моего билета, и все свободно проходили, а иногда с нами успевал проскочить и кто-то чужой.

Я не очень сильно напрягался. Я просто думал о том, что мы пройдем, и все.

Когда я проделал это в первый раз, пацаны потребовали от меня, чтобы я проводил всех по одному билету. Зачем тратить кровные, выпрошенные с таким трудом рубли на билет, если можно пройти «за так»? Но я сразу уперся, уверив пацанов, что моих сил на большее не хватит. Пацаны долго сверлили меня взглядами, но, в конце концов, поверили. Конечно, я мог бы провести мимо билетерши всех своих и чужих ребят, но меня удерживало от этого что-то помимо моей воли. Я подчинялся какому-то внутреннему запрету и знал, что никогда не смогу переступить ту грань, за которой начинается зло и хаос.

Мы любили свой кинотеатр. Назывался он хорошим словом «Родина». Кинотеатр построили еще до войны, и он счастливо уцелел во время бомбежек и артобстрелов.

Иногда мы бегали в «Октябрь», зрительный зал которого находился на первом этаже длинного жилого двухэтажного дома, уходящего под мост реки Орлик; или на Ленинскую, в «Дом строителя», где тоже крутили кино. Но больше мы любили «Родину» с просторным фойе, где по вечерам перед сеансами, на которые нас не пускали и на которые у нас все равно не хватало денег, играл оркестр, и пели свои или приглашенные артисты.

Зрительный зал был с балконом, а по обе стороны экрана, на выступах стен красовались цитаты: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино. В.И Ленин», и «Кино в руках Советской власти представляет огромную неопценимую силу. И.В. Сталин».

Эти цитаты остались в моей памяти вместе с фильмами и стали неотъемлемой частью любого кино.

В зал пускали после первого звонка. На детские сеансы билеты продавали без указания мест, и после звонка начинался штурм зрительного зала и борьба за первые ряды. Пацаны, которые прорывались первыми, бросались на стулья и ложились на них, вытянув руки, в ожидании своих товарищей, которые тут же следом и занимали эти лучшие места.

Шум, гам, свист, топот, ругань, возня, мелкие и быстрые стычки. Работница кинотеатра бегала по рядам, пытаясь утихомирить совершенно неуправляемую дикую орду, но, в конце концов, понимала бесплодность своих усилий, шла к дверям и давала сигнал к началу сразу вторым и третьим звонками, нажимая одной ей известную кнопку.

И все вдруг стихало. Свет мигал три раза и гас, уступив место застрекотавшему кинопроекторному аппарату.

Еще немного, еще несколько минут мелькания титров, которые нам были глубоко безразличны, и мы тонули в счастье сопереживания героям, растворяясь в экранных событиях. В зале оставались только возгласы сочувствия, стоны, смех и слезы, крики торжества и радости.

Полтора часа пролетали как один миг. Наши души возвращались в свои тела, и мы неохотно приходили в себя. Нам было немного грустно оттого, что волшебство кино так быстро кончилось, но мы не умели долго горевать и уносили радостные впечатления с собой, вспоминая самые яркие эпизоды фильма и переживая все еще раз.

– Зря Тарзан с этой Джейн связался, – сказал Пахом. – Она же ничего не умеет. А он как дурак катает ее на лианах.

– Тарзану Джейн не пара, Тарзану пара Бара, – пропел Мотя-младший.

– Ну, дурак ты, Пахом, – возмутился Самуил, – Во-первых, он ее не выбирал. Так получилось, что именно она оказалась в беде. Во-вторых, потому и защищал, что она сама себя защитит не могла.

– А если бы на ее месте оказалась дикая Бара, – упрямо возразил Пахом, – было бы лучше. Вот бы они вдвоем показали всем?

– И кому б они что показали? – усмехнулся Витька Мотя. – Тогда бы получился другой фильм и назывался бы он «Тарзан и дикая Бара».

– Вот бы посмотреть! – мечтательно сказал Пахом.

– Ладно, огольцы, хватит хреновину городить, – прервал разговор Монгол. – Мне завтра на работу, вам на учебу. Давай часа через два соберемся на пустыре. Гульнем напоследок. За мной выпивка, а вы несите жрачку, кто что может.

– Я через два часа не могу, – сказал Витька Мотя. –

Мы с батюшкой уголь в сарай таскать будем. Не успею.

– Давайте часа в четыре, – предложил Мухомеджан. – А то я тоже матери обещал сегодня в огороде помочь.

– Ладно, в четыре так в четыре, – согласился Монгол, и все разошлись по домам.

Глава 24

На пустыре. Прощальный сбор. У кого шире клещи? Призвание. Вокал Монгола. Простой гипноз. Грусть расставания.

К четырем часам все, кроме Витьки Моти, сидели на пригорке, с краю от зеленого, не очень ровного поля, куда приходили играть в футбол все пацаны окрестных улиц. Сейчас здесь было тихо и спокойно. В футбол обычно играли или утром или вечером. Иногда только с завода, который начинался сразу за полем и был огорожен кирпичным забором, долетало тарахтенье грузовика, да короткие перебранки мужиков-грузчиков. Приятное состояние ничегонеделания охватило нас томной негой. Мы сидели и возлежали в свободных позах, как римские патриции во время оргий, а перед нами на газете лежали нехитрые дары нашей бедной природы: штук пять некрупных, какие водятся в нашей полосе, но красных помидоров, с десятков огурцов и яблоки, которые мы с Каплунским и Арменом Григоряном, сговорившись заранее, натрясли в саду старика Никольского. Хлеба принес по кусочку каждый, и его оказалось у нас немного, зато у нас была картошка, и мы собирались испечь ее в золе, для чего Монгол заставил Мотю-младшего, Семена и Армена Григоряна собирать хворост, щепки и другой горючий материал, и они, как всегда, с недовольными физиономиями, но беспрекословно ушли за поле и уже таскали в кучу ветки, остатки сена после давнего покоса – все, что попадало под руку и могло гореть.

– Вов, а где брательник-то? Не придет что-ли? – крикнул Монгол Моте-младшему, когда тот как муравей сосредоточенно тащил какую-то суковатую корягу.

– И куда ты тащишь эту оглоблю? Она же не сгорит. Да и сырая, видно.

– Сказал, придет, – ответил Володька Мотя, игнорируя замечание Монгола насчет коряги. – Когда я уходил, они с отцом уже подгребали лопатами последний уголь.

– Ладно! Огольцы, разводи костер. Алик, ты по этому деду мастер.

Мухомеджан, будто только этого и ждал, с удовольствием стал мастерить костер, предварительно расчистив место.

Скоро костер уже дымился, а Мухомеджан, стоя на коленках, дул на слабые язычки огня, пока они ни ожили и начали сначала лизать ветки, а потом, будто распробовав корм, стали жрать его ненасытно. Костер запылал во всю адскую силу.

– Вон Витька идет! – сообщил Мотя-младший.

Витька быстро шел к нам, размахивая руками и улыбаясь во весь рот. Глаза Витьки были черными, как наведенные сурьмой, – угольная пыль въелась в поры рук и в уши.

– Не отмываются. Вечером с мылом помою, – отмахнулся от наших шуток Витька. – Жрать охота. Дома есть не стал, боялся не успеть. Вот, принес.

И Мотя положил на газету до кучи ломоть хлеба, пучок зеленого лука и небольшой кусок сала...

– Картошку не пекли? – спросил он.

Только костер разгорелся, – ответил Самуил и повернулся к Монголу: – Класть?

– Да бросай!

И Самуил стал бросать по одной картофелине в уже образовавшуюся золу. Мухомеджан утапливал картошку длинной палкой, которой поправлял костер.

– Ладно, пацаны, давай выпьем.

Две бутылки дешевого яблочного вина, принесенные Монголом в карманах широких клёшей, лежали среди нашей нехитрой снеди, поблескивая на солнце зеленью стекла.

Я улыбнулся про себя, вспомнив, как из-за того, чьи клёши шире, чуть не подрались Монгол с Мотей старшим,

Новые штаны появились у Моти и у Монгола одновременно к Первому Мая. То есть новые штаны были не совсем новыми, потому что это были переделанные под рост брюки Мотиного отца и брюки, которые Монголова мать, Анна Петровна, достала из оставшихся вещей Мишкиного

отца. Переделывала штаны тетя Мотя, мать обоих Мотей, Витьки и Вовки, и ребята упросили тетю Мотю сделать штаны пошире, для чего той пришлось вставлять клинья из отрезанных кусков. Клинья были одинаковыми, но штаны разные. Мишкин отец, видно, был выше Мотиного отца, также как Мишка выше самого Моти.

На Первое Мая мальчишки, как всегда, всей ватагой шли в горсад, где устраивались праздничные гуляния, где продавали пирожки с ливером, ситро и ириски по три рубля за штуку, а также крутились карусели, работали качели и играла музыка.

И вот прекрасным солнечным днем, когда бледно-зеленые листочки легкой вуалью окутывали деревья и радовали глаз, когда птицы пели гимн пробудившейся жизни, два здоровых подростка, забыв обо всем на свете, на самом проходе тротуара на Московской улице мерили клеши, а мы, пять пацанов с любопытством смотрели и ждали, чем закончится спор.

Клеши Монгола были все же чуть шире, но Мотя не сдавался и тянул штанину изо всех сил, чтобы уравниваться с Монголом. И тот и другой время от времени обращались к нам, чтобы мы подтвердили правоту каждого. Но мы, не желая обидеть ни того, ни другого, держали нейтралитет,

– Ты что, дурак, что-ли? Смотри, насколько у меня шире? – кричал Монгол.

– Монгол, – брызгал слюной Мотя, – тебе очки носить нужно. Смотри!

И Мотя тянул свою штанину.

– Пацаны, скажи, – обращался к нам Мотя.

– Скажи, пацаны, – поднимал на нас глаза Монгол.

– Вроде одинаковые, – пожимали мы плечами.

– Да где ж одинаковые? – кипятился Монгол и уже ненавидящим взглядом впивался в Монгола. У того тоже по-кошачьи суживались зрачки. И уже стали забываться штаны. И уже встали с четверенок Монгол с Мотей. И не миновать бы драки. Но тут вмешался благоразумный Самуил:

– Пацаны, Миш, Вить! Вы же ж меня слушайте! У вас клеши одинаковые.

– Как же одинаковые, если у меня, все видели, боль-

ше? – не сдавался Монгол.

– Правильно, немного, совсем чуть-чуть больше.

– Ты же сказал, что одинаковые, – возмутился Мотя.

– Правильно, одинаковые. Ты же меньше Мишки, и нога у тебя меньше. А у него нога больше, и тот сантиметр, на который его штанина больше, делает ваши клеши одинаковыми.

Монгол с Мотей молча думали, недоверчиво посматривая на Самуила, но Самуил заговорил снова, лишая их сомнения.

– Представляете, если у Мишки на ноге будет сидеть твоя брючина? Тогда получится вообще не клеш.

– Вообще-то, конечно, – стал медленно соглашаться Мотя. – Да мои штаны ему вообще по колено будут.

– Так значит, говоришь, одинаковые? – спросил Монгол Самуила. Самуил развел руками, ничего, мол, не поделаешь.

– Одинаковые? – обратился Монгол свой вопрос к Моте.

– Выходит, одинаковые! – согласился Мотя. Один Алик Мухомеджан так ничего в Самуиловой логике и не понял. Но, видно, долго ему не давал покоя вопрос, почему все же клеши одинаковые, если у Монгола на сантиметр шире, потому что уже в гораду, когда все давно забыли этот случай, вдруг спросил:

– Самуил, а почему одинаковые-то?...

Вино пили из алюминиевой кружки, которую Монгол принес вместе с вином. Всем досталось понемногу. Чуть накали и Моте-младшему, и Сене, и Армену Григоряну.

Разделили Мотино сало на микроскопические кусочки и моментально его проглотили. С аппетитом захрустели огурцами и луком с хлебом. Вторую бутылку оставили под печеную картошку.

– Миш! – спросил я Монгола чуть позже, когда наш голод немного утолился, и мы расслабились. – Миш! Так ты теперь слесарем в автоколонне будешь работать?

– Не, Вовец, все переменялось. У меня оказалось призвание.

– Я ж говорил, что у Монгола голос появился, и он в хоре запекает, – подтвердил Витька Мотя.

– Я с завтрашнего дня в музыкальном училище работать буду, – не обращая внимания на Мотю, продолжал

Монгол. – Наш руководитель с директором училища разговаривал. Меня прослушивали, я им показался, и если бы у меня было семь классов, я бы уже в этом году в училище учился.

Все с уважением смотрели на Мишку. Он чуть помолчал, пережевывая яблоко, и продолжал, прислушиваясь к себе, будто проверяя еще раз то, что было обдумано и оговорено с матерью и было главным для него, судьбоносным.

– Решили, что я закончу вечернюю школу. Директор взял меня чернорабочим. Работа – не бей лежачего. Передвинуть рояль, перенести что-нибудь. Ну и возможность заниматься с первым курсом.

Мы засмеялись, одобряя Мишкину удачу.

– Если буду успевать, на будущий год возьмут сразу на второй курс без экзаменов. А там на первом курсе, между прочим, дяди есть побольше моего. В школе я переросток был, а здесь нормальный. И еще со мной преподаватель будет отдельно вокалом заниматься.

– Это как, вокалом? – спросил Мухомеджан.

– Ну, голос мой будут ставить.

– Как ставить?

– Ну, так говорят у нас. Нужно поставить голос, чтобы правильно пел.

– Так ты сейчас неправильно поешь? – в голосе Мухомеджана было полное разочарование.

– Почему неправильно? – обиделся Монгол. – Я пою правильно. Но я не умею дышать, не знаю, когда звук открыть, когда закрыть,

– Как не умеешь дышать? – испугался неугомонный Мухомеджан.

Пацаны зашикали на него, и он, засопев сердито, замолчал.

– Я умею дышать обыкновенно. А в пении важно особое дыхание, – с удовольствием объяснил Монгол.

– Спой, Миш! – вдруг попросил Изя Каплунский.

– Спой! – поддержал его Самуил.

– Спой! – загалдели все разом.

И Мишка спел. Он был готов петь. Он хотел петь. Он встал, распрямился, и пропала сразу его обычная сутулость, чуть расставил ноги, приподнял подбородок и устремил

взгляд куда-то за поле. Лицо его сделалось серьезным. Так его, наверное, учили в клубе «Строителей». Мальчишки замерли.

И вдруг чистейший лирический тенор зазвучал над полем и понесся ввысь и вширь, повергая нас в изумление и в сладостное состояние любви и всепрощения.

А-а-ве Ма-ри-ия?

Гра-ция пле-на до-ми-нус те-кум.

Бе-не-дик-тус фрук-тус вен-трис ту-и,

Йе-сус сан-кта Ма-рия ма-тер деи...

Пел Мишка на нерусском языке. Никто из нас не слышал прежде этой мелодии. И Мишкин голос мы тоже слышали впервые. Но все это было настолько изумительно, что мы сидели зачарованные и не смели пошевелиться, чтобы не спугнуть это волшебное ощущение нереальности происходящего.

Я закрыл глаза и через какое-то время увидел разноцветное мелькание точек, словно мерцание многочисленных звезд. Мишкин голос зазвучал объемно, пространство расширилось, и я вдруг увидел горе, всеобщее людское горе. Оно плыло над головами, над морем голов. Грузовики, перекрывающие улицы, военные, много военных, белые крыши, снег на головах и на грузовиках. Все безмолвно, все движется, как в замедленном кино, величественно и страшно. А над этим живым безмолвием звучит:

Бе-не-дик-тус фру-ктус вен-трис ту-и

Йе-сус сан-кта Ма-рия ма-тер де-и...

Я пролетел над толпой, будто меня переставили с места на место, проник сквозь стены и оказался в большом траурном зале. Вокруг все красное и черное, и еловая зелень веток; снова военные. И вдруг какая-то сила ткнула меня в постамент, как кошку мордой в молоко. На постаменте, задрапированном красным и черным, стоял гроб, утопающий в цветах, и в гробу лежал человек в военном, лицо которого каждому знакомо с малых лет. Паника и Страх отбросили меня от знакомого лица. А вокруг стояли и колыхались люди, и лица их выражали скорбь. Громче и проникновеннее зазвучал высокий голое:

Ор-а про но-бис пе-ка-то-ри-оус ну-унс эт

Ин хо-ра мор-тис но-стра-э А-мен.

– Когда? – беззвучно и отрешенно забилося мое сознание в вопросе. Огнем запылали цифры, из которых складывался год.

И вдруг всё стихло. Исчез зал. Еще раз мелькнула перед глазами нескончаемая людская масса, заснеженные крыши.

Я открыл глаза. Монгол стоял, опутив голову. Все молчали. Потрескивал, догорая, костер. Каплунский отвернулся, сглатывая комок, подступивший к горлу. Он тихо плакал. Может быть, вспомнил об отце, а, может быть, жалел мать и сестру.

– Мишка, Монгол! – задохнулся от восторга Мухомеджан. – Ну, ты, это... гений!

– Пацан! – донеслось со стороны завода. Несколько голов, выглядывало из-за забора.

– Молодец, кореш! Спой еще! – попросили они.

От дороги слышались хлопки. Это с десятка прохожих свернули на голос. Монгол смутился, повернулся в сторону забора, потом в сторону дороги, показал на горло: «Не могу». Головы исчезли за забором, а люди, свернувшие с дороги, увидев, что певец сел и петь больше не собирается, быстро разошлись.

Возбуждение прошло, но осталось тепло в душе и добро в сердце. То ли от вина, то ли от Мишкиного пения, а скорее всего и от того и от другого, нас пронизывала любовь и теплое чувство счастья. Так бывает в горе, когда слезы облегчили душевную скорбь и очистили душу, и ты готов поделиться со всеми последним.

Монгол открыл вторую бутылку, и мы выпили еще вина, закусывая картошкой, от которой шел пар, разламывая ее, и выгрызая до подгоревшей корочки, перемазывая руки, носы и щеки сажей. Сажа скрипела на зубах, но это было пустяком по сравнению с удовольствием от печеной в костре картошки.

– Аликпер, ты работать идешь, или в школу в восьмой? – спросил Мухомеджана Монгол.

– Нет, хватит, в школу больше не пойду, – улыбнулся беззаботно Мухомеджан. – Меня в котельную берут. Работа грязная, с углем, зато сезонная. А летом лес, рыбалка. А там посмотрим.

– Как же ты диктант завалил? – удивился Монгол. У Монгола с русским всегда были лады.

– Да он в слове «еще» четыре ошибки делает, – беззлбно засмеялся Мотя-старший. – Надо же умудриться, на одной странице шесть орфографических и четыре синтаксических ошибки.

Мотя повернулся к Алику.

– Я ж перед тобой сидел. Когда проверка была, ото-двигался в сторону, чтоб ты посмотрел. А ты, придурок, у-ставился в свой диктант как баран и глаз не поднял.

– Да ладно, чего теперь! – голос Мухомеджана звучал лениво и добродушно. – Да и не хочу я железнодорожником быть. Я природу люблю. Буду зимой готовиться, хочу в «Лесной техникум» поступить. В Брянск поеду.

– Да, это твое, – согласился Самуил и предложил:

– Тебя Каплун подтянет. У него с русским хорошо. В одном дворе живете.

– Да я что? – пожал плечами Каплунский. – Мне не трудно.

– Точно, – оживился Алик. – Каплун, поможешь?

– Сказал же! – подтвердил Каплунский. – Конечно, помогу.

Мы молча жевали яблоки. Все, что можно было съесть, было съедено. Только яблоки еще лежали на газете.

– Как-то получилось, что все по разным местам раз-бредись. Самуил в машинке теперь будет учиться, ты, Мотя, с Каплунским – в железнодорожном, я по музыке, – грустно сказал Монгол.

– Самуил, – обратился Мишка к Самуилу. – Ты держись Толи длинного. Он тоже поступил в машиностроительный. Толя хороший пацан.

– Да мы с ним не очень как-то.

– Вот и покорешитесь. Я ему тоже скажу.

– Да не надо. Там разберемся, – уклонился Самуил.

– Ну, смотри, как хочешь...

– А куда «хорики» пошли? Венька? Жирик? – спросил Армен Григорян.

– Венька на шофера пошел учиться, а Жирик на повара, – ответил Витька Мотя.

– Во, дает, – засмеялся Изя Каплунский. – Еще жирнее станет.

– Зря смеешься, – сказал Самуил. – Нормальная профессия.

– А ты, Каплун, чего не пошел на художника учиться? – в голосе Монгола было сожаление. – Рисуешь ты здорово!

Он вспомнил, наверно, последний рисунок Каплунского. Изя срисовал картину Васнецова «Три богатыря» на лист ватмана, который ему принесла мать. Это была совершенно точная увеличенная копия с небольшой открытки.

– Срисовать, это еще не значит уметь рисовать, – ответил Каплунский.

– Ничего себе «не уметь», – обиделся за Каплунокого Мотя-старший. – Заставь меня срисовать дерево, так я метлу нарисую.

Мы рассмеялись, представив Мотю с красками и кисточкой. Пожалуй, у него и метлы не получится.

– А вот куда у нас Вовец после школы пойдет? – посмотрел на меня Мотя.

– А ему никуда идти не нужно, он колдун, – усмехнулся Мухомеджан.

Сам ты колдун, – обиделся я. – Обыкновенный, как все. Просто иногда могу больше, чем другие.

– Да ладно, не обижайся, Вовец. Это бабки тебя за глаза так зовут. Но уважают, – заступился Монгол.

– В цирк он пойдет. Точно, Вовец? – пошутил Витька Мотя.

– Вовец куда хочешь пойдет. Ему все легко дается. Он ничего не учит, а ему пятерки ставят, – серьезно сказал Монгол.

– Потому что колдун, – Мухомеджан смотрел на меня с усмешкой.

– Смотри, Аликпер! А то Вовец тебе чего-нибудь устроит. Не боишься? – серьезно спросил Монгол.

– А что он со мной сделает? – Мухомеджан с вызовом смотрел на меня. – Что ты со мной сделаешь, Вовец? Превратишь в собаку, как в кино «Багдадский вор?»

Алик засмеялся сухим злым смехом. То ли вино, то ли азиатская кровь и дух предков-завоевателей разыграли в

нем, но он вдруг стал агрессивным и с вызовом ждал, что сделаю я.

На меня тоже подействовало вино, разбудив азарт и всколыхнув задетое самолюбие. И я сделал то, что не стал бы делать при других обстоятельствах. Я посмотрел на Мухомеджана, ощутив при этом физически импульс своей воли. Мне говорили, что в таких случаях у меня меняется цвет глаз, и они из серых становились почти черными. Я на какие-то доли секунды словно парализовал Алика и тут же легким движением рук у его лица погрузил в гипнотический сон, безоговорочно подчинив его себе. Нет, я не посылал мысленные команды, как об этом читал в описаниях гипнотических сеансов. Все было проще. Я знал, чего хочу, и мой мозг подчинялся мне и подчинял чужую волю. И это как-то не обретало форму слова. Это не приобретало никакую форму. Если бы меня попросили объяснить, как я это делаю, я бы объяснить не смог.

Мухомеджан застыл живым изваянием.

– Да ладно, пацаны, кончайте! – встревожился Самуил. – Алик, сядь!

– Он тебя не слышит, – отрывисто бросил я. – Он сейчас слышит только меня.

– Алик, ты сейчас в лесу. Кругом грибы. Видишь? – спросил я.

– Да, – ответил Мухомеджан. Глаза его забегали по траве.

– Собирай! – приказал я.

Алик опустил на корточки и сорвал «гриб», потом второй и пошел по полю. «Грибы» он складывал в воображаемую корзинку. Пацаны чуть не умерли со смеху.

– Вовец, заставь его стать на четвереньки и полаять, – потребовал Пахом.

– Давай, Вовец! Пусть полагает! Чтоб не сомневался, – обрадовался Витька Мотя.

– Нет! – твердо сказал я. – Я просто хочу, чтобы он немного успокоился.

– Алик, – позвал я. – Иди сюда! У тебя уже полная корзинка.

Мухомеджан послушно пошел на мой голос.

– Сейчас ты забудешь все, что с тобой случилось. К те-

бе вернется хорошее настроение, – пообещал я, провел рукой перед глазами Мухомеджана и сел.

Аликпер стоял перед нами, а на лицо его наплывала улыбка. Он сел при гробовом молчании. Все глаза были устремлены на него.

– Вы чего? – испугался Алик.

– Ну, ты что? Ничего не помнишь? – спросил Каглунский.

– А что я должен помнить? – улыбка по-прежнему играла на недоуменном лице Мухомеджана.

– Ты ж по всему футбольному полю бегал, грибы собирал. Хорошо, что Вовец не захотел, чтобы ты лаял, а то бы гавкал как миленький.

– Правда? – посмотрел на меня Мухомеджан. – А еще что я делал? Он чувствовал себя неловко, хотя и улыбался,

– Больше ничего. Настроение хорошее?

– Нормальное.

Алик улыбался.

Подул ветерок, набежали тучи и закрыли солнце. Сразу стало прохладно. Зашумели листьями березки на краю поля, зашелестела трава. Собирался дождь.

– Ладно, пацаны! Пошли по домам. – Мишка Монгол поднялся с травы, остальные за ним...

Праздник кончился. Ушла радость, а за ней и ощущение покоя, но осталось чувство любви и благодарности друг к другу.

Немного грустно было на душе оттого, что кончилось наше беззаботное лето, оттого, что мы не будем теперь так часто видеться как раньше, и немного тревожно оттого, что завтра начнется новая жизнь, а какая она будет не дано знать никакому колдуну...

О своем видении я постарался забыть и не рассказал о нем даже отцу.

Quid est veritas?
 (Понтий Пилат к Иисусу
 Христу.
 Евангелие от Иоанна.)

Часть II ВОЛЬФ МЕССИНГ

Глава 1

Сон или видение? Школа. Урок Английского. Директор Костя. Серый со шпаной. Отпор шпане.

Я видел себя... женщиной. Меня сжигали на костре. Я был привязан к столбу и ждал, то есть ждала, смерти.

Костер разгорался, и уже языки пламени лизали мои ноги. Дым ел глаза, и я поворачивал голову, стараясь увернуться от едкого дыма. Жар усиливался, а когда пекло достигло невероятной силы, я потерял сознание.

После смерти я увидел себя, парящим над костром. Вокруг разливался удивительно красивый золотой туман. Я блаженно плавал в нем, освещенный каким-то неземным светом...

Вдруг я очутился в другом месте. Я увидел себя большой пятнистой кошкой. Самым поразительным было ощущение мягких прикосновений к земле подушечек на лапах. Это были очень необычные ощущения, почему-то они казались мне знакомыми. Мое тело помнило их.

В этот момент я открыл глаза и с удивлением стал разглядывать свои руки. Думал увидеть подушечки на лапах, но это были ладони. Я снова закрыл глаза – видение продолжалось.

Я вышел из джунглей на берег реки. Осторожно ступая по песку, приблизился к воде, чего-то высматривая, подстерегая. Наконец, я увидел больших рыб, прыгнул в воду и стал ловить добычу...зубами и лапой. Рыбалка была успешной. Я чувствовал, как во рту трепещет холодное тело рыбыны. Сжал челюсти – зубы вонзились в чешую, раздался хруст костей, и я почувствовал вкус рыбы, который был мне приятен... В это время картины стали быстро сменять друг друга в обратной последовательности, – и я снова парил

над костром, потом готовился к смерти, наконец, вернулся в свое тело...

Утром я чувствовал себя бодро. У меня было отличное настроение. И, как ни странно, никаких неприятных ощущений после сна у меня не осталось, если не считать легкого крапивного жжения в ногах, которое вскоре прошло.

Я рассказал о своем видении отцу. Ему передалось мое хорошее настроение, и он легко разъяснил все происходящее со мной так же, как и в случае с шаманством, упростив все до элементарных понятий. Это ничего не объясняло, но это не выходило за рамки материалистического восприятия.

– Можно наверняка предположить, что ты когда-то читал об этом или видел в кино, но потом забыл, а в твоём сознании мозг воспроизвел эту информацию в виде причудливых образов.

– Пап, но это было так реально, что я чувствовал жар костра, и у меня до сих пор горят ноги. – Я не стал говорить отцу, что мои ступни до самых щиколоток все еще оставались красными, как если бы я держал их в кипятке.

– Сынок, нет оснований для беспокойства, ты же знаешь, у тебя все ощущения на более высоком психическом уровне, чем у обычных людей. У тебя хорошее самочувствие, и это главное.

– Кстати, – добавил отец с улыбкой. – Мудрецы Востока объяснили бы это реинкарнацией: когда-то твоя душа жила в теле леопарда, потом перевоплотилась в колдунью, которую приговорили к сожжению на костре, может быть, за то, что неудачно лечила какими-нибудь снадобьями. Впрочем, мы с тобой уже как-то обсуждали эту тему.

Мужская школа номер семь, где я учился последние два года, находилась в трех кварталах от нашей улицы и размещалась в отремонтированном наспех двухэтажном здании, длинном и несуразном. Окна первого, кирпичного этажа, почти лежали на земле, а второй этаж, деревянный, выглядел так, будто он предназначался для другого дома, а его по ошибке приставили сюда. А до этого учащихся тасовали как карты и раскидывали по всем существующим в городе школам. Ни нам, ни нашим родителям смысл этих перемещений был не понятен. Видно, у Гороно имелся какой-то свой, и не иначе как стратегический, замысел. В резуль-

тате, к пятому классу я успел поучиться еще в пяти школах. Нас отрывали от новых друзей, чтобы через полугодие или год свести с ними вновь. Может быть, в этом и была стратегия и тактика Горono, дать испытать мальчишкам горечь расставания, чтобы они острее почувствовали радость от встреч.

Все эти переходы и переводы не оставляли особого следа в памяти. Это происходило серо и буднично и кроме досады и слез ничего не вызывало.

Четвертый класс мне запомнился по Семенову. Семенов, тихий тринадцатилетний переросток, в первый день учебы достал на перемене из холщовой сумки, похожей на торбу, с которой ходят пастухи, сверток в тряпках, развернул их и вынул плоский алюминиевый котелок со следами облезлой зеленой краски, открыл его, и по классу поплыл запах вареной картошки. Из котелка шел пар, и Семенов стал жадно есть самодельной деревянной некрашеной ложкой толченую картошку без хлеба. Картошка быстро кончилась, Семенов поскреб ложкой по дну, облизал ее, с сожалением посмотрел на пустой котелок, кинул туда ложку и спрятал его вместе с тряпками в сумку, где лежали тетрадки. Потом мы привыкли к таким обедам. Иногда Семенов ел картошку с хлебом. А ближе к весне он ел хлеб или распаренный горох. Пацаны брали на обед, кто что мог. Чаще всего это был хлеб с маргарином или подсолнечным маслом, посыпанный солью. Старшие ребята носили с собой жмых, могли принести пару вареных картофелин, но толченую картошку в котелке носил только Семенов.

Учителя тоже, наверно, сытыми не бывали, потому что любили задавать вопросы о еде. Я помнил, как Нина Степановна (мы звали ее Мина Степановна или просто Мина), добродушно улыбаясь, спрашивала самых чистеньких, хорошо одетых Миронова, Осипова, Гусева:

– Витечка, что ты сегодня ел на завтрак?

И Витечка Гусев отвечал, морща лоб и закатывая глаза к потолку, вспоминая:

– Яйцо всмятку, какао, булочку.

Семенов с Аникеевым не знали, что такое какао и не помнили вкуса белого хлеба, поэтому слушали Витечку, раскрыв рты.

А позже как-то незаметно вошло в правило, чтобы Нине Степановне утром на стол клали, кто что может. И на учительский стол ложились яблоки, карамель в бумажке, баранка и другие нехитрые подношения. Клали одни и те же ученики, и класс их тихо ненавидел.

На нашей улице, рядом с бывшей синагогой, а потом вторым ремесленным училищем, тоже была школа. В этой школе учились девочки. Иногда по воскресеньям в женскую школу привозили бесплатное кино. Кино показывали по частям в тесном физкультурном зале, народу набивалось много, и взрослых было не меньше, чем детей. Аппарат, установленный прямо в зале на столе, трещал как «кукурузник». Когда заканчивалась часть, на экране появлялись звездочки, полосы, и экран чернел, потом ярко вспыхивал слепящим белым светом. Кто-нибудь у выключателя включал свет, и киномеханик заправлял бобину с новой частью, а зал орал, топал и свистел. Часть заканчивалась всегда неожиданно и на самом интересном месте.

Мы завидовали девчонкам, которые учились в этом красивом двухэтажном здании с физкультурным залом и просторными светлыми классами, и не думали тогда, что нам повезет, и оканчивать среднюю школу мы будем именно в этой школе, а учиться нам придется вместе с девчонками.

Молоденькая учительница Алла Константиновна, круглолицая, с доверчивыми близорукими глазами, простодушная и застенчивая, держать в узде банду из трех десятков четырнадцати – пятнадцатилетних шалопаев не могла. На голову ей сели сразу и бесповоротно на первом же уроке, когда она робко вошла в класс, предварительно протиснув голову в дверь, словно опоздавшая школьница. Класс напряженно замер, и это была первая и последняя тишина на ее уроке. На новую учительницу выжидающе смотрели тридцать две пары хитрых и наглых глаз, обладатели которых имели в своем арсенале бесконечное число проделок и пакостей, способных сломить и не таких учителей, как эта барышня. Барышня прошла к столу, сощурилась так, что носик ее сморщился и прыгнул вверх, оглядела класс и сказала:

– Меня зовут Алла Константиновна. Я буду вести у вас английский. Good morning.

«Гуд монинг, гуд монинг, гуд монинг ту ю, огромная муха сидит на бую», – показал свои познания в английском языке матершинник Валька Себеляев. Учительница залилась краской до корней волос, а класс покатился со смеху. И тут началось такое веселье, что Аллочка (над прозвищем голову долго не ломали), вылетела из класса и вернулась минут через пятнадцать, когда наши глотки охрипли от крика, с директором. Нет, она не побежала жаловаться. Костя сам нашел ее в коридоре у окна со слезами на глазах и с платочком у носа.

Костю ученики боялись. Боялись и уважали.

Вся школа знала, как Костя расправился со шпаной в школьном дворе и не дрогнул при виде ножа....

Шпану привел Серый, которого исключили год назад из шестого класса. Серому шел уже шестнадцатый год, он курил, матерился и постоянно устраивал драки. От него плакали все учителя, и один раз его уже пробовали исключать, но тогда вмешалась милиция, где Серый стоял на учете, и через участкового упростила директора дать ему еще один испытательный срок. Терпение Кости лопнуло, когда Серый пришел в школу пьяным и стал бузить, сорвав занятия в нескольких классах. Вызвали милицию. Серого забрали, и больше он в школу не ходил. А тут появился на спортплощадке с двумя приятелями. Они стали гонять по площадке малышей, с которыми проводила урок физкультуры их классная учительница.

Костя все видел из окна своего кабинета. Кто-то из старших пацанов, прогуливавших урок, рассказывал, как он спрятался за школьными сараями, когда Костя вышел во двор, и слышал, как он попросил шпану покинуть школьный двор, но те и ухом не повели, лишь покуривали и ухмылялись. Тогда Костя еще раз, уже строго попросил убраться с территории школы.

– А что ты мне сделаешь, если не уберешь? – вызывающе спросил один из приятелей Серого.

А Костя хоть и был жилистым мужиком, но ростом, по сравнению с любым из них, не вышел. Да и эти двое приятелей Серого были настоящие блатные.

– Иди сода, покажу! – сказал Костя тихо.

Тот посмотрел на своих дружков, вынул окурок изо рта, а в руке у него блестела финка. Костя ждал.

А дальше все произошло в одно мгновение. Не то что мы из своих окон, но, наверно, и шпана не успела сообразить, что случилось. Блатной лежал с заломленной рукой, а нож валялся на земле. Недаром Костя в разведке служил. Мы видели, сколько у него было орденов и медалей, когда ходили на демонстрацию.

– Марь Николаевна, поднимите нож. Да не бойтесь вы. Теперь он не опасен, – сказал Костя учительнице. Та стояла ни жива, ни мертва, но, боясь послушаться своего директора, двумя пальцами взяла нож и держала его, не зная, что делать дальше. Детишки сбились в кучу и жались друг к другу ближе к своей учительнице.

Костя достал свисток и засвистел. Серый с приятелем растерянно топтались на месте, озадаченные неожиданным поворотом дела.

Услышав свисток, они, не сговариваясь, дунули во все лопатки в сторону забора, перелезли, и только их и видели. А их приятель с завернутой рукой визжал: «Отпусти, падла, больно. Дай уйти, я больше не буду. Век свободы не видать».

Всех троих забрали. Больше никто из нас их не видел.

На учеников, конечно, Костя руки не поднимал, но этого и не требовалось...

В классе воцарилась тишина.

– Ну что? Кто-то хочет ко мне в кабинет? – сурово оглядев класс, спросил Костя.

К нему в кабинет никто не хотел, потому что в его кабинет входили хоть и перепуганными, но нормальными, а выходили красными как после бани и ничего не соображали. Что он говорил им, какие слова, – никто не помнил, но неделю, тот кто у него в кабинете побывал, ходил по струнке и становился шелковым. А уж если Костя вызывал мать или отца, – это конец света. Родителям не позавидуешь, а пацанам ... и говорить нечего.

Все сидели, боясь пошевелиться.

– Я вам не успел представить вашу новую учительницу. Задержался ... А вы ее как встретили? ... Конечно, законы гостеприимства вам неведомы... Новый человек... Жен-

щина. Входит в класс, а попадает в зверинец... Посмотрите на себя! У вас же шерсть растет и клыки лезут.

Ребята недоверчиво и сдержанно засмеялись.

– Ну, вот что, голубчики. Я вас всех как под микроскопом вижу. Знаю, кто здесь верховодит. Что, Аникеев, за Нефедова прячешься? Тебе чтобы спрятаться, шкаф нужно вместо Нефедова поставить.

– Как что, так Аникеев! – привычно затянул Колька Аникеев, стараясь не смотреть на Костю.

– Встань, когда с тобой директор разговаривает! – гаркнул Костя. Аникеев быстро встал.

– Головой скоро потолок проломишь! Какой год-то в шестом?

– Первый. Это я в пятом два года сидел.

– И в третьем два... А ты, Пахомов, что ухмыляешься? Недалеко от Аникеева ушел ...И остальные голубчики. Знаете, кого я имею в виду. Правильно. Агарков, Андриянов, Королев, Себеяев ... Первые кандидаты на вылет из школы.

Пахомов, довольно рослый для своих лет и крепко сбитый, переростком не был, он добросовестно переходил из класса в класс, но энергия, бившая из него через край, не давала покоя ни ему, ни учителям и привела его на «камчатку», где сидели переростки. Среди переростков только трое были второкурсниками Аникеев, Андриянов и Агарков, остальные пришли в четвертый класс после оккупации, навестывали упущенное и не могли дожидаться, когда закончат семилетку и пойдут работать. Некоторые уже брили усы, а у Кобелева на груди росли волосы. Переростки томились с младшими и тяготились школой. И еще они все время хотели есть. Они не отнимали у младших, но клянчили и отработывали «хлеб», заступаясь за тех, кто их регулярно подкармливал.

Нагнав страху и внушив нам уважение к англичанке, Костя, наконец, покинул класс. Внушения хватило ровно на остаток урока, а потом все пошло своим чередом. Класс обнаглел, а бедная Алла Константиновна, добрый и хороший человек, терпела наши выходки и ничегонеделание, в конце концов, махнула на свой предмет рукой и тратила все свои силы только на то, чтобы обеспечить хоть какую-нибудь видимость урока.

В результате, к концу года мы знали хорошо два слова: «фазе» и «мазе», которые произносили по-русски твердо и уверенно.

Глава 2

Симулянты. Покровская церковь. Разрушение. Наваждение. «Попухли». Учитель математики Филин.

На английский мы не пошли. Со стороны Московской доносились взрывы. Взрывали Покровскую церковь. Здравово рассудив, что такое зрелище грех пропустить, мы с Пахомом, Женькой Третьяковым и Генкой Дурневым тихо «смылись» с урока, наказав старосте Женьке Богданову, чтобы он сам придумал, почему нас нет: то ли мы болеем, то ли школьный двор метем. По дороге к нам присоединился откуда-то взявшийся Сеня Письман.

– А ты почему не на уроке? – строго спросил Сеню Пахом.

– Я с вами, – не ответил на вопрос Семен.

– Шел бы ты на урок. Нас и так много, и ты еще под ногами крутишься, – недовольно сказал Дурнев, но Сеню мы не прогнали, и он молча трусил за нами.

Стоял этот красивый пятиглавый храм у моста на берегу реки в самом центре города, был на виду, и мимо него ежедневно ходили и ездили тысячи людей.

К храму привыкли, и посмотреть, как его взрывают, собралось чуть не полгорода. Народ стоял на противоположной стороне улицы и в безопасной близости возле храма. Ближе, чем на сто метров, к церкви не подпускали. Дальше стояло милицейское оцепление, и милиционеры зорко следили, чтобы никто не пересек условную черту. Взрывы гулко бухали где-то внутри уже изуродованного здания с обвалившимися после первого взрыва куполами. Но стены оседали неохотно, с каждым взрывом лишь вздрагивая испуганным животным, и уступая какую-то часть. Глыбы завалили нутро. Пыль толстым слоем окутывала полуразрушенную церковь и медленно оседала на еще непорушенную кладку.

– Хрен возьмешь! – раздался чей-то радостный возглас и вызвал восторженную реакцию. Толпа свистом и смехом встречала каждый взрыв, после которого стены оставались все еще стоять.

– Это вам не барак! – весело хрипел пьяненький мужичонка, получивший неожиданно к своему хмельному заугу еще и зрелище.

– Пятьдесят лет строили, – объяснял интеллигентный пожилой мужчина. Шляпу он снял и держал в руках. Седые его волосы шевелил легкий ветерок. – Стены в пять кирпичей. В раствор белки яиц добавляли.

Мужчину внимательно слушали.

– Правда, неудачно построили центральный купол, и он обвалился. Но стены вечные... А купол потом укрепили.

– Грех это великий, – сухонькая старушка с укором качала головой.

Старух собралось много. Верующие пришли попроситься с символом своей веры, который рушили на глазах. Старушки крестились на то, что еще утром называлось Покровской церковью. Многие плакали.

Взрывы прекратились. Стены, наполовину разрушенные, все же внушительно высились еще, заваленные наполовину глыбами кирпича и цемента. Кое-где виднелись толстые пласты штукатурки с фресками.

За дело взялись рабочие с отбойными молотками. Они влезли на стены и, стоя на них, как на лесах, точь-в-точь, как шахтеры в кино, только каски без ламп, затрещали отбойными молотками. Стены поддавались плохо, кирпич отваливался скорее, чем кладка. Наверно, угольный пласт отваливать легче, чем любой их этих кирпичей.

Заработал экскаватор, но зацепить ковшом мусор не смог, мешали крупные глыбы. Экскаваторщик остановил машину, вылез из кабины и пошел к бульдозеру. Вскоре бульдозер пополз по горе, становясь чуть ли не вертикально, так что бульдозерист почти лежал на спине и рисковал свернуть себе шею. Глыбы поддавались и послушно сдвигались в одно место.

Неожиданно я услышал тихий колокольный звон. «Наверно, в Богоявленской церкви, стоящей как раз напротив, через речку, или в церкви Михаила Архангела, которая

стояла подальше, ударили в колокола», – подумал я. Но нет, звон стал различимей, усилился и шел он от этой, Покровской церкви.

Звон колоколов заглушил все остальные звуки. Заколыхалась толпа и оказалась вдруг подо мной. Только это уже была другая толпа. Богомолки в белых платках со свечками в руках. Неправдоподобно медленно проехала, словно проплыла, карета, запряженная парой лошадей. Мужчины в цилиндрах и дамы в шляпках с вуалями и длинных юбках то ли шли, то ли стояли, покачиваясь из стороны в сторону. Полицейский в белом кителе с золотыми пуговицами и белой фуражке с лаковым козырьком неподвижно стоял у моста. И мост был другой, с чугунными литыми перилами и сходом к церкви.

И тут я увидел храм во всем его величии. Он наплыл на меня или это я приблизился к нему. Золотые купола слепили глаза. Они находились как раз на уровне моего лица и почти незримо колыхались, точно отражение в воде, но казались реально осязаемыми, как в хорошем сне, о котором говорят, «как на яву». В церкви шла праздничная служба. Свет от сотен свечей заливал храм. Батюшка в расшитой золотом рясе и митре беззвучно шевелил губами.

Колокольный звон становился все сильнее. Казалось, в колокола бьют над головой. А потом моя голова сама превратилась в колокол. Она звенела глухо, и лопались перепонки.

И внезапно все кончилось. Так же неожиданно, как и возникло.

– Вовец, что с тобой? Голова болит? – Генка Дурнев с беспокойством смотрел на меня. Я стоял, зажав уши руками, а из носа сочилась кровь.

– Сейчас пройдет, – мои губы плохо слушались меня. Такое ощущение я испытал, когда мне удаляли больной зуб и сделали укол новокаина. Тогда мне было смешно, потому что я никак не мог выговорить слово: губы не слушались меня, а когда я потрогал их пальцами, то будто залез в ступень...

Я провел тыльной стороной ладони по носу, размазав кровь. Но кровь быстро свернулась, и я слюной и платком, как мог, вытер следы.

Экскаватор ревел двигателем, и ковш ползал по горе битого кирпича, нащупывая, где податливее строительный мусор, и захватывал очередную порцию, чтобы отправить ее в кузов трехтонной машины. Кузов оседал под напором высыпанного разом груза и отъезжал, лениво урча, как сытое животное, уступая место другому грузовику.

Трещали отбойные молотки, терпеливо ковыряя рассчитанную на века кладку и отбивая от нее кусок за куском. Народ начал медленно расходиться. Мы вспомнили про школу и тоже заспешили прочь от развалин.

Мы успели к четвертому уроку. Как раз закончилась большая перемена. Мы ввалились в класс и бросились к своим партам, чтобы отдышаться до появления учителя.

– Попухли! – злорадно сообщил Кобелев. – Вас к директору. Я посмотрел на Женьку Богданова. Тот пожал плечами:

– Я не причем. Я даже не успел Аллочке сказать, что вы пошли в поликлинику. Вошел Костя и спросил, где вы. Я сказал, что не знаю.

– Как это не знаешь? – обиделся Женька Третьяков. – Ты же собирался сказать Аллочке, что мы пошли в поликлинику, ну и сказал бы.

– Дурак ты, Третьяк. Если Костя пришел специально, чтобы спросить, где вы, значит, знал уже, что вы симулируете. И я бы с вами вместе за брехню попух.

– Кто заложил? – Пахом обвел класс угрожающим взглядом.

– Да никто! – с усмешкой сказал Аркашка Аникеев, брат того самого Юрки Барана, из-за которого исключили из школы Мишку Монгола.

– Вы же смылись перед самым уроком, а мы все сидели в классе.

Пахом досадливо махнул рукой и уставился перед собой, оставив бессмысленную затею вывести на чистую воду наушника.

– Это кто-нибудь вас видел, когда вы бежали к Московской, – догадался Богданов.

– Конечно, такой кодлой! – согласился Аникеев.

– Сумки взяли? – спросил Генка Дурнев, хотя знал наверняка, что взяли, но на всякий случай откинул крышку парты.

– А как же! – все так же насмешливо подтвердил Аникеев и с явным удовольствием добавил: – Мы с `Кобелем относили.

– Ну, Аникей, ты у меня припомнишь! – вскипел Пахом, даже жилы вздулись на шее. Он тут же готов был сцепиться с Аникеем, но его остановил здоровяк Семенов.

– Да брось ты, Пахом! Тебе бы Костя сказал, и ты тоже, как миленький, понес бы. А ты, Аникей, не ехидничай, – повернулся он к Аркашке? Забыл, сколько раз у тебя сумку отнимали?

– А он как прошлый раз изгалялся, когда у меня Скиф сумку отнял? – обиделся Аникеев. – Забыл, Пахом?

– Ладно, кончайте бузу. Филин идет.

Филин, учитель математики Матвей Захарович с фамилией Филин, которая, очевидно, не имела ничего общего с ночной птицей, седой грузный старик в допотопных очках с толстыми стеклами и гибкими ушками, страдал дальнорзоркостью, поэтому очки висели у него на кончике носа, чтобы иметь возможность обозреть класс поверх их.

Время от времени Филин снимал очки, чтобы протереть кругляшки стекол огромным, больше похожих на полотенце, носовым платком и снова надеть их на кончик носа, тщательно прилаживая, словно зачесывая за уши, гибкие ушки.

Старик давно заслужил себе пенсию и ушел бы, но каждый раз директор уговаривал его поработать еще год, и он оставался, объявляя этот год последним.

Филин набычил голову и оглядел всех поверх очков; бросил журнал на стол, сел и, еще раз оглядев класс, вызвал:

– Пахомов, Третьяков, Дурнев, Анохин.

Мы вразнобой поднялись из-за парт.

– К директору, голубчики, – ласково, с каким-то даже умилением сказал Филин...

Больше всех, как всегда, досталось бедному Пахому. Ему досталось по первое число от тети Клаввы, а потом пришел с работы отец и выдал все остальное.

Третьяк на все расспросы только отмахивался и жалко улыбался.

Семена Письмана никогда не били, но отец, дядя Зяма, долго и нудно читал ему нотации, которые сводились всегда к тому, как хорошо быть ученым и как плохо быть неучем, и приводил в пример дядю Давида, который, благодаря своему уму и учености, стал директором треста стройматериалов.

– Вот, если бы у меня было образование, разве я пошел бы в часовщики. Нет, я не жалею, это очень уважаемая профессия, но это же не одно и то же, что трест стройматериалов.

– И дядя Зяма вздыхал тяжело. Но здесь он немного лукавил, потому что его профессия позволяла неплохо кормить семью из четырех человек.

Так вот, Семену так долго и нудно читали нотацию, что он сказал Пахому, что лучше бы его избили. Пахом посмотрел на него, как на ненормального, повертел пальцем у виска и сказал от всей души:

– Дурак ты, Пися.

У меня после разговора с Костей остался нехороший осадок. Мне было стыдно, и чувство стыда усиливалось от того, что Костя на меня не кричал, просто сказал, что если отличники будут вести себя так, то что же остается делать другим.

– От кого-кого, а от тебя я не ожидал! – молвил грустно Костя. Он отдал мне портфель и сказал, чтобы я сам рассказал все отцу, и добавил:

– Отец – уважаемый человек, а ты его так подводишь...

Конечно, я первым делом рассказал отцу о том, как удрал с английского и о том, как потрясло меня разрушение церкви. Отец не перебивал и молча слушал рассказ о моем разговоре с директором, и, видя в глазах отца вопрос, я сознался, что поступил нехорошо. Этого отцу оказалось достаточно. Матери мы ничего не сказали.

Глава 3

Фотографическая память. Переписка отца с академией наук. Пророческие сны. Конец переписки.

Монгол ошибался, утверждая, что я ничего не учу, а мне ставят пятерки. Уроки я делал. Просто мне давалось все легко. Я обладал фотографической памятью. Пробежав глазами страницу, я мог воспроизвести ее слово в слово. Причем, эта страница так прочно откладывалась в моей голове, что я видел ее перед собой со всеми картинками, точками и запятыми. Получалось, что я не читал книгу, а фотографировал страницы, отправляя снимки с них в память.

Когда меня вызывали к доске, я старался переставить предложения, чтобы не казалось, что я вызубрил урок наизусть.

С математикой у меня тоже проблем не возникало. У меня списывало пол класса, а на контрольной я успевал сделать оба варианта.

В общем, свободного времени у меня оставалось достаточно, и я тратил его на чтение. Отец любил книги, и дома у нас постепенно собиралась хорошая библиотека. Кроме книг классических и религиозного содержания, отец доставал специальную литературу, в которой пытался найти ответы на вопросы, не укладывающиеся в его материалистическое мировоззрение. Он всегда считал проявление моих способностей фактом научно объяснимым и материалистичным, в отличие от его матери, а моей любимой бабушки, Василины, которая видела во мне избранника божьего и молилась на меня.

Читал я все подряд, как гоголевский Петрушка, но, в отличие от литературного героя, я понимал, что читал, любил приключения и обожал Майн Рида, Фенимора Купера, Роберта Луиса Стивенсона, не говоря уже об Александре Дюма с его мушкетерами. Кроме того, меня занимала «Общая психология» и «Анатомия человека», к которым я время от времени возвращался. Книги типа «Экспериментальные исследования мысленного внушения» профессора Л. Васильева меня перестали интересовать после того, как я попробовал как-то вникнуть в научные дебри, ничего не понял, запутался и оставил это...

Отец писал обо мне в Академию Наук, и я помнил некоторые письма с ответами, которые отец мне показывал.

«Я не оспариваю некоторых чудес, о которых говорится. Я, например, полностью признал историчность Иисуса Христа, и есть чудеса, которые можно объяснить; например, эффект передвижения легких предметов, находящихся в создаваемом вашим сыном силовом поле, вполне укладывается в рамки нашей обычной физики – скажем, его можно объяснить законами электродинамики и акустики. Так что, «волшебство» в этом явлении – вовсе не сами факты передвижения, а редкая, необычная способность вашего сына управлять и выработкой магнитных импульсов в организме, и созданными зарядами. Так что, этот феномен вполне материален. Хотя объяснить суть явления еще предстоит. Проф. В. М. Вольштейн».

«Можно думать, что прекращение кровотечения, заживление ран, язв, осуществляемые целителями, происходит также в основном за счет генерируемых или физических полей. Об этих полях и об их роли в жизни и, в частности, в экстраординарных психофизических явлениях, мы ничего не знаем. Исследования этих полей и изучение механизма их воздействия на организм, безусловно, откроет новые горизонты в ряде областей науки, и в первую очередь в медицине. Ю. Кобзев, радиофизик».

Моего отца эти письма утверждали в его вере, у меня же они не вызывали никаких чувств, это были лишь простые рассуждения, которые никоим образом меня не задевали. Я оставался самим собой, и ничего во мне не менялось.

Но однажды отец получил короткое послание от профессора И. Блохина, которое его очень расстроило и настроило. «У меня позиция была и остается твердой: с научной точки зрения в этом феномене ничего нет. Чудесами и мистикой мы не занимаемся», – категорически заявлял профессор.

Для того чтобы стало понятно, о каком феномене идет речь, нужно вернуться назад, к нашему с отцом разговору, состоявшемуся больше года назад. Речь шла о снах, которые отец называл пророческими, а бабушка Василина вещими.

Я помнил, как проснулся в слезах и не находил весь день места, когда мне приснилось подобие «Последнего дня Пом-

пеи» с картины Карла Брюллова. Люди метались, падали, вставали и оставались лежать, а я был одним из них и тоже бежал. Большие строения складывались как бумажные гармошки и оседали бесформенными грудями, более легкие постройки сносило, и они летели как клочки бумаги от легкого порыва ветра. Все горело. Дым и пыль, поднятые до небес, закрывали солнце. Я запомнил ужас, который захватил и парализовал меня. Я хотел проснуться и не мог открыть глаза. Веки, налитые свинцом, заставили меня искать спасения. Я бежал, а на меня валились куски бетона, обломки кирпича, стекло и железо. Я споткнулся, не удержался на ногах, и тут на меня стала валиться бетонная стена. Она раздавила меня. Но я успел закричать... И проснулся...

Я рассказал сон отцу. Отец задумался.

– В прошлом году тебе приснилось извержение вулкана. Помнишь? – спросил отец. – Тебя тогда еще поразило не само извержение, а лава. Ты ее так красочно описывал и говорил, что под лавой гибли люди.

Я кивнул.

– А потом «Правда» сообщила, что 1 Марта того года произошло извержение Везувия, и самые большие разрушения и жертвы принес именно поток лавы? – отец сделал небольшую паузу и посмотрел на меня, словно хотел убедиться, что я слушаю. – Но ты же помнишь, что извержение произошло только через два дня после твоего сна?

Я, конечно, помнил и снова кивнул.

– Потом, уже в сентябре тебе снился ураган, – продолжал отец. – Ты видел шатающиеся небоскребы, говорил, что ветер вырывал с корнями деревья, срывал крыши с домов, переворачивал автомобили. Ты даже говорил о каких-то островах... Через несколько дней мы прочитали в «Правде» об урагане-убийце, прошедшем от Северной Каролины до Атлантик-Сити и Нью-Йорка со скоростью 225 км в час. И все было, как ты видел. Катались небоскребы, срывались с домов крыши. А острова, которые тебе снились, оказались Багамскими островами.

– Я помню, пап. И знаю, что ты хочешь сказать. То, что я видел сегодня, может где-то произойти.

– Да, сынок. И это страшно.

– Так давай сообщим куда-нибудь, пап.

– А для доказательства сошлемся на «Жития Святых» и приведем в пример Сергия Радонежского или Василия Блаженного, а еще лучше на Иисуса Христа.

– Ну почему Христа? Можно сослаться и на предсказание смерти Пушкину.

– Предсказание кем? Гадалкой Кирхгоф. А была еще гадалка Ленорман. Уж тогда нужно вспомнить лучшего из них – монаха-предсказателя Авеля. Он предсказал дни и часы смерти Екатерины II и Павла I, нашествие французов и сожжение Москвы, за что и провел двадцать лет в тюрьме... Все это, сынок, далеко от науки и называется шарлатанством.

– Хорошо. А вот это? – я прочитал на память цитату, которую отец как-то показал мне в одной из своих книг: «Предвидение будущего, не научное предвидение, а интуитивное – существует. Необъяснимо? Да, с нашим нечетким представлением о сущности времени, о его связях с пространством, о взаимосвязях прошлого, настоящего и будущего пока необъяснимо. Мы еще очень мало знаем о взаимозависимости между прошлым и будущим. Должен убежденно заявить, что будущее определяется прошлым и настоящим, и связи эти еще далеко не известны людям».

– Этой цитатой ты сам ответил себе. «Мы еще очень мало знаем о взаимосвязях между прошлым и будущим». А, вернее, ничего не знаем. Это все ничего не значащие слова и не более. А должно быть научное объяснение.

– Хорошо, пап, пусть не поверят, но когда произойдет то, что я видел, они вспомнят про нас.

– И как ты это представляешь? Допустим, прихожу я к парторгу и сообщаю, что в какой-то Восточной стране произойдет на днях катастрофа, а на вопрос, откуда у меня эти сведения, я отвечаю: «Сын во сне видел». Но это бы ладно. В лучшем случае парторг посмеется, в худшем станет рассказывать всем, что Анохин немного, как бы это помягче, не в своем уме. А дальше, если через несколько дней случится катастрофа, кто поверит, что тебе это приснилось? Снам у нас не верят. Предсказаниям тоже. Коммунист и мистика – понятия, мой сын, взаимоисключающие...

Через четыре дня, 7 августа 1945 года «Правда» с возмущением писала о том, что 6 августа американские летчики сбросили на японский город Хиросима урановую бомбу,

нанеся большой урон японскому населению и громадные разрушения городским строениям.

Я ходил весь день как потерянный, проклинал свой страшный дар, а с отцом случился приступ.

Потом отец в очень осторожной форме составил письмо и отправил в Академию Наук СССР. Суть письма составлял вопрос, как современная наука объясняет случаи предвидения. Отец описал два моих сна, опустив последний.

Вот на это письмо мы и получили ответ профессора Н. Блохина, уместившийся в две строчки: «У меня позиция была и остается твердой: с научной точки зрения в этом феномене ничего нет. Чудесами и мистикой мы не занимаемся».

Окончательно добило отца мрачное письмо физика-теоретика Френкеля, которое он получил вскоре. Письмо заканчивалось так:

«...обстановка в науке настолько сложна и опасна для открытого обсуждения этих сложных проблем, что приходится скрывать информацию в стенах лаборатории, хотя лаборатория поддерживается профессором А.Д.Александровым... Поэтому ни в коем случае не следует никому нигде рассказывать...Все будет расценено, как распространение лженауки. Физик-теоретик Френкель».

Это письмо напугало отца. Письмо он сжег и затею с перепиской оставил...

Глава 4

Физгармония. Монгол показывает свое «искусство»

Вечером мы взялись помочь Мишке Монголу перетащить от его соседа Свисткова какую-то музыкальную «бандуру», которая без дела валялась в свистковском сарае вместе с другим хламом.

– Это что, клавесин? – спросил Самуил, когда мы извлекли из сарая на свет божий инструмент размером со школьную парту, похожий на пианино.

– Нет, физгармония, – ответил довольный Монгол. – Видишь, внизу, где у пианино педали, встроены меха?

Действительно, внизу располагались две коробки, похожие на кузнечные меха, которыми кузнец раздувает огонь. Я видел такие в деревенской кузнице, когда мы ездили к бабушке Василине в освобожденную от немцев Брянскую деревню.

– Ставишь ноги на меха и поочередно нажимаешь на них, – охотно объяснял Монгол. – Воздух подается на клавиши и играй себе.

– Как у Чекарева баяна, – сообразил Мухомеджан.

– Точно, – подтвердил Монгол. – Ладно, поперли. Мы облепили физгармонию со всех сторон и, мешая друг другу, потащили инструмент через дорогу.

Инструмент остался у Свисткова после ухода немцев и с тех пор пылился в сарае. Когда мы, преодолев пороги и калитки, затащили, наконец, физгармонию в дом и, тяжело дыша, не хуже этих мехов, когда на них давят ногами, отошли в сторонку, вид наш являл довольно неприглядное зрелище. Одежда покрылась пылью и перепачкалась мелом, а на лицах отпечатались следы грязных пальцев. Мать Мишки Монгола, Анна Павловна, дала нам щетку и чистую тряпку вместо полотенца, и мы пошли чиститься на колонку. Анна Павловна, как всегда, суетилась вокруг нас и уже наливала по стакану козьего молока, что означало ее самое большое расположение. Потом она, решив помыть инструмент, взяла таз с водой, и уже окунула в него тряпку так, будто собиралась мыть пол, а не музыкальный инструмент, но Монгол от греха подальше взялся за это дело сам. Он отжал тряпку до влажного состояния и стал аккуратно приводить свое приобретение в порядок.

Наконец, наступил торжественный момент. Монгол сел на табуретку перед своим первым в жизни инструментом, поставил ноги на меха и стал нажимать на них поочередно, сначала на один, потом на другой. При этом руками он водил по клавишам. Это оказалось не просто, работать одновременно ногами и руками. Стоило Мишке сосредоточиться на руках, как он тут же забывал про ноги. Он раскачивался вслед за движением ног, как истинно верующий еврей на молитве. Мишка хотел показать, чему уже смог научиться в училище, но у него ничего не получалось. И тут ему в голову пришла хорошая мысль.

– Вить, – сказал Монгол Моте старшему, – садись со мной рядом, будешь нажимать на меха.

Мотя взял стул, сел рядом с Монголом и старательно заработал ногами. И все бы было хорошо, если бы Витька не закрывал собой клавиши и не мешал Монголу. Тогда Витька Мотя предложил загнать под физгармонию Мотю младшего и Армена Григоряна, и те, налегая всей массой своих тощих тел, руками стали давить на меха. Дело пошло. Монгол теперь следил только за руками и показал нам несколько аккордов, которым научился. Пацаны ждали большего, чем несколько неуверенных аккордов, и разочарованно смотрели на Монгола. Володька Мотя и Армен устали сидеть под физгармонией и, шмыгая носами и высывая головы, спрашивали:

– Долго еще?

– Ладно, хорош! – решил Монгол и, как бы извиняясь перед ребятами, сказал:

– Упражняться надо. Пальцы развивать.

Мы вышли на улицу.

– Пацаны, в воскресенье в два часа наш хор выступать в клубе Строителей будет, – крикнул из дверей Монгол. – Скажите, чтоб меня позвали. Я проведу.

Я шел и думал, что нелегка Монголова наука, если их за целый месяц смогли научить всего четверем аккордам.

Глава 5

Обрусевший немец Штерн. Анна. Любовь Жорки Шалыгина. Злополучные качели. Разлад.

Еще издали мы увидели толпу напротив моего дома и припустились бегом, чтобы не прозевать того, что там происходит.

– Что здесь, тетя Тань? – спросил я Кустиху.

– Да Жорка Шалыгин пьяный. К Аньке лезет.

Напротив, за высокими воротами стоял крепкий дом обрусевшего немца Ивана Андреевича Штерна. Его предки стали служить России еще при Петре I, поэтому в их роду давно уже перевелись Иоганны и Арнольды, и появились Иваны и Андреи. Иван Андреевич воевал, дошел до Берли-

на, и грудь его украшало не меньше десяти медалей. Но немецкое начало брало верх, и порядок для него являлся основой всех основ. Вымощенный кирпичом двор своего дома Иван Андреевич содержал в такой же чистоте как и сам дом. Работал Штерн прорабом на строительстве и был уважаемым человеком.

В доме у немца жила на квартире дальняя родственница его жены Анна, полненькая светловолосая и белозубая веселая девушка двадцати пяти лет. Анна нравилась Жорке Шалыгину. Жорка мог увлечь занятым разговором, любил пошутить, что нравилось Анне, и она его ухаживания принимала. Иногда они ходили в горсад на танцплощадку, потом он провожал ее домой, и они долго стояли у ее калитки, и на улице слышен был ее приглушенный счастливый смех. И, видно, к Анне Шалыгин относился серьезно, потому что стал реже пить. И Анне Шалыгин, наверно, нравился, иначе бы она до ночи у калитки с ним не стояла.

Жорка осаждал ворота серьезно. Погрохав кулаком в калитку, он стал с разбегу, словно тараном биться в ворота. Потом он полез через ворота. Он подпрыгнул, уцепился за воротину и стал подтягиваться. Один раз он свалился, но снова полез, и ему удалось, наконец, перевалиться через ворота. По ту сторону послышался раздраженный голос Штерна и пьяная ругань Шалыгина. Калитка открылась, и из нее вывалился Шалыгин. Он упал на спину и стал орать, обращаясь к людям:

– Немцы наших бьют!

– Жор, уймись, опять в милицию попадешь! – сказала из толпы тетя Надя. – Иди, проспись!

– Я Аньку люблю, – заплакал вдруг Жорка.

– Анька, выйди, а то утоплюсь, – заорал Шалыгин, размазывая слезы по лицу. И вдруг быком бросился на ворота и стал колотиться об них головой.

– Ань, выйди, а то не уймется. И правда руки наложит на себя, – крикнула за ворота тетя Надя.

Анна, видно, чутко прислушивалась ко всему, что происходило, и слышно было, как она о чем-то спорила со Штерном.

Калитка отворилась, и Анна вышла за ворота. Зрители притихла. Шалыгин, увидев Анну, как-то сразу обмяк, с

минуту смотрел на нее, будто глазам своим не верил, и неожиданно повалился ей в ноги:

– Анюта, не могу без тебя. Делай со мной что хочешь. Убей, а без тебя мне не жить.

– Что ж ты срамишь меня перед людьми? – взмолилась Анна. – Откуда ж ты на мою голову взялся?

Анна заплакала.

– Иди домой. Завтра поговорим.

– Прости меня, Аня? – с надрывом прохрипел Жорик.
– Для меня твое слово – закон!

Шалыгин вобрал голову в плечи и, нетвердо ступая, пошел домой.

Вечером мать спросила тетю Нину:

– Чегой-то Жорка ломился к немцу сегодня?

– Чего, чего? Любовь – вот чего, – усмехнулась тетька Нина.

– Какая ж это любовь, если она видеть его не хочет? А ведь у них, вроде как, к свадьбе шло.

– Ну, к свадьбе не к свадьбе, а любовь между ними была.

– А что ж случилось?

– Да боится она. Шалыгин-то шальной. Вот этой своей шальной удалью он ее и напугал. знаешь, у нас, где удаль, там и дурь. Ну ты что, правда, не знаешь, что случилось в горсаду? – брови тети Нины удивленно прыгнули вверх.

– Ну, знаю, что Жорка с качелей свалился и в больницу попал, – ответила мать.

– Тогда слушай. Я же своими глазами все видела. Мы в то воскресенье с Женькой, Исааковой дочкой, днем в горсаду гуляли. Шалыгин был выпимши, но не сильно. Говорят, от этой своей любви он на руках таскал Аньку по всем аллеям. А она хоть и отбивалась, но хохотала. Наверно, это ей нравилось...

На беду Шалыгину попались на глаза эти чертовы качели. Он купил два билета, но Анька с ним кататься не захотела. Я, говорит, с тобой боюсь, ты отчаянный. Это еще больше раззадорило Жорку, и он сел в лодку один. А мы с Женькой как раз собирались тоже покататься и стояли, смотрели. Шалыгин с шутками и прибаутками стал рассказываться. Сила-то есть – ума не надо. Лодка аж дыбом становилась. Если бы не прутья, на которых она была закреп-

лена, давно перевернулась бы. Прутья бились о перекладину и гнулись. Жорка одурел от восторга и орал что-то вперемишку с матом, продолжая раскачиваться. Народ собрался у заборчика, ограждавшего качели. Даже другие качели остановились, и из них смотрели на Шальгина. Женщины визжали и требовали остановить это хулиганство. А Анька стояла бледная, на глазах слезы, кулачки прижала к груди и что-то шепчет про себя. Появился милиционер и стал свистеть в свисток. Контролерша, наконец-то, подняла тормозную колодку. И тут Шальгин вылетел из лодки. Прутья качелей в очередной раз стукнулись о трубу перекладки, и Жорка не удержался. Руки разжались, и он вылетел из качелей, зацепив шеей прутья; пролетел всю площадку и упал на деревянный штaketник заборчика. Помогло то, что он как-то руками защитился, и туловище скользнуло по забору.

– Ну, Шур, мы думали, после такого Шальгину конец. Народ ахнул. Мы бросились к штaketнику туда, где он упал. А он лежит весь в крови. Кровь течет из шеи, как прутьями зацепил. Смотрим, жив и даже в сознании. Только ругается и держится за шею рукой, а кровь сочится из-под пальцев. Белая рубашка стала алой как флаг, и лежит Шальгин как подпольщик с обернутым вокруг тела флагом. И смех и грех. Мы орем: «Скорую, скорую вызывайте!». Кто вызвал, не знаем, только скорая приехала быстро. Анька поехала в больницу вместе с ним. Рана оказалась не опасной. Просто глубокий порез и содрана кожа. Крови потерял Жорка тоже не так уж много. Она у него свернулась быстро, как у собаки. Никаких переломов. Только два ребра ушиблены. Вот не верь, когда говорят, что пьяному – море по колено. Жорке наложили четыре шва, помазали йодом ссадины, и через два дня он уже был дома.

– А что ж Анька? – спросила мать о том, что ее больше всего волновало.

– А Анька после этого наотрез отказалась встречаться с Жоркой, – заключила тетя Нина.

– Ты знаешь, Нин, а мне жалко. Ведь качели-то, – это из-за нее. Смелость свою доказывал.

– Вот и доказал, дурак!... Аньке-то это зачем? Бабе нужно, что б мужик надежный был. А Жорка баламут.

– Ну, не скажи, Нин. Он токарь пятого разряда. Полу-

чает хорошо. Один, вот и дурит. А женится, еще как жить будут. И по сапожному делу мастер. Пол улицы обувь у него чинит.

– Это ты Аньке скажи, – усмехнулась тетя Нина.

– Ну и что ж, так Анька и не в какую? – в голосе матери было сожаление.

– После этого месяц ходил за ней, на углу караулил, а потом напился и стал ломиться в калитку их дома. Первый раз Штерн сумел уговорить Жорку. Мол, иди проспись, а завтра приходи. Потом немец, он же тоже здоровый, помял Шалыгина и сдал в милицию. А это уже в третий раз.

– Да, Нин, видно здорово она запала Жорке в душу, если он головой на ворота кидается.

– Может и правда любовь, – согласилась тетя Нина.

Глава 6

В кабинете у директора. Военрук Долдон. Майор из военкомата. Ребята получают благодарность. Мать героя Варвара Степановна. Снова бабушка Паша.

Только начался урок математики. Филин сверил журнал и, отметив отсутствующих, стал оглядывать притихший класс поверх своих ехидных очков, угадывая, кого вытащить к доске, чтобы в назидание всем поставить двойку, как вошла директорская секретарша Клавдия Петровна и, извинившись перед Филиным, вызвала:

– Анохин, Пахомов к директору.

– Клавдия Петровна! Зачем к директору? – спросил в коридоре осипшим голосом Пахом.

– А я почему знаю? – отмахнулась Клавдия. И непонятно было, то ли она действительно не знает, то ли не хочет говорить.

В небольшом директорском кабинете кроме Кости сидели наш военрук Иван Данилович или Долдон, как всегда, в военном кителе без погон, но с орденами и орденскими планками, и худощавый, невысокий, под стать Косте, майор-пехотинец (в этом мы разбирались). У майора на груди тоже поблескивал орден Красного Знамени, а три ряда орденских планок радушно расцвечивали китель.

Долдон о чем-то разговаривал о майором и, когда мы с Пахомом вошли, строго посмотрел на нас. Долдона ребята не боялись, а на строевой подготовке отдыхали от уроков так же, как на физкультуре или на английском.

Военрук методично вдавливал нам уставные истины, повторяя их от урока к уроку.

– Защита Родины что?

А мы ленивым хором отвечали:

– Священный долг каждого гражданина,

– Каким должен быть солдат Советской Армии?

– Солдат должен быть честным, стойким и крепким.

– Что должен солдат?

– Беречь Родину как зеницу ока.

– Ну, пошел долдонить, – процедил как-то сквозь зубы Пахом. Прозвище понравилось и затмило прежнее «Данила-мастер».

С уставом Иван Данилович прожил жизнь, потому что был профессиональным военным. Устав был мил его сердцу, а уставные положения звучали для него музыкой. Они были его Моцартом и Бетховенным, и, довольный, чуть не со слезой на глазах, он кивал умиленно:

– Так, так. Хорошо!

Быстро оценив ситуацию, мы вызубрили устав и освободились от всех проблем строевой подготовки. Однажды Долдона из-за нас чуть не посадили. Класс стрелял из мелкокалиберных винтовок по мишени. Заднюю часть школы огораживал невысокий кирпичный забор. За забором лежали школьные огороды, на которых мы трудились, а дальше, выходя окнами во двор, стояла та самая пятиэтажка, на которой было водружено знамя Победы. Когда нам надоело стрелять по мишеням, мы при попустительстве Долдона поставили отрезок ржавой водосточной трубы на попа и стали палить по ней.

Урок еще не кончился, когда во двор влетела молодая разъяренная женщина. Пуля от мелкокалиберного патрона угодила в бутылочку из-под молока, которым женщина собиралась кормить ребенка. Никто не пострадал, потому что бутылочка стояла на столе.

Пуля, потеряв свою скорость, так и осталась лежать среди осколков. Хлопки выстрелов доносились со стороны школы, и женщина, сообразив в чем дело, оставила малыша с бабкой и бросилась к школе. Она готова была разорвать военрука на части, визг стоял такой, что перепонки в ушах готовы были полопаться. На шум выскочил Костя и, узнав в чем дело, увел женщину к себе в кабинет.

Дело замаяли, Долдон получил строгий выговор и остался в школе. Конечно, если бы дело дошло до суда, последствия могли бы быть самыми ужасными.

Мы чувствовали себя виноватыми, жалели своего контуженного Долдона, в сущности хорошего, не злого человека. Жестокими чаще были мы сами.

– Вот, товарищ майор, ваши молодцы, – кивком показал на нас с Пахомом Костя. Лицо его дышало добродушием, которое к нему не шло.

– Это скорее ваши молодцы, – улыбнулся майор.

– Это вы нашли патрон с запиской и документы? – спросил майор, и лицо его сразу сделалось серьезным.

– Пахом открыл было рот и снова закрыл. Он еще не понял, хорошо это или плохо, и чем это грозит лично ему, Пахому.

– Мы, – ответил я, – тоже еще не решаясь сказать, что не мы одни.

– Это достойный поступок советского школьника.

– С нами были еще ребята, – добавил я, решив, что теперь можно.

– Мы знаем. Мы уже говорили с Константином Петровичем. Но сейчас в школе старшие только вы двое. Мы найдем способ поблагодарить тех, кто уже не учится в школе.

– А сейчас, – майор встал и подошел к нам. – От имени родственников погибших и горвоенкомата объявляю вам благодарность. А также благодарю школу в лице директора и всех учителей, которые учат и воспитывают надежную нашу смену.

Улыбка осветила его лицо. Он пожал мне и Пахому по очереди руки. Пахом стоял, раздуваясь от гордости. А кому неприятно, когда его хвалят? Только Долдон ерзал на стуле и явно чувствовал неловкость, наверно, от того, что не научил нас, как полагается отвечать на благодарность, объяв-

ленную командованием. А что мы должны были сказать, кроме «спасибо»? «Служу Советскому Союзу», что ли?

– Но у меня есть еще к вам одна просьба, – майор достал носовой платок, снял фуражку, промокнул лоб и стал протирать внутреннюю окантовку фуражки.

– Вы можете показать место, где нашли патрон и документы?

– Можем, – ответили мы хором. Майор улыбнулся.

– Дело в том, что приехала мать одного из погибших. Мы ее уже отвезли на воинское кладбище, где захоронены останки, в том числе и тех солдат, документы которых вы нашли. Их имена уже пополнили перечень погибших. Но она хочет побывать на месте гибели ее сына.

– Поедете с товарищем майором Сорокиным, – сказал Костя. – Я освобождаю вас сегодня от двух уроков. У вас, кажется, после математики география?

Мы кивнули, а сердца наши переполнялись радостью.

– И учтите. Поступок вы совершили достойный, но о вашем походе в лес мы еще поговорим. Мало вашего брата без рук и без ног осталось? Небось за порохом ходили?

Мы молчали. Пахом нашел что-то интересное на потолке, а я разглядывал шнурки на ботинках.

– Мин в лесах нет, – заступился за нас майор.

– А снаряды? Гранаты?

– Этого добра еще хватает, – мрачно согласился военный.

– Так они ж и подрываются на этом. Снаряды раскручивают, патроны в костер бросают.

– Ладно, на первый раз инцидент, будем считать, исчерпанным, тем более, что ходили вы в лес на каникулах, и школа за вас не отвечает.

За воротами стоял открытый «Джип». За рулем дремал немолодой уже усатый дядька-сержант с красно-желтыми нашивками за ранения и двумя орденами боевого «Красного знамени» и «Славы III степени». При виде майора сержант передернул плечами, как собака после купания, стряхивая сон, и бодро спросил:

– Теперь куда, товарищ майор?

– Давай к пятому заводу. Сразу за заводом частные дома. Я покажу.

Майор усадил нас с Пахомом на заднее сидение, сам сел рядом с шофером.

Остановились возле низкого небольшого бревенчатого домика, на который указал майор Сорокин. Майор зашел в калитку и вскоре вышел с двумя женщинами: постарше и помоложе. Обе в черных платках. У старшей в руках был букет белых хризантем. Мы потеснилась, и женщины сели рядом с нами на заднее сидение.

– Знакомьтесь. Варвара Степановна, вот эти ребята нашли записку и документы вашего сына.

– Да что вы по имени отчеству меня кличете, ей богу. Варя я. А это Поля. Я у нее остановилась. У знакомых в Саратове оказались здесь родственники. И повернулась к нам, прижимая руки к груди.

– Дай вам бог здоровья, детки. Не иначе, как сам Господь вас послал.

Она пыталась обнять нас и поцеловать по очереди. В тесной машине это было неудобно, но она, к нашему неудовольствию, все же дотянулась до нас.

– Ох, как тяжело, когда не знаешь, где твой сын голову сложил. И на могилке не поплакать.

Женщина всхлипнула и стала вытирать глаза концами головного платка. Та, что постарше, которую Варвара Степановна называла Полей, стала ее успокаивать...

Мы нашли траншею и землянку с развороченным накатом и заваленными бревнами.

– Здесь, уверенно показал Пахом.

У Варвары Степановны подкосились ноги, и она, впадая в полуобморочное состояние, почти повисла на Поле, и ее поспешил подхватить с другой стороны майор Сорокин.

Но у самой землянки Варвара Степановна высвободила руки и, оттолкнув Полю, повалилась на травяной холм и завывла, запричитала. В голос. Жутко. До мороза на коже, выплакивая последние слезы.

Она жаловалась сыну на свое сиротское житье, на одиночество. Она жалела сына и жалела себя без него. Она кляла судьбу за то, что она, мать, все еще живет, а он, которому жить бы да жить, лежит в земле. Поля несколько раз подходила к распластанной Варваре, пытаясь поднять ее, и все уговаривала:

– Ну, хватит, Варь. Вставай, пойдем. Хватит.

Но та, цеплялась за траву, не хотела оторваться от холмика у землянки.

И невиноватые майор и сержант чувствовали вину оттого, что стоят здесь живые и невредимые и ничем не могут помочь этой убитой горем женщине.

А Варвара все причитала, и плач ее разносился далеко окрест ...

Я не заметил, как плач Варвары стал удаляться и слился в один сплошной гул. Мои глаза начала застилать пелена, а гул усиливался и все сильнее давил на ушные перепонки. Я хотел зажать уши ладонями, но руки налились свинцом, и я не мог пошевелить ими. Но тут же пелена рассеялась, и я увидел Варю, распластанную на травяном холме. Только это была не Варя. И землянки никакой не было. В стороне от дороги на холме стоял небольшой деревянный памятник, обнесенный деревянным частоколом, выкрашенным синей масляной краской. Вдали виднелось село ... Да это же бабушка Паша! Я не видел ее лица, но почему-то знал, что это она, недавно умершая нищенка, явившаяся мне уже однажды то ли во сне, то ли наяву.

Наверно, я никогда не смогу привыкнуть к этому необычному состоянию невидимого свидетеля несуществующей реальности. Все происходит в абсолютном безмолвии, и все яркое и живое движется в отличие от него очень медленно и кажется совсем нереальным.

Две женщины оттащили бабушку Пашу от могилы и силой увели. Бабушка совершенно обессилила, и ее почти несли. Люди расступились, сочувственно смотрели на нее и плакали...

Очнулся я уже в машине. Пахом испуганно смотрел на меня, а майор Сорокин озабоченно спрашивал:

– Ну, как, герой? Сейчас получше?

– Ничего, нормально, – вяло, с вымученной улыбкой ответил я.

– Это солнце! А я уж испугался. Зову, а ты будто не слышишь.

Тащил тебя, словно статую. У самой машины только стал ногами шевелить.

– Солнцем напекло, – убежденно сказал сержант. – У нас такое часто случалось. Идешь, пыль, солнце так жарит, что плюнь на ладонь – зашипит. Так идешь-то не час, не два, а верст тридцать прошагаешь. Глядишь, кто-нибудь из слабонервных и грохнется в обморок. Ничего, водичкой побрызгают, в обозе пару часов побудет и опять топают.

Женщин высадили у Полиного дома. Майор попросился с ними, пожелал Варваре Степановне счастливого пути и повез домой нас с Пахомом. Нас подвезли к Голощаповскому крыльцу, и джип сразу окружили пацаны. Машины на нашей улице были редкостью. Соседи видели из окон, как мы с Пахомом долго вылезали из машины и майор жал нам руки.

Дома я нехотя поел, лениво отвечал на расспросы матери, полистал учебники и, наконец, взял книгу, которая лежала в зале на столе. «Психиатрические эскизы из истории», П.И. Ковалевский, СПб 1898 г», – прочитал я. Очередная книга, которую где-то выкопал отец.

Некоторые места, казавшиеся отцу важными, он подчеркнул. Я стал читать: «Более интересное и менее понятное в Жанне (Д'Арк) – дар предвидения и предчувствия. Трудно определить, что в передаваемом было правдой и что вымыслом. Со своей стороны мы можем сказать, что такие явления, несомненно, существуют. В них лежит частью та тонкая чувствительность, которая присуща лицам мечтательным с живым воображением, частью – область бессознательного и поныне для нас мало выясненного и непонятного».

Вот еще подчеркнуто: «Мы часто слышим об особенной способности некоторых лиц к предчувствию и даже предвидению... Когда у нас требуют объяснения этому явлению, то мы только находимся сказать, что это есть «особенная неведомая нам способность... Да мы и правы, говоря, что эта способность нам неведомая, потому что она нам недоступна. А кто знает, может быть... этот дар «предвидения» обязан своим существованием особенной способности людей рассматриваемой нами категории к расширению области восприятия ... То что для нас кажется предвидением, для них это будет естественным ведением ... А кто нам может поручиться, что люди не имеют более богатых и нам

недоступных качественных восприятий? Это вполне возможно. В таком случае, в их сознание проникают новые ощущения, нам недоступные и непонятные, которые и создают в них те явления, которые известны у нас под именем предвидения».

– Галиматья какая-то, – мелькнуло у меня в голове. Глаза слипались, я отложил книгу и, не выключая света, провалился в мертвый сон.

В какой-то момент мне приснился сон, яркий и реальный до мелочей, как явь. То есть, это было больше, чем сон. Словно, мне кто-то навязывал некий ход событий, составленных из кусков, но связанный последовательным действием.

Мне опять снилась бабушка Паша.

Сначала в церкви. Она ставит святым по свечке. Долго молится, ее благословляет батюшка...

Бабушка Паша достает из сундука чистое белье, черное платье, черный кружевной платок. Потом сидит неподвижно на кровати, прямая и строгая, во всем черном. Ее застывшее лицо, оттененное черным кружевом, похоже на мумию. Лицо пугает женщину, которая вдруг появляется ниоткуда и зовет ее тихо:

– Бабушка.

Глаза бабушки Паши моргнули, и она чуть повернула голову, давая знать, что слышит.

– Скоро ехать. Надо б поехать перед дорогой. Бабушка Паша послушно встает и идет за женщиной, в которой я узнаю мать Витьки и Володьки тетю Мотю, соседку бабушки Паши...

Бабушка Паша с тетей Мотей едут автобусом. Народу в автобусе много, но их усаживают, уступив место. Они чужие, и на них смотрят с любопытством.

– Извините, вы чьи ж будете? – спрашивает кто-то.

– Она к сыну едет. Похоронен он у вас, – спешит объяснить спутница бабушки Паши и добавляет:

– В войну погиб.

В автобусе становится тихо.

А вот сон повторяет ту же полуявь, которая явилась мне, когда мы ездили с майором Сорокиным и двумя женщинами в лес и показывали место гибели сына Варваре Степановне,

Только плач бабушки Паши теперь явственно слышен и раздирает душу ...

И вот последний отрывок сна. Рослый, плечистый мужчина с усами и усталыми глазами говорит бабушке Паше:

– Я председатель здешнего совхоза. Слыхал я, мамаша, к сыну приехали. Добро. Побудьте у нас, погостите. Если нужно что, не стесняйтесь ... А люди у нас добрые, приветливые.

– Спасибо вам. Мы сегодня едем, – ответила за бабушку тетя Мотя.

– Чего ж так спешите-то? – спросил председатель.

– А плоха я теперь сынок... Домой поспеть надо. Теперь смерти ждать буду.

Бабушка Паша перекрестилась. Потом обратилась к председателю:

– Сынок! ... Я тут денег собрала... на памятник.

Председатель перебил, видно, ему было неловко:

– Да мы, мамаша, не забываем погибших-то. За могилой ухаживаем. Конечно, памятник деревянный...

– Да ты не обижайся, сынок. Могила ухоженная, и памятник хороший... Но ты уж возьми эти деньги. Я всю жизнь копила... Сделай уважение, поставь памятник большой, красивый.

– Много денег-то? – спросил председатель.

– Пять тыщ тут.

Бабушка положила на стол деньги:

– Мне они без нужды. Это для них, для ребят ...

А потом я снова умирал вместе с бабушкой Пашей. Снова летел в бесконечную бездну, снова вокруг все рушилось и разноцветной мозаикой кружилось перед глазами.

Глава 7

Разговор матери с тетей Ниной. Моя бабушка Василина. Сын Николай и невестка Зинаида. Простое решение.

Проснулся я от скрипа половиц и чугунного стука сковородок о плиту. Это мать готовила завтрак. Я вспомнил сон, но, как ни странно, он меня не угнетал. Я выспался и

чувствовал себя бодро. А когда я вспомнил, что сегодня воскресенье и не надо идти в школу, от удовольствия засмеялся. Я не стал вскакивать с постели, как делаю всегда, когда опаздываю в школу, позволив себе еще немного полежать, и даже чуть задремал, но, услышав голоса матери и тети Нины, окончательно проснулся.

– Мы вчера с Юрием Тимофеевичем в «Родину» ходили на «Индийскую гробницу». Я, Нин, так наплакалась. – Это говорила мать.

– А я все никак не попаду. Там билетов не достанешь. Такая очередища. – Это голос тети Нины.

– А нам знакомый Юрия Тимофеевича с работы достал. А так, что ты, разве выстоишь.

– Расскажи, Шур, – попросила тетя Нина.

– Сейчас расскажу, – пообещала мать и залилась вдруг тихим смехом.

– Что? Ты чего Шур? – тетя Нина невольно заразилась материнным весельем, и в ее голосе тоже прорывался смех.

– Перед сеансом пел московский артист Бунчиков.

– Это тот, который по радио поет? – удивилась тетя Нина. – Они еще с Михайловым поют «Нелюдимо наше море». Этот баритоном, а Михайлов басом.

– Этот, этот, – подтвердила мать. – Так ты не поверишь, у него губы подкрашены.

– Да что ты? Как у женщины?

– Ну, не так ярко, но заметно. Я спрашиваю у Юрия Тимофеевича, зачем, мол, это? А он говорит: «Это же артисты. Они перед публикой выступают. И глаза подводят, чтобы ярче внешность была. Освещение-то искусственное, и черты лица, как бы, расплываются».

– И глаза подводят? – ахнула тетя Нина.

Потом мать с тетей Ниной о чем-то шептались. Тетя Нина засмеялась, потом наступила пауза, и тетя Нина снова попросила:

– Ну, расскажи про кино-то?

Я надел штаны и вышел на кухню.

– Привет, жених, – приветливо улыбнулась мне тетя Нина. Я по обыкновению буркнул под нос что-то вроде «здравствуйте» и стал поддавать снизу ладонями носик рукомойника. Я терпеть не мог это тети Нинино «жених».

– Ладно, расскажу, только покормлю своих мужиков, – пообещала мать, и тетя Нина пошла было к себе, но вернулась:

– Да, Шур! Ты знаешь новость-то?

– Какую? – не отрываясь от плиты, спросила мать.

– Жорик-то с Анькой расписались. На ноябрьские свадьбу играть будут.

– Да ты что? – мать оставила сковородку, которую уже взяла за ручку, чтобы снять, на плите и быстро повернулась к тете Нине.

– Добился все же! – мать засмеялась довольным смехом.

– Где же свадьба будет?

– Вроде, у немца, У них места много.

– А жить где?

– А это у него. У Жорки хоть и одна комнатка, но большой коридор и чулан как комната. Можно спальню сделать ... Жорку, Шур, как подменили. Водки в рот не берет. И все с Анькой вместе.

– А что? Я ж говорила, как жить-то еще будут!

– Ну, это ты не загадывай! Все мужики начинают хорошо, да кончают плохо, – тетя Нина засмеялась и ушла к себе.

Из коридора донеслись оживленные голоса тети Нины и Туболихи. Мать направилась было к двери, чтобы посмотреть, что там стряслось, но дверь широко раскрылась, и на пороге появилась бабушка Василина, моя любимая мудрая бабушка, мать отца. В одной руке небольшой узелок, в другой обструганная клюка. Одета она была нарядно и ярко, как одевались испокон веков в деревнях на Брянщине; белая рубаха, расшитая крестом, понева из домотканной ткани и что-то вроде тюрбана на голове, кажется, это называется повойник. Видно было, что бабушка очень устала. Она поискала глазами и перекрестилась на угол, потом поклонилась матери:

– Здравствуй, Шура, здравствуй, детка!

Они с матерью расцеловались.

Увидев меня, она заплакала и стала жадно целовать меня в щеки, в глаза, куда попадала.

Меня всегда раздражали поцелуи, и я считал, что давно вырос из этих телячьих нежностей, но когда это делала

бабушка Василина, я почему-то не чувствовал стыда. Мне было радостно от ее чистой беззаветной любви и хотелось плакать, уткнувшись в ее колени.

Бабушка, почему ты плачешь? – проглатывая комок, подкатиший к горлу, но счастливый, спросил я, высвобождаясь из ее объятий.

– А жалок ты мне, дитенок! И все вы мне жалки, – заключила Василина и передником вытерла голубые, как васьильки, но поблекшие и затянутые мутью глаза.

Вышел отец, и они обнялись.

– Как же ты добралась одна? – удивился отец.

– А пешком, – просто ответила бабушка.

– Через весь город? – у отца приподнялись брови.

– А ничего! Где посижу, отдохну. Помаленьку. Да здесь всего верст шесть будет.

Отец увел бабушку в зал, и они о чем-то долго говорили вдвоем. Потом отец говорил тихо с матерью на кухне, а я сидел с бабушкой. Мать что-то возражала, в голосе отца появилось раздражение, и он стал что-то выговаривать ей. Затем все быстро успокоилось.

– Бабушка будет жить с нами, – объявил отец. Мое сердце радостно запрыгало, и я прижался к бабушке Василине.

Вечером я рассказал о своем видении и своем сне. В глазах матери как всегда отразилась тревога, а отец, конечно, попытался найти естественное объяснение, которому, наверно, сам уже не верил:

– Это все твоя сверхвпечатлительность. И сверхъестественного здесь ничего нет. Просто ты близко к сердцу принял смерть нищенки, вот тебя и преследуют те видения, которые ты бессознательно рисуешь в своей голове.

Бабушка объяснила все иначе и проще:

– Вова, дитенок! Это душа ее не может успокоиться и обращается к тебе, божьему человеку, просит успокоить ее. Ты видел могилку сына ее. Значит, есть она. Это она тебе ее показала. Надо бы родственникам ее съездить туда, да ты говоришь, нет у нее никого... А я вот что сделаю. Я помолюсь за упокой ее души, свечку поставлю. И за упокой его души тоже помолюсь.

– Скажете тоже, мама! – недоверчиво фыркнула мать. Отец промолчал.

Бабушку поместили в каморку с Олькой. Она немного посидела еще с отцом и матерью, потом все позавтракали картошкой с квашеной капустой из нового засола и попили чаю. Бабушка есть не стала, только попила чаю с баранками и с колотым сахаром вприкуску и легла.

Вечером, когда я с улицы пришел домой, бабушка позвала меня:

– Вова, дитенок! Ноги болят, спасу нет. Посмотри, милоч.

Я приподнял одеяло до колен. Ноги распухли, вены вздулись. Это были даже не ноги, а что-то бесформенно толстое с красно-фиолетовым оттенком.

– Зачем же ты пешком шла? – опросил я. – Как же им не болеть? И без того маешься ногами, да еще пешком.

– Так, так, дитенок! – согласилась покорно бабушка.

Я стал водить руками от колен к ступням, потом попросил прикрыться рубахой, откинул одеяло, и руки мои поднялись чуть выше. Я чувствовал, как поток энергии шел к рукам и через руки к больным ногам бабушки, для меня этот поток был видимым, как и свечение вокруг бабушкиных ног с лиловым оттенком и множеством темных сгустков. Это мерцающее разноцветье медленно светлело, и лиловый оттенок менял свой цвет, становясь бледно-голубым. Сгустки оставались, но из темно-красных превратились в розовые. Я с радостью заметил, что опухоль спадает. Ноги стали приобретать нормальный живой цвет, а вены уже не выступают столь уродливо, а прячутся под кожу.

– Ну, как, баб? – спросил я, накрывая бабушкины ноги одеялом.

– Ангел, ангел божий! – повторяла бабушка, а глаза ее сияли тем счастьем сошедшей благодати, какое она всегда испытывала после общения с Богом, молясь усердно и искренне, как это делают только истинно верующие...

После того как я залечил гноившуюся рану на ноге деревенского мальчика Ванятки, чего не смогла сделать сама бабушка, умевшая лечить заговором, она совершенно серьезно зачислила меня в святые.

– Бог тебя отметил, дитенок! Он избрал тебя из многих. Недаром Аноха зовется «божий человек».

И бабушка попыталась поцеловать мне руку, но отец строго сказал:

– Это еще что, мама? – у отца даже голос изменился. – Чтоб я этого больше не видел. Никто его никуда не избирал. Парень как парень. А если у него такие способности, то Бог здесь не причем. Такие факты призвана объяснять современная наука.

Бабушка согласно кивала головой, но, конечно, оставалась при своем мнении.

В тот раз на родине отца, в глухой Брянской деревушке, куда отец повез меня с матерью после освобождения Брянской области, состоялась моя любовь к бабушке Василине. И эта любовь незримо и прочно соединилась с чувством любви к Родине, потому что там, в этой глуши меня сразили наповал дикие, уходящие в бесконечную даль и теряющиеся за горизонтом Брянские леса, и ручей вокруг холма, на котором строился новый дом, потому что в деревне, после партизанского противостояния немцам остались лишь обгорелые остовы печей, да землянки, в которых люди жили, как кроты.

Там, в бабушкиной деревне я налился вдруг силой и понял, что другой такой земли в мире больше нет и не будет.

Жить в деревне с каждым годом становилось все тяжелей. И через год отец привез из деревни брата с женой, потом приехала младшая сестра, а за ними потянулась постепенно другая родня. А когда умер дед Тимоха, бабушка заколотила дом и тоже подалась поближе к детям...

Боль отступила, и Василина, освобожденная на время от страданий, забылась коротким сном, а проснулась с мыслью о сыне Николае и невестке Зинаиде, у которых жила все это время. О разговоре, который возник у них перед тем, как «отфутболить» ее к Нюрке, она не знала...

– Вези матку к Нюрке, – сказала Зинаида мужу, когда они легли спать. – Пусть у нее поживет.

– Что так? – удивился Николай.

– А сил никаких моих больше нет. Уже что зря вытворять стала. – Зинка приподнялась на локте, пытаясь в тем-

ноте определить выражение лица мужа. – Опять кастрюлю с супом перевернула... Тряпку на плиту положила. Никак не пойму, откуда гарь идет. Глядь, – тряпка горит.

Зинка проглотила слюну, пытаясь справиться с обидой, комком застрявшей в горле. Не справилась и сквозь слезы добавила:

– Тарелки. Все тарелки перегрохала.

Николай нашарил на тумбочке папиросы и, чиркнув спичкой, закурил. Свет на мгновение ослепил Зинаиду, и она закрыла глаза. Хорошо взбитая перина нежила ослабленное тело, и резче обозначалась усталость, а мозг требовал сна, но взвинченные нервы не давали покоя, и Зинаида долдонила свою навязчивую мысль, вбивая ее в голову мужа:

– Почему все ты? В конце концов, у нее есть еще две дочки и сын. Пусть у них о матке тоже голова болит.

– Квартиру-то мы с матерью вместе получили, – подал, наконец, голос Николай. От сильной затыжки его лицо вспыхнуло красным огоньком и, мелькнув двойным подбродком и мясистым носом, погасло.

– А мы с ребенком и без матки получили бы. – И замолчала, ожидая, что скажет теперь Николай.

– К Нюрке нельзя, – стал сдаваться Николай. – У нее одна комната.

– Ну-к что ж? – повеселела Зинаида. – Не танцы же они там будут устраивать.

– Так Нюрка с мужиком живет, – удивляясь Зинкиной тупости, сказал Николай, поворачивая к ней голову и забыв затынуться папиросой, а она уже еле мерцала, не раскуренная.

– А он там не прописан! – бойко ответила Зинаида.

– Для того чтобы с бабой спать, прописки не требуется, – резонно возразил Николай.

Зинка почему-то обиделась, но дулась не долго, потому что надо было доводить дело до конца.

– Тогда к Тоньке, – подумав, решила Зинаида, – у них тоже две комнаты.

– Ага, а девки не в счет? А Верка, Федькина племянница? Между прочим, беременная ходит.

– Да ты что? – засмеялась Зинаида. – В самом деле?

– Ну-у! Тонька мне вчера сама оказала. – И уж, говорит, ничего сделать нельзя.

– Во, девки пошли! Соплячка ж еще совсем.

– На это ума не надо, – буркнул Николай. – Семнадцать лет по нонешним временам самый для этого подходящий возраст.

– Сиди, губошлеп, – ткнула мужа в бок Зинаида и поинтересовалась:

– Сказала хоть от кого?

– А чего говорить-то? С кем ходила, от того и брюхо.

– Это милиционер-то этот?

– А то кто ж?

– Не отказывается хоть?

– Попробовал бы отказаться, – Николай глухо, как в бочку кашлянул. – Уже родителям написал, о свадьбе сговариваются.

– А где ж жить-то будут?

– Говорят, ему квартиру обещали, как женится.

Удовлетворив свое женское любопытство, Зинаида вернулась к старому разговору:

– Так что с маткой-то? – спросила она.

Уж тогда давай к Нюрке, – решил Николай. – Нюрка младшая. Мать ее любит больше всех.

Зинка успокоилась и быстро уснула. Она свернулась, как кошка, калачиком, уткнув голову в плечо мужа и обняв его руку. И в еще некрепком сне сладко причмокивала губами, пухло втягивая их и невнятно что-то договаривая уже во сне...

В разговоре с матерью отец возмущался, ругал Николая и его жену Зинку, а мать поддакивала, соглашаясь с отцом.

Глава 8

Память Василины. Папоротник. Дети. Зинкина ярость. У дочки Нюры. Антонина. Не нужна.

Старую Василину давно донимали ноги и мучила бессонница. Ноги грызла ревматическая боль. Невестка и дочки называли это отложением солей, а врачиха называла по мудреному, но, как не называй, ноги болели, и никакие растирки не в силах были помочь. «Отрезать, да собакам бро-

силь», – шутила Василина, когда ее спрашивали про ноги, сочувствуя.

Она лежала с открытыми глазами и терпеливо ждала, пока сон возьмет ее, но сон не брал и, как всегда, перебирала Василина по кусочкам свою жизнь, не сетуя на судьбу, с философской покорностью принимая все, что судьба ей назначила, и выжимая из этого те крохи счастья, которые на ее долю выпали. И получалось так, что эта скудная доля хорошего заслоняла все плохое, которого было в ее жизни значительно больше.

Бабушка мне рассказывала про прадеда Кондрата Сидоровича, угрюмого и свирепого в трезвости, развеселого и щедрого до последней рубахи в пьяном виде мужика.

Когда ее батька, а мой прадед Кондрат Савельевич вываливался из кабака, то пьяно орал:

– Эй, залетные!

И залетные, ватага деревенских ребятишек, приученных уже дурной Кондратовой причудой, «подавала» с гиком небольшие сани, в которые сами и впрягались, и шумно возили дядьку Кондрата на потеху деревне, возвещая:

– Галеевский царь едет!

«Галеевский царь» важно восседал в санях и царским жестом раздаривал конфеты и пряники, выгребая их из обширных карманов овчинного тулупа и разбрасывая горстями налево и направо.

Вспоминая тот стыд и страх, который она принимала за батьку, Василина горько улыбалась.

Их дом стоял на пригорке, как-то особняком от деревни. Чтобы подняться к дому, нужно было спуститься в небольшой овражек и перейти по бревну неширокий ручеек. Бабушка всегда улыбалась, когда вспоминала пьяного батьку, который сколько раз возвращался с песнями домой, столько раз, оступившись, купался в этом ручье.

Овраг окружал дом с трех сторон; с четвертой стороны, за огородами, было поле, а сбоку, через овраг, сразу за березовой рощицей начинались леса, Брянские леса, уходящие в необозримую даль, закрывающие горизонт, заполняющие весь видимый простор.

Бабушка рассказывала, как в этот лес они с подружками бегали по грибы и ягоды. Спускаясь в овраг, чтобы вый-

ти к березняку на противоположенной стороне, они шли протоптанной тропинкой среди зарослей папоротника, который особенно буйствовал у ручья.

Я помнил этот овраг, от которого тянуло подвальной сыростью, но он ласкал прохладой перегретые солнцем тела, и летний зной был воистину райским уголком, тенистым от густых крон разросшихся кленов с черными бархатистыми стволами, тонких и сочных рябин, и пышных, как купчихи, раakit.

Папоротник. Он остался милой бабушкиному сердцу памятью и виделся, как спутник детства и свидетель той далекой жизни со всеми ее тревогами, поворотами, радостями и надеждами, которая пролетела мгновенным сном, и иногда ей казалось, будто сама она в этой жизни посторонняя, словно волшебная птица Симург взмахнула крылом, приоткрыв на миг простор чужой чьей-то жизни, и снова закрыла, завесив ночью и пустотой, словно перечеркнув все, что было.

Папоротник частот снился во сне и мне, тропинка через овраг вставала перед моими глазами, как на яву, и я ясно видел сочную зелень папоротника, раздвигал его руками, шел через ручей и взбирался по крутой тропе к березняку. Мне всегда снились цветные сны, в отличие от бабушки Василины, которая цветных снов не видела, но папоротник ей снился тоже зеленым...

Кондрат Сидорович сгинул в японскую, оставив трех девок и двух ребят на материных руках. Кормильцем семьи стал старший брат Петр.

Деревня пьяно плясала, когда Василина выходила замуж за Тимоху, работающего, но бедного мужика, способного ко всякому, но особенно к плотницкому делу.

Тимофей пришел жить к ним, и они стали потихоньку строиться на том же холме, рядом с родительским домом.

А через год, когда она родила первого, Федю, деревня опять пьяно плясала, только веселья уже не было. То тут, то там начинала биться в голос будущая вдова. Бабушка помнила пьяного Кириюху. Он ожесточенно бил пяткой, обутой в лапоть, в землю и, поводя руками по сторонам, как-то отчаянно, осипшим голосом орал:

Ты не лей по мне, Матрена, -
Слезы лишние.
На Ерманскую войну
Гонют тышшами.

А в мутных глазах угадывалась тоска, и проступали слезы.

Изба осталась недостроенной, и бабушка часто заходила в свой новый дом, чтобы поплакать без свидетелей, ходила по неубранным стружкам и молила Бога, чтобы отвел смерть от Тимофея и брата Петра.

Бабушка совершенно серьезно говорила, что раз в год на Ивана Купалу папоротник цвел, и, если сорвать его ровно в полночь, то откроется клад. Об этом, замирая от страха, рассказывали полупшепотом подружки; а раньше бабушка Василина слышала об этом от бабушки Фроси, когда собирались у нее на посиделки вечерами и кто-нибудь заводил упоительно-жуткий разговор о нечистой силе.

В деревне все верили, что Васька Ермаков разбогател через цвет папоротника...

Мой дед Тимоха пришел домой с простреленной ногой. Была задета кость, и нога долго не заживала. Так он и остался хромым. В непогоду нога донимала ноющей болью, словно кто водил по оголенной кости рашпилем.

Бабушкин брат Петр с войны не вернулся.

Дети пошли один за другим. Сначала Марья, потом Алексей, Иван, Авдотья. Двенадцать человек. Дарья и Авдотья жили отдельно, своими семьями. При ней оставалось четверо: Антонина, Николай, Нюра и Юрий, которого она звала Егором. Этих уберегла. Эти были младшие. И всю войну находились при ней, кроме Егора. Егор воевал и вернулся контуженный, но живой. Да и эти, Антонина, Колька и Нюра, хоть и были при ней, но ходили в партизанах, и она нянчилась с Тонькиными девками, Валькой и Катькой.

Четырех отдала фронту, а вернулся только один. Иван и Алексей погибли, один под Сталинградом, другой в чужой стороне, когда уже война шла к концу. На них она получила похоронки. А Федор, первенец, любимый Тимофеев сын, пропал без вести. Но бабушка все надеялась и верила, что он жив и мыкает горе в плену. Ждала, пока шла война, и потом ждала, что объявится. И сейчас в глубине души ве-

рила, что где-то на чужбине Федор мается, тоскует по Галеевке, не может вернуться, потому что держит его что-то там, и не может он дать весточку, знак о себе. Грунюшку и Васятку унес тиф. Катя умерла от простуды. Это было давно, еще до рождения Антонины, которой уж, считай, самой за тридцать будет.

Но у нее в живых осталось еще шестеро детей. Трое здесь. Марья, самая старшая, далеко, на Камчатке, у самой скоро внуки будут. Изредка приходит письмо на Антонину, где Марья спрашивает, жива ли еще мать, и поклон передает. Авдотья, та живет в Запорожье. Тоже пишет, тоже про мать спрашивает.

Бабушка часто молилась, и я слышал, как она шептала: «Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владыко, прости беззакония наша; Святыи, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. Господи, помилуй»...

Утром бабушка Василина рассказала за столом, как Николай с Зинкой отвезли ее к младшей дочери Нюрке, как она попала к Антонине, а потом пришла к нам...

...В воскресенье, пока Николай спал, Зинаида стала готовить завтрак. Дочь Алевтина тоже еще спала.

Часов в девять встал Николай, и Зинаида принялась тормошить Алевтину, которая, судя по открытому рту и сладкому посапыванию, спала крепко.

Бабушка Василина уже поднялась и сидела в комнате на диване, ожидая, когда ее позвут есть.

За столом Зинаида была не в меру оживлена, стараясь угодить Василине, и подсовывала ей лучшие куски, но та, казалось, этого не замечала. Она вообще была к еде равнодушна и ела мало, все больше чай, да молоко, когда было.

Николай уткнулся в свою тарелку и, не поднимая глаз, с аппетитом уплетал картошку с огурцами. Зинаида поняла, что Николай нужного разговора все равно не начнет, и решила сделать это сама.

– Мам, а мам! – весело позвала она. – Что, если мы тебя свезем к Нюрке? У нее поживешь чуток!

Василина оставила кружку с чаем и захлопала подслеповатыми глазами, силясь вникнуть в слова невестки и понять, шутит она или что? Зинка доброжелательно вертелась

возле нее и делала вид, что ничего особенного не случилось. Василина вопросительно посмотрела на сына, и тот, поерзав на стуле и неловко откашлявшись, поддержал Зинку, будто разрешил:

– А чего? Поживи. У Нюрки тихо. Сколько уж у нее не была?

Василина молчала и словно чего-то ждала. Николай невольно отвел глаза и, обращаясь к Зинке, поспешно добавил:

– Надоеет у Нюрки, назад заберем.

Василина, ни слова не проронив, пошла в свой угол, где стояла по-солдатски тощая железная кровать, на которой она часами неподвижно сидела, шевеля губами, занятая своими мыслями. Она вспомнила, что вчера вечером сын с невесткой в разговоре, отрывки которого до нее доносились из их комнаты, часто поминали ее, и теперь догадывалась, что невестка затеяла этот разговор, кончившийся для Василины неприятностью. Но на невестку не обижалась (понимала – мешает), хотя и не любила ее. Не могла смириться с тем, что Колька, ее сын, самых что ни на есть партизанских кровей, привел в дом дочку полицаая Сеньки Шулепы. Конечно, дети за родителей не ответчики. Да и Сенька свое получил – восемь лет дали. И разумом Василина это принимала, и зла у нее против Зинки не было, но сердцу приказать не могла. Для нее вся порода Сенькина была навек проклятая.

Когда Николай заглянул в комнату, где стояла кровать матери, он увидел, что мать собирает в узел свои вещи. На кровати лежал образ Николая Угодника, который стоял обычно на шифоньере, в углу, потому что Зинаида вешать икону на стену не разрешала.

На диванчике сидела Алевтина и, насупившись, следила за бабкой. Она покусывала губы, чтобы не зареветь.

Николай, ничего не сказав, повернулся и пошел на кухню, где Зинка мыла посуду.

– Мать укладывается, – сказал он хмуро.

– Сейчас поедем, – не поняв его настроения, бросила Зинка.

– Вроде как-то нехорошо! – сморщился, как от зубной боли Николай.

– А мне хорошо? – Зинка с силой бросила мокрую тряпку в раковину и в сердцах громыхнула кастрюлей. И вдруг тоненько, по-собачьи, заскулила, загундосила:

– Тебе, черту, что? Пришел, пожрал и во двор с мужиками в домино. А я дома с маткой твоей. Во все дырки нос сует. И все подкальывает, все с подковырками. Ну-ка попробуй. Это не так, и то не этак. Она же меня всю жизнь ненавидит, я знаю. А я ее должна терпеть? Накось вот, выкуси! – сунула она кукиш из гладких, толстых, как сардельки, пальцев к носу Николая.

Тот столбом стоял посреди кухни и хлопал глазами, даже не пытаясь остановить поток кипящих злобой слов распаленной Зинаиды. Но, когда Зинаида сунула ему в нос кукиш, его лицо начало наливаться кровью, и желваки от сильно стиснутых зубов заходили по скулам.

Зинаида спохватилась и, гася мужнину ярость, бросилась ему на грудь, с безошибочной женской интуицией мгновенно определив ту единственную манеру поведения, которая не даст разразиться скандалу, и разрыдалась.

– Ладно! Будет, будет! – стал успокаивать ее Николай и, снисходительно похлопав, словно телку, по боку, отстранил от себя.

– Я ж не враг какой твоей матке, – всхлипывая, выговорила Зинаида. – Пусть хоть с месяц побудет у Нюрки. Дай мне-то передых.

Часам к одиннадцати собрались. Алевтину с собой брать не стали, и она, надув губы, пошла реветь в комнату.

Василину с узлом запахнули в трамвай и с трудом влезли сами.

Нюрка жила в двухэтажном деревянном доме на втором этаже. Узел тащила Зинаида, а Николай вел мать по шатким ступенькам, поддерживая под руку.

На звонок никто не ответил, и Николай, пошарив под половиком, достал ключ и открыл дверь. Ждать Нюрку не стали и, оставив Василину, уехали.

Осмотревшись и разобрав узел, Василина села на диван. Комната у Нюрки была небольшая, но все как у людей. И диван, и зеркало, и на полу красивые дерюжки. Шифоньер отделял диван от Нюркиной кровати, которая стояла за дверным выступом, и получалось что-то вроде отдельной

спаленки. У Кольки, конечно, побогаче. Василина вспомнила вазу, которую приволокла Зинка и поставила в коридоре, в углу, возле комнаты, где она спала с Алевтиной. Когда проходишь мимо, она шатается и глухо звенит, будто грознится. Лишний раз из комнаты не высунешь, чтобы не зацепить, да не разбить. Глаза-то еле видят. А днем девку покормить надо. Маленькая все ж, все подать нужно. Как теперь будут?.. Да вертлявая очень девка-то. Так из рук все и выбивает. А они, руки, и впрямь, что крюки. Вот и выходит, то тарелку, то стакан расшмакаешь. А Зинка, когда придет к обеду, когда нет. Теперь, хошь не хошь, придется ходить каждый день. Алевтинку-то кормить. Назовут же, прости Господи, басурманским именем. Батюшка крестить под этим именем и то отказался. Катериной нарек.

Зазвонил звонок, и Василина с крехтом стала подниматься с дивана. Пока она дошла до двери, звонок еще позвонил два раза, сначала коротко и резко, словно бранился, потом нетерпеливо и требовательно.

– Господи, – переполошилась Василина и никак не могла справиться с замком.

– Мам, ты? – спросила Нюрка из-за двери, и в голосе ее было беспокойство.

– Я! Я это, Нюр! – поспешила отозваться Василина.

– Ты крути ключ-то в другую сторону, вроде закрываешь. Он, замок, у нас наоборот поставлен, – объяснила Нюрка. Замок, наконец, поддался, и дверь открылась.

– Ты как приехала-то? – спросила Нюрка.

– А на трамвае. Колька привез. Совсем я. Буду у тебя жить теперь.

– Как так?

– А так, что там ненужная стала. Мешаюсь я там.

– Ну, гад ползучий! Ну жлоб ... – Нюрка захлебнулась от возмущения. – А все Зинка, паразитка. Ее это дело.

– Мам, ты что, лежала, что-ли, на диване-то? – бросив взгляд на сбитое покрывало, обиженно сказала Нюрка. – Хоть покрывало-то сняла бы.

Василина неловко сползла с насиженного места и устроилась на стуле. Нюрка свернула и убрала покрывало в нижний ящик шифоньера.

Сожитель пришел к ночи, когда Василина уже устроилась спать (Нюрка постелила ей на диване), и все вздыхала и ворочалась, приспособливая свои кости к новому месту. Он, по всему видно, был на сильном веселе, потому что фордыбачился, пытался петь, и на кухне что-то гремело и падало, а Нюрка все уговаривала его и о чем-то просила. Потом Нюрка вела его мимо Василины, придерживая за бок, а он старался идти на цыпочках, приложив палец к губам, будто приказывал себе не шуметь.

В Нюркином углу какое-то время слышалась возня, предостерегающий Нюркин шепот и даже отпечатался звонкий шлепок по голому телу, потом все стихло, и Василина услышала мерный храп.

«Тоже Бог счастья не дал, – подумала Василина. – Свой был мужик беспутный. Так от водки и сторел. И это не мужик. А с другой стороны, как одной? Плохо без мужика-то в доме. Это она по себе знает. Тимофей умер, когда ей, слава Богу, за семьдесят уже было. А как тяжело без него приходилось. А Тимофею жить бы да жить. Все война, будь она проклята. В ключах сколько с коровой простаивал!.. От этого и помер.

Василина вздохнула, жалея дочку.

К вечеру, к Нюркиному приходу, она наварила картошек и радовалась, что смогла хоть чем-то помочь дочери.

Ужинать сели вместе. Нюрка достала огурцы и разогрела картошку. За столом Нюрка все больше молчала и украдкой поглядывала на мать, словно что-то хотела сказать и не решалась.

– Мам, – сказала она, наконец, когда поели, и Нюрка стала собирать со стола посуду. – Что, если я тебя отвезу к Тоньке? И не ожидая ответа, заговорила торопливо, объясняя, почему так нужно:

– На время, пока Лешку уговорю. Боится он тебя. Не хочу, говорит, с матерью. А то, говорит, решай сама, как знаешь.

Нюрка посмотрела на мать. Та молчала, лицо ее оставалось спокойным, и в глазах не было осуждения, но Нюрке стало не по себе.

– Уйдет ведь, – еле слышно сказала она, и в голосе ее была боль и растерянность.

У Василины сердце сжалось от жалости, и она, как умела, успокоила:

– Неруш, дочка! Э-э! Мне хоть тут, хоть там – все одно. Лишь бы крыша над головой, – соврала она. – А ему, оно, конечно. На любого доведись, ну-ка, попробуй.

К Антонине ехали на автобусе. На поворотах Василину заводило в стороны, и она моталась на заднем сидении, заваливаясь то на один бок, то на другой. Узелок мешал ей держаться, но она не выпускала его и крепче прижимала к коленкам.

Встретили ее хорошо. Усадили за стол, и зять Федор даже достал бутылку белого, которую почти один и выпил. В разговоре стали ругать Николая за мать.

– Это все Зинка, подлюка. Она им, дураком, как хочет вертит, а он только бельмами крутит как баран дурной, – высказалась Антонина и свирепо глянула на Федора, который все подливал себе в рюмку.

– Этому лишь бы выжрать, – осадил его мимоходом, скорее по привычке, чем по необходимости, и продолжила разговор с Нюрой:

– Я ему, дундуку, покажу. Барин какой. И эта утка раскоряченная. Ну как ты думаешь? – раздраженно вдруг заговорила Антонина, обращаясь к Нюрке. – Опять же, Верка, племянница Федькина у нас живет. Ни кола, ни двора. Замуж собирается, а где жить будут, еще не известно. И куда я матку? – спросила она Нюрку в упор. – Нет уж. Он, паразит, квартиру получил вместе с маткой. Погостить, пожалуйста!.. Мам, ты побудь денька два, я разве против? – живо повернулась она к Василине. – А завтра я к этим схожу.

И замолчала. Федька тяжело встал из-за стола и под ненавидящим взглядом Антонины, слегка пошатываясь, пошел в свою комнату.

– Господи, вот свинья-то, – не удержавшись, бросила она зло в спину мужу, но тот даже не огрызнулся.

Василина прихлебывала чай из большой фаянсовой кружки, который пила по давней привычке вприкуску, макая сахар в чай. Она молча слушала, о чем говорила Антонина, и время от времени кивала головой, соглашаясь со всем, что та говорила.

Уложили Василину в зале на диван. Василина долго ворочалась и охала, пока нашла удобное положение, при котором боль в суставах не так беспокоила.

Уже засыпая, она вспомнила старшую сестру Дарью и пожалела ее. Все сыновья ее сложили головы. Четыре сына, кровь и плоть ее, на этой войне. От слез ослепла Дарья. А живет еще. «Лет девяносто есть, – прикинула Василина». Недавно зять, Федор, Тонькин муж, в Галеевке был, весточку привез. «Ох-хо-хо, – подумала вдруг Василина, – долго живем, лишнее уже. И ноги не ходят и руки не держат». И вспомнила, как вчера утром из рук у нее выскользнул стакан и разбился. Невестке она про стакан ничего не сказала, а собрала осколки и выбросила в мусор, затолкав поглубже.

– Теперь уж скоро Господь приберет. И меня, и Дарью, – успокоила себя Василина и, закрыв глаза, задремала.

Утром Василина собрала свой узел, взяла клюку, без которой на улицу не выходила, и пешком отправилась к самому жалкому своему сыну, Егору. Этот не прогонит. Сам хворый, потому и понимает лучше других, что такое немощь. И душа у него Богу открыта, хоть и партейный.

Глава 9

Чужие немцы и свои полицаи. Тимоха. Тень смерти. Казнь.

А ночью мне приснился кошмар той войны, о которой мне рассказывала бабушка Василина, и который ярко и отчетливо отложился в моем сознании и дополнился тем видением, которые так часто помимо моей воли посещали меня.

Немцы пришли в Галеевку в августе сорок первого. Проехали на мотоциклах по вымершей деревне, согнали всех к правлению колхоза и назначили старосту, которого привезли с собой. К удивлению сельчан, это был Васька Ермаков, исчезнувший куда-то из деревни, как только началась мобилизация. «Мало тебя раскулачили, – подумала Василина, – надо было на Соловки, гниду. А ведь думали, забыл, в колхоз приняли, завфермой поставили. А он затаился, значит, и носил камень за пазухой. Правда что, как волка ни корми, он все в лес смотрит».

Немецкий офицер через переводчика, городского мужчину в галстук, с кислым выражением лица и высоким, почти бабьим, голосом произнес речь с крыльца, в которой бодро возвестил, что немецкая нация, наконец-то, освободила русский народ от ига советской власти и от колхоза, где нет простора частной инициативе и где ленивый и глупый одинаково получает с умным и работающим. Отныне каждый будет работать в полную силу на себя и Великую Германию.

Он остановился, наверное, ждал, если не аплодисментов, то одобрения, но все подавлено молчали. А молодка Поля, пастуха Степана дочка, вдруг прыснула в кулак, изо всех сил удерживая смех.

Никто из деревенских, кроме Тимофея, да еще двух мужиков, воевавших в Германскую, не слышал никогда немецкой речи, и сейчас эта речь, лающая, чужая и непонятная, произвела гнетущее впечатление и даже недоумение: зачем этот в сером мундире с блестящими погонами, затейливо сплетенными, как пояски из лыка, с непонятным языком, который должен переталмачивать незнакомый городской, тоже не похожий на своего, человек; зачем здесь эти в сплюснутых сверху касках, похожие на бульдогов, по трое сидящих в мотоциклетных колясках, с плоскими автоматами на шеях?

И сразу своя деревня стала неудобной, потому что они, родившиеся и выросшие на этом клочке земли, который назывался Галеевка, уже не были хозяевами.

Дарья, стоявшая рядом с Полей, зло толкнула ее локтем в бок, и та, ойкнув, разом смолкла.

– А кто путет нарушайт великий херманский поряток, путем пороть, – сузив глаза и вглядываясь в баб и мужиков, раздраженно сказал по-русски офицер и звучно, наотмаш полосонул себя стеком по лакированному сапогу. Слова он подбирал тщательно и выговаривал их добросовестно, но они звучали на немецкий лад. Зато слово «пороть» он произнес чисто, привычно. И от этого «пороть», и от звука стека по сапогу холодок пробежал по спине.

Внучки Катька и Валька испуганно жались к матери, и Василина, обхватив их обеими руками, подминала под себя, точно курица-наседка, стараясь оградить от опасности, ко-

торой еще не было, но которая ощущалась и носилась в воздухе, как приближающаяся гроза.

Удрученные жители расходились по домам. Вскоре с улицы донеслось кудахтанье, возбужденная отрывистая речь, взалив забрехали собаки, дробью пробарабанила автоматная очередь, заскулил чей-то пес, послышался смех. Перепуганные куры, сбитые о места, ошалело носились по деревне, теряя перья.

Набрав по домам яиц и наловив кур, немцы потрещали мотоциклами и уехали из деревни.

Так для Галеевки началась война.

Новое слово «полицай» вошло в деревню, когда Санька Шулепа, Ванька Сычев и Митька-цыган прошли по деревне в серой полувоенной форме, офицерских кепочках, добротных сапогах, с повязками на рукавах и винтовками за плечами. Вот она, новая власть. Митька – вор, перед самой войной посадили за кражу зерна. Сенька Шулепа и Ванька Сычев – пьяницы и лодыри, всю жизнь света белого за самогоном не видели. Эти мать родную за стакан водки продадут ...

Но если вся работа Сеньки Шулепы и Ваньки Сычева кончалась там, где начинался самогон, то Васька Ермаков, дорвавшись до власти, стал лютовать. По его указке немцы выводили из хлевов скот, выгребали из погребов последнюю картошку, находили и забирали те крохи продуктов, которые были припрятаны для детей и на черный день. Бабы голосили и сыпали на голову Васьки страшные проклятья.

Когда в Галеевке появлялись немцы, хромой Тимоха уводил телку со двора и прятал ее в овраге, в зарослях густого ивняка и кустарника, простаивал в ключах часами, пока опасность пройдет стороной.

Первое время Тимоха гонял корову в лес, подальше от греха, – в овраге оставлять боялся, знал, что всякий местный, если будет искать, овраг обшарит обязательно. И верно! Васька Ермаков сразу бросился в овраг и добросовестно мял папоротник сапожищами в поисках следов. Через неделю опять облазил овраг и опять ничего не нашел. Хитрый Тимоха снова угнал корову в лес. А когда Ермаков привык к мысли, что коровы нет, Тимоха оборудовал укрытие в овраге так, что можно было пройти рядом и ничего не заметить. Правда, приходи-

лось мерзнуть в ключах, но ради спасения Белки можно было потерпеть. Тимоха все рассчитал. Даже если бы корова замычала, то звук, пройдя по кольцу рва, затерялся бы и пришел, как бы, из деревни. К счастью, умница Белка, будто, понимая свое значение для хозяев, тихо ворочала скулами, сжевывая ветки, которые Тимоха непрерывно подсовывал к ее морде, да изредка переступала ногами по сырому настилу, и ее огромные глаза словно говорили: «Не бойся, хозяин, не выдам».

Не было еще случая, чтоб паршивая овца, Васька Ермаков, взял верх над Тимохой там, где требовалась смекалка.

В деревне еще помнили случай, когда щуплый Тимоха на спор поставил «на попа» двухпудовик, чего не смог сделать здоровый, как деревенский бык Пахом, Ермаков. Тогда они оба были парнями и ходили в женихах, хотя Васька был Тимохе не чета, щеголял в сапогах-бутылках и красной плисовой косоворотке, а Тимоха шмурыгал в лаптях и дражных портках. Тимоха «уступил» Ваське пробовать первому. Васька надул шею, напыжился, как клоп налился кровью, но гиря выворачивалась и заваливалась набок, и он ползал вокруг нее на коленках, пытаясь опрокинуть и удержать на руке. При этом он кряхтел, и от него несло зловонным духом. Парни отпускали по этому поводу шутки и гоготали, как жеребцы. Плюнув под ноги и зло матернувшись, Васька отошел в сторону. После Васьки силу пробовали другие здоровые мужики, но справились с гирей только Семен Никишин да Евсей Гапеев, признанные силачи. Пропустив всех, к гире подошел Тимоха. Не обращая внимания на смешки, он опустился на колени и стал щупать руками землю.

– Мотри, Тимофей, кила вылезет! – серьезно предупредил тронутый пастух Кирюха, что вызвало новый приступ безудержного веселья. Васька Ермаков, напустив на себя безразличный вид, стоял в стороне и лузгал семечки, шумно сдувая шелуху, когда она набиралась на губах, но кривая, напряженная улыбка не сходила с лица.

Вдруг Тимоха, резко нагнув двухпудовик, крутанул его на себя так, что ручка точно легла в выдолбленную лунку, как в гнездо, и Тимохе оставалось только небольшим усилием удержать гирю в нужном положении.

У Васьки с лица разом съехала ухмылка, и он, оставив семечки и забыв сдуть с губ шелуху, бросился к гире. Вась-

ка, надрываясь, кричал, что так каждый дурак сможет, но сколько ни ползал на корячках вокруг гири, так с ней и не справился. Как ни откручивался Васька, его заставили выставить полведра водки, которые он оговаривал за Тимохинову гармонию.

На этот раз Ермаков нагрянул к ним со всей местной властью и привел с собой двух немцев.

Пока Сенька Шулепа и Ванька Сычев шарили по закуткам и сараям, Васька с немцем и Цыганом вошли в хату. Василина шуганула внучек Вальку и Катьку за печку, и они, боясь шелохнуться, молча смотрели оттуда вниз. Тоньке мать тоже приказала не высовываться, и та тихо сидела на кровати за занавеской, чутко прислушиваясь к тому, что происходило в избе, и переживала за мать.

– Мужик дома? – с порога спросил Васька.

– Негу, – сказала Василина. – В город уехал.

– Васька, привстав на цыпочки, заглянул на лежанку печки, нечего не сказал и, пройдя к занавеске, рывком раздвинул ее.

– А, это ты краля? А ну, иди сюда, – приказал Васька.

– Сказывай, где батька?

– В город уехал, – без робости ответила Тонька.

– Брешешь, подлюга! В лес пошел, к партизанам.

– Partisanen? Wo ist partisanen? – насторожился немец, берясь за автомат.

– А вот партизанка, – злобно сказал Ермаков и подтолкнул Антонину к немцу.

– Heraus! – без разговоров скомандовал немец.

– Schnell! – повел стволом автомата в сторону двери.

Теперь автомат был плотно зажат в его руках, готовый выстрелить в любую минуту, и поэтому страшный до леденящего душу столбняка.

– Да какая она партизанка, господи? – заголосила Василина, хватая дочку за руку, пытаясь затолкнуть ее назад за занавески.

– Вася! Что ж это делается? Побойся бога ..., – повернулась она в отчаянии к Ермакову, но немец больно ткнул ее стволом автомата под ребра, и она, охнув, отпустила Тоньку, но тут же повалилась немцу в ноги.

– Господин офицер, – стала просить Василина солдата, хватая его за ноги. – Тонька никс «партизанка», она девочка, «киндер» еще. Пожалейте, господин офицер.

Немец попытался высвободить ноги, но не смог и коротким тычком, на сколько позволял размах, ткнул Василину сапогом в лицо. Василина вскрикнула и схватилась за лицо. Пальцы окрасились кровью. Валька, а следом за ней Катька, скатились с печки и с ревом бросились к матери. В суматохе Митька-цыган успел втолкнуть Тоньку в закуток и задернул занавески.

– «Сиди тихо и не рыпайся!» – приказал он и стал что-то доказывать Ваське. Тот нехотя пошел к немцу, который сверлил белесыми глазами Василину, хищно раздувая ноздри при виде кровоточащего лица. Василина стояла, вжавшись в печку, и прижимала детишек к животу, до боли стискивая их головы тяжелыми руками, и ужас был в ее глазах. Кровь тоненькой струйкой скатывалась из носа на подбородок, сочилась из разбитой губы. Дети тоже были перемазаны кровью и, насмерть перепуганные, тоже молчали.

– Неси самогон. Живо! – скомандовал ей Митька и тихо добавил: – Да не жмись. Вишь, как обернулось все?

При слове «самогон» немец закрутил головой, как ретивый конь, и глаза его по-кошачьи блеснули.

– Будем самогон «тринкен», – подтвердил Васька.

– Гут, – удовлетворенно сказал немец, расслабляясь и опуская автомат.

Жесткое хищное выражение исчезло с его лица и приобрело мирный человеческий вид.

Василина ожила и, птицей вылетев в сени, вернулась с двухлитровой бутылью, заткнутой деревянной пробкой, обернутой чистой тряпицей.

Они ушли, прихватив с собой молоденького поросенка, оставив Василину приходить в себя. И та отходила медленно и все никак не могла унять дрожь в коленках.

Антонина ставила матери холодные примочки на разбитое лицо и тихонько всхлипывала. Валька с Катькой, как ни в чем не бывало, затевали свору из-за стрелянной гильзы.

Ночью Тимофей ушел в лес вместе с коровой. Митька успел шепнуть Василине, чтобы Тимоха дома не показывался.

Партизаны действовали активно. Они контролировали дороги, отбивали и возвращали населению скот, захватывали обозы с продовольствием, появлялись внезапно там, где их не ждали, и наводили ужас на немцев, которые стали, в конце концов, панически бояться самого слова «партизан», и даже произносили его с опаской.

Служба разведки была поставлена так, что ни один из обозов, вышедших из Галеевки, не доходил до Сечи, где располагался Гебитскомиссариат...

Ваську Ермакова убили средь бела дня. Сначала его предупредили, и на какое-то время он притих, но когда первый испуг прошел, принялся лютовать с прежней силой, хотя стал осторожнее – один по улице не ходил, а на ночь у дома ставил охрану. К тому же, добился размещения в Галеевке отделения солдат.

Его зарезали, как кабана – ножом под лопатку. Он лежал лицом вверх, видно, перевернули, чтобы убедиться в его смерти. Наверно, с Васькой пришлось повозиться, и в хате шла борьба, так как стол был перевернут, на полу валялись подушки, у окна лежало заваленное ведро с фикусом.

В открытых глазах Васьки застыл ужас. На груди лежала записка, написанная химическим карандашом: «Так будет со всеми предателями».

И тогда пришли каратели. Партизаны успели уйти, оставив засаду для прикрытия и заминировав подходы к лесу. Предупредил Митька-цыган, Он же предупредил и тех в деревне, кому в первую очередь грозила опасность.

Нарвавшись на засаду и напоровшись на минное поле, немцы потеряли чуть ли не треть солдат и оставили возле леса две покоруженные танкетки. Полегла и засада, но отряд, обремененный бабами и детишками, скотом и хозяйством далеко оторвался от преследования и будто растворился в бескрайних просторах Брянских лесов.

Разъяренные каратели стали чинить расправу в деревне. Они согнали жителей к дому старосты. Люди молча жалась друг к другу и со страхом смотрели на карателей.

Полупьяные солдаты в черных мундирах со свастикой и молниями в петлицах пугали своими пустыми, стеклянными глазами, но еще страшнее были собаки. Они броса-

лись на людей, натягивая короткие поводки до струнного звона, повисая в воздухе передними лапами, заходились в хриплом глухом лае, задыхаясь от ошейников, перетягивающих горло, свирепея от того, что им не дают рвать, грызть человеческое мясо.

Притащили избитого Митьку-цыгана со связанными руками, и стало понятно, для кого готовилась веревка с петлей, которую немецкий солдат и русский полицай Сенька Шулепа старательно прилаживали к толстому суку старого раскидистого клена. Глаза Митьки закрывал лилово-синий пузырь, на разбитых губах запеклась кровь.

Молодой мордастый немец нашел кусок фанеры с выщербленными краями, углем вывел по-русски «партизан» и по-немецки «partisan» и с помощью куска проволоки повесил на шею съжившегося Митьки.

Митька растерянно смотрел на сельчан, и в глазах его было отчаяние и мольба. Что-то его мучило, и он хотел и не знал, как освободить свою совесть.

Когда его подвели к виселице, он заплакал. Его поставили на скамейку, взятую в доме старосты, и, когда стали надевать петлю, он, словно поняв, наконец, и поверив окончательно, что сейчас умрет, и не скоро будут сказаны слова, его оправдывающие, заторопился:

– Братцы, за вас я это... не полицай я. Это я поначалу так... партизаны скажут...

У него из-под ног выбили скамейку, и она отлетела в сторону, вещь иуды-хозяина, сослужившего за него мертвого, еще одну мерзкую службу. Но успел еще крикнуть Митька:

– Бейте их, сук поганых. Мстите за нас, убитых.

И уже не было страха в его звонком, отчаянном голосе. Бабы заголосили. Десятка два солдат по команде сняли с машин канистры с бензином и бросились врассыпную по деревне, поджигая заранее намеченные «партизанские» дома. Вскоре деревня полыхала смоляным факелом, высоко выбрасывая искры.

Никого больше не тронули каратели, увозя убитых и раненых, оставив без крова стариков, женщин и детей.

Следом, как шакалы за крупным хищником, потрусили, собрав свой, ставший обширным, скарб, полицай Сенька Шулепа и Ванька Сычев, справедливо опасаясь возмездия.

Эхо войны. Школьная линейка. Костя ругает ребят за то, за что хвалил Сорокин. Припадок эпилепсии.

Три пацана из соседней школы на Пушкинской подорвались на бомбе в самом центре города. Кто знал, что на большом пустыре, недалеко от кинотеатра «Родина», где до войны стоял памятник Сталину, лежала и ждала своего часа неразорвавшаяся авиабомба. Пацаны, все курские, два шестиклассника и семиклассник, ковырялись в земле в поисках каких-нибудь трофеев. На пустырях, в подвалах и на чердаках чего только после войны не находили: и каски, и пустые пулеметные ленты, и патронные гильзы, а иногда и оружие. У нас в сарае, например, с войны остался целый арсенал оружия и, что самое удивительное, несколько кавалерийских шашек в черных с позолотой ножнах.

Бомба рванула мощно. Город дрогнул, как от землетрясения, а в ближайших домах повыбивало стекла.

Ребят собирали по кусочкам. Хоронили в закрытых гробах. Провожал их в последний путь весь город. В школах прервали занятия, и старшеклассники шли в колонне провожающих.

На следующий день, на большой перемене, всю школу выстроили во дворе. Наша классная, Зоя Николаевна, пришла к концу урока географии, построила класс и вывела на школьный двор.

– Зоя Николаевна, зачем на линейку-то? – спросил Генка Дурнев.

– Узнаете! Все узнаете!

– У Кобры никогда ничего не узнаешь, – шепнул мне Пахом. Зоя Николаевна была не столько злой, сколько замученной. Двое детей, да еще пьющий муж. Есть от чего взбеситься.

Коброй ее прозвали даже не из-за круглых очков, а из-за слюны, которой она брызгала, когда орала на кого-нибудь из нас. Нашей классной она стала в шестом классе и, когда на первом же уроке стала брызгать слюной на Дурнева, он на перемене убежденно сказал:

– Пацаны, у нее слюна ядовитая! Если на кого попадет – капут!

– Как у кобры! – согласился Женька Богданов.

Каждый класс знал свое место и стоял в два ряда вдоль выведенной известкой линии. Школьная линейка образовывала нечто вроде каре с открытым проходом. Школа гудела, словно растревоженный осиный рой. Классные бесполезно надрывались, пытаясь утихомирить свои классы. Галдеж стал стихать, когда появился Костя с Долдоном. Костя поднял руку, призывая к вниманию, и начал говорить. Говорил он нарочно тихо, и нам приходилось напрягать слух. На линейке сразу установилась полная тишина.

– Вчера мы похоронили ваших товарищей из восемнадцатой школы. – Костя сделал паузу, и пауза эта зловеще повисла над линейкой. – Я знаю, что многие из вас производят самостоятельные раскопки в поисках патронов, оружия. Чем это кончается, вы знаете. И это не первый случай гибели ваших товарищей, но хотелось бы верить, что последний. А кое-кто не довольствуется пустырями, а идет в лес, где смерть подстерегает на каждом шагу... Пахомов, Анохин, Михеев, Письман, выйдите из строя.

Я опешил. Пятый класс стоял сбоку от нас, и я не видел, что написано на физиономиях у Моти-младшего и у Семена Письмана, которых недавно тоже благодарил военком, зато я стоял рядом с Пахомом. Пахом с краснолиловым лицом и выпученными глазами был похож на окуня, которых мы ловили на донку в нашей Оке.

– Да не трясись ты, Пахом. Ругать нас не за что, – попытался я успокоить Пахома, но до него мои слова не доходили. У Пахома на этот счет было свое твердое убеждение: раз вызвали на линейке – добра не жди.

– Пахомов, Анохин, Михеев, Письман и еще несколько ребят, которые уже не учатся в нашей школе, на каникулах ходили в лес. Они нашли в одном из блиндажей нашей обороны патрон с запиской и солдатские книжки двух бойцов Советской армии, погибших от фашистских захватчиков, защищая нашу Родину. Документы вышеназванные ученики передали в музей. Таким образом, родственники героически погибших бойцов оповещены об их гибели. Также им сообщили о месте захоронения в братской могиле на воинском кладбище нашего города.

У меня отлегло от сердца. Я подмигнул Пахому. Тот улыбался во весь рот. Костя продолжал:

– Военком объявил этим ребятам благодарность от имени родственников погибших и от военкомата. Поступок достойный и заслуживает поощрения. Но все могло быть и по-другому. В лесу полно неразорвавшихся снарядов и гранат. И вам просто повезло (это уже к нам), что вас не постигла участь ваших погибших ровесников.

Костя сделал паузу, наверно, для того, чтобы его слова лучше вошли в наши головы, и продолжал иезуитским голосом:

– Говорят, победителей не судят. Я решил опровергнуть этот афоризм. Вслед за благодарностью объявляю вам выговор. И предупреждаю: если узнаю, что кто-то ходил в лес, пеняйте на себя. Вопрос будет решать педсовет. И вплоть до исключения из школы.

Костя закончил свою речь и, видно, остался ей доволен, если судить по его лицу.

Провинившиеся, то есть мы, стояли перед строем с озабоченно-траурным выражением, соответствующим текущему моменту, но раскаяния не испытывали. Я подумал, что пламенная речь Кости не имела никакого смысла, и, чтобы проникнуться его тревогой, нам самим нужно было взорваться на mine.

На уроке литературы у Сашки Митрофанова случился припадок. Время от времени это с ним случалось, и все в классе знали, что нужно в таком случае делать.

– Припадки возникали неожиданно. Сначала начинала ритмично подергиваться голова, словно он кивал ею. Потом закатывались глаза, появлялась пена изо рта, и Сашка валился с парты на пол. Его тело извивалось в судорогах, вытягивалось и сокращалось, будто кто-то незримый трепал и возил его по полу.

– Смотри, – толкнул меня под локоть Третьяк. – Сашка дубаря засек.

Почему и какого «дубаря» засек Сашка, объяснить бы никто не смог. Никто уже не помнил, откуда появилось это дурное выражение, но когда Сашкина голова начинала дергаться, кто-нибудь обязательно объявлял: «Сашка «дубаря» засек». И если это и звучало первоначально, как насмешка,

то давно потеряло свой прежний смысл и осталось просто как предупреждение.

Я взял ученическую линейку, первое, что подвернулось под руки, и был готов втиснуть ее между зубами и прижать язык, чтобы Сашка не прокусил его.

Сорвались со своих мест Агарков, Кобелев и Семенов и навалились на уже бьющегося на полу в припадке Митрофанова. Щуплого, маленького Митрофанова еле удерживали три здоровых переростка. Я поддерживал голову, чтобы он не разбил ее об пол. От Сашкиной головы исходило не легкое голубоватое свечение, а прямо-таки играл солнечный протуберанец. Красноватый нимб пульсировал и растворялся во внешней, более светлой части, растворялся и возникал вновь.

Минуты через две Сашка затих. Синюшное с серым оттенком лицо медленно приобретало естественный телесный цвет.

Теперь наступила моя очередь, и все напряженно следили за мной. И класс и школа знали, что я могу снять головную или зубную боль, хотя за большее я никогда не брался. Отец предупреждал меня, чтобы я был осторожнее. Он боялся за меня и хотел, чтобы о моих способностях лечить знало как можно меньше людей, потому что кроме неприятностей это ничего не приносило. Но недаром говорится, что шила в мешке не утаить. Скоро моими услугами стали пользоваться учителя. Головы у них болели часто. К моей способности снять головную боль они быстро привыкли и относились спокойно, хотя первое время это вызывало у них недоверие, и каждый хотел убедиться сам, что это не чья-то глупая шутка.

Обычно в класс заглядывала директорская секретарша Клавдия Петровна и обращалась к учителю:

– Степан Сергеевич, Анохина в учительскую.

Пацаны всё знали и потом шепотом спрашивали:

– Вовец, у кого?

– У химички, – отвечал я.

Отец, когда про это узнал, встревожился и спросил, что еще про меня знают в школе. Я успокоил его, сказав, что учителя ничего не знают. Пацанов же мои способности волновали больше в том плане, что я даю им содрать у меня

контрольную. О том, что я иногда показывал фокусы, которые пыталась повторить вся школа, и со мной никто не играет в перышки, потому что перья я легко переворачивал без помощи рук, отцу я не рассказал. А еще я отгадывал мысли. Все это я делал без всякого умысла. Просто это была, в каком-то роде, разминка, в которой я почему-то нуждался...

Я положил руки на Сашкину голову, чуть подержал и, не касаясь головы, несколько раз провел руками. Сашка открыл глаза, и жалкое подобие улыбки появилось на его лице. Щеки чуть порозовели. Сашка с трудом поднялся, и глаза его смотрели виновато.

– Зоя Николаевна, – сказал я учительнице. – Митрофанову теперь нужно спать. Я его провожу домой, только пусть со мной Третьяков пойдет. А то, если что случится...

– Да-да, конечно, Володя, идите, – не дала договорить Зоя Николаевна.

Я с Женькой проводил Сашку домой. Тетя Катя никак не могла привыкнуть к Сашкиным припадкам. Хотя, к такому разве привыкнешь! И всякий раз, когда Сашку приводили домой, она бледнела, испуганно смотрела на Сашку, прижимала его к себе и начинала в голос реветь, причитая, как по покойнику.

– Пошли, – толкнул я в бок Женьку, когда тетя Катя стала униженно благодарить нас, кланяясь и прося Бога послать нам здоровья.

– Куда? – глаза Женьки Третьякова смотрели на меня подозрительно.

– Успеем на геометрию.

– Ты что, совсем спятил? – Женька презрительно сплюнул в сторону. – Нас отпустили. Весь класс знает, что мы Сашку домой повели. Если дурак, иди. А я погуляю. Гляди, солнышко. Листики падают. Лепота. Люблю волю.

Женька как кот зажмурился на солнце, вот-вот замурлычет.

– Ладно, – согласился я. – Пойдем в горсад. Там каштаны падают.

**Предчувствие беды. Смерть дяди Павла. Следствие.
За околицей. Я «вижу». Убийца. Тоня.**

Весь день меня не покидало чувство тревоги. Один раз даже появился знакомый звон в ушах, но никаких видений не возникло. Сначала я боялся за отца, но мое подсознание молчало, когда я думал о нем, и я уверен был, что с ним все в порядке. Дома я спросил:

– Мам, у нас ничего не случилось?

– Нет, а что должно случиться? – мать испуганно уставилась на меня, зажав одной рукой недочищенную картофелину, другой нож.

– Может, с отцом, что? – заволновалась мать.

– Нет, – успокоил я ее. – С отцом все в порядке.

– Тогда что? – мать вздохнула с облегчением и снова взялась за картошку. Картофелина ловко крутилась на острие ножа, и тонкая непрерывная ленточка кожуры опускалась в ведро.

– Бабушка Маня давно у нас была? – неожиданно вырвалось у меня, и что-то толкнуло меня изнутри, будто током ударило. Передо мной мелькнуло вдруг лицо дяди Павла. И я уже уверенно сказал матери:

– Мам! Что-то случилось с дядей Павлом. Мать охнула и побледнела. Недочищенная картофелина упала в ведро, а следом за ней нож, звякнув о железо.

– Что с ним? – спросила мать скорее инстинктивно, еще не сознавая, что я не могу этого сказать, хотя я уже знал, что дяди Павла нет в живых.

Мать хотела немедленно ехать в Новые Выселки и ждала отца. Но отец рассудил, что разумнее дожидаться утра, ведь, по существу, они еще ничего не знали.

А поздно вечером, когда уже стемнело, появилась бабушка Маруся. Она с порога заголосила, запричитала. Мать усадила ее на диван в зале и дала воды. Прибежала тетя Нина. Бережно переставляя ноги, вышла из своей комнаты бабушка Василина.

Бабушка Маруся чуть успокоилась, а у нее и сил-то говорить больше не было. Маленькая, сухонькая, в отличие от дородной Василины, она являла ее полную противополож-

ность, в чем только душа держалась. Она промокнула глаза кончиком черного сатинового платка, узлом завязанного на шее и, всхлипывая, рассказала, что Павла нашли на бревнах за деревней с шилом в сердце. Рядом валялись две пустые бутылки из-под водки и стакан.

– Убили его, дочка! И кому он помешал, страдалец? Ведь жил – мухи не обидел.

Бабушка Маруся тоненько заскулила и, что-то приговаривая, качала головой из стороны в сторону.

Мать достала из шифоньера с полочки, где хранила лекарства, валерьянку, накапала в стакан, плеснула воды и заставила бабушку выпить.

Рано утром мы с матерью и бабушкой Марусей поехали автобусом до колхоза «Рассвет». Отец ушел на работу и обещал подъехать позже.

Тоня встретила нас тихо, без слез. Все в ней уже перемелось, и она опустошенная, недоумевающая и не до конца понимающая, что это произошло с ее Павлом, делала все как во сне.

Когда ее спрашивали о чем-нибудь, она не слышала, и приходилось повторять вопрос еще раз.

Дядя Павел лежал уже прибранный, в коричневом костюме, который он привез из Германии, в белой рубашке в синюю подоску и синем галстуке в белый горошек, завязанном толстым неумелым узлом. Редкие рыжие волосы были аккуратно зачесаны назад. Ни орденов, ни медалей на дяде Павле не было. Вовка вспомнил дядю Павла, когда он вернулся с войны. Тогда грудь дяди украшали шесть медалей и два ордена. Всех своих кровно завоеванных наград он лишился разом, когда был осужден.

Гроб еще не привезли. Колхозные плотники обещали сбить гроб к полудню, и дядя Павел лежал на двух досках, пристроенных концами на табуретки.

Позже Тоня рассказала, что дядя Павел не пришел ночевать, и она бегала по деревне, бесполезно пытаясь узнать, не видел ли кто его.

А утром остывшее тело дяди Павла нашли на бревнах. Он сидел, свесившись вниз головой, с безжизненно опущенными руками.

Участковый милиционер допросил всех, кто видел дядю Павла в тот вечер, и особенно тех, кто с ним пил на

бревнах. Мужики эти оказались сплошь положительными. Один – колхозный плотник, другой – счетовод, выпить любили, но работали добросовестно и ни в чем плохом замечены не были. Они показали, что выпивали о дядей Павлом. Выпили сначала одну поллитру, но с закуской на природе, вроде, как и не пили. Дядя Павел сам вызвался сходить за второй бутылкой. Сидели тихо, не ругались, вспоминали фронтовые годы. Все воевали. А Митрич, счетовод, под Минском руку потерял. Правда, был Павел какой-то задумчивый, вроде как мысли его где-то в другом месте находились, а когда пел «Землянку», плакал. Потом стали расходиться, потому что начало темнеть. Плотник Иван Петрович поднялся первым. Сказал, что, мол, его Катерина небось уже у ворот с валиком стоит. Митрич ушел следом. Митрич еще спросил у Павла, идет он домой или нет. Павел сказал: «Идите, я чуток посижу, покурю».

А шило это его, Павла. Он же по сапожному делу мастер был. Пол деревни у него сапоги тачало. Но когда они выпивали, шила у него не видели. И зачем он взял его с собой, непонятно.

Участковый составил акт. Приезжал следователь из города и тоже говорил с Иваном Петровичем, с Митричем и другими мужиками, которые подтвердили, что Павел ни с кем не ссорился, вел себя смирно, и врагов у него не было. И хотя и бабушка Маруся, и Тоня твердили, что Павла убили, что не мог он сам на себя руки наложить, и что шило это не его, потому что его шило дома, следствие подтвердило факт самоубийства.

После похорон я попросил отца сходить со мной к месту гибели дяди Павла, Отец посмотрел на меня и кивнул, соглашаясь. Он сразу понял, зачем это нужно.

Мы молча пошли на конец деревни. Деревенские бабы выглядывали из-за невысоких заборов и провожали нас любопытными взглядами. Молодуха, попавшаяся нам с ведрами на коромысле, поздоровалась и, обернувшись, долго глядела вслед. За околицей, на большой поляне высилась связка сосновых бревен, заготовленных для какой-то колхозной надобности. Бревна удерживались двумя вбитыми по бокам толстыми кольями. Совсем рядом стоял березовый лесок, а метрах в двухстах начиналась деревня.

Мы с отцом сели на бревна. Я закрыл глаза. Отец не мешал мне и молча любовался открывающейся с бревен панорамой.

Я стал думать о дяде Павле, представил его сидящим на этих бревнах. В ушах появился звон и стал расползаться, охватывая все пространство вокруг меня, и все ширился и нарастал, отдаваясь болью в висках и затылке. Хотелось заткнуть уши или сдавить голову руками, чтобы унять боль.

Я всегда плохо переносил эти состояния, когда сознание перемещалось в пространство, которое позволяло мне «видеть». Это темное пространство было все испещрено золотистыми маленькими точками. Мое сознание проникало туда и, словно, вытаскивало нужные мне картинки через какой-нибудь ключевой образ или деталь. Мои ощущения при этом были очень разными и непредсказуемыми, только звон, иногда слабый, иногда невыносимо сильный появлялся всегда ...

Вдруг все разом кончилось, взорвавшись и ослепив меня яркой вспышкой. Пошла картинка в знакомом мне замедленном темпе. Постепенно она обрастала все большим количеством деталей. Уже был вечер, но я отчетливо разглядел дядю Павла и двух мужчин. Я видел их со стороны, как бы паря над ними, но видел четко до мелочей. Трое говорили о чем-то, плавно жестикулируя и кивая головами. На траве валялись пустые бутылки, на бревне стоял стакан. Вот поднялся один мужчина, невысокий, широкий в плечах. «Это тот плотник», — отметил я. За ним встал другой, худощавый, ростом чуть повыше плотника, с пустым рукавом вместо левой руки. Они немного постояли, повернув к дяде Павлу головы, и ушли.

Дядя Павел взял папиросу из лежащей рядом пачки «Север» и закурил.

Я не заметил, откуда появился высокий худой мужчина в простом поношенном пиджаке и мятых брюках, заправленных в кирзовые сапоги. На голове мужчины сидела кепка, надвинутая на глаза. Он поздоровался за руку с дядей Павлом, и его пошатнуло. Он сел на бревна. На руке я заметил наколку: солнце с расходящимися лучами и четьрьмя буквами на пальцах, то ли «Поля», то ли «Коля»; Первую букву я не смог разобрать.

Я вдруг увидел его лицо крупным планом, словно кинокамера наехала на него, вернее, это моя вторая сущность, глазами которой я и видел картинку прошлого, приблизилась к лицу мужчины, подчиняясь моему желанию. Для меня это не было чем-то необычным. Когда я погружался в это свое состояние «видения», я мог управлять своим другим сознанием, то есть другой своей сущностью.

Впалые щеки нездорового человека, заросшие щетиной, и волчьи глаза, сверкнувшие зло в отсвете папиросной затажки дяди Павла.

Мужчина о чем-то просил дядю Павла, тот что-то отвечал. Когда дядя Павел попытался встать, тот схватил его за ворот рубашки. Дядя Павел ребром ладони ударил мужчину по рукам, тот разжал руки, но когда дядя Павел сделал ещё одну попытку встать, мужчина быстрым движением сунул ему что-то в бок. Я понял, что это шило. Дядя Павел инстинктивно схватился рукой за место, куда вошло шило, наткнулся на руку убийцы, которую тот еще какое-то время держал на деревянной ручке. Глаза дяди Павла изумлённо раскрылись и тут же погасли. Мужчина отпустил дядю Павла, и его туловище уткнулось в колени, а руки повисли плетьюми, доставая кистями нижние бревна. Мужчина осторожно залез в карманы брюк дяди Павла, что-то засунул обратно, огляделся и быстро пошел прочь, обходя деревню.

Потом наступил провал, темная пелена заслонила мне глаза, и я ничего не видел, но знал, что все еще нахожусь в другом отрезке времени...

Пелена спала, и я увидел деревянный домик на косогоре, покрытый щепой. Еще не ночь, но уже темно. Луна освещает дом с четырьмя окнами. Света в окнах нет. Забор. Скорее штакетник. Открылась калитка, и во двор вошел высокий мужчина. «Это тот, который убил дядю Павла», – узнал я, хотя лицо его я увидел только, когда тот вошел в дом и включил свет. Мужчина вынул из кармана брюк бутылку водки и поставил на стол, потом подошел к зашторенным полкам, взял граненый стакан, миску с огурцами и тоже поставил на стол рядом с водкой.

Из-за цветастой занавески вышла молодая женщина в нижней рубашке чуть выше колен. Волосы ее были распу-

щены. Видно, она уже легла спать, и мужчина помешал ей. Женщина стала что-то говорить ему, он отвечал, потом она повернулась и ушла опять за занавеску.

Мужчина открыл бутылку, налил полный стакан и выпил. Взял огурец, откусил от него и бросил назад в миску. Вот он достал из внутреннего кармана пиджака портсигар. Я сразу узнал портсигар дяди Павла. Простой алюминиевый портсигар с выбитым на крышке кремлем. Я даже знал, что на ребре (сразу и не заметишь) нацарапаны инициалы дяди Павла: М.П.П.— Мокрецов Павел Петрович. С минуту мужчина рассматривал портсигар, потом открыл. Портсигар был пустой. Я вспомнил папиросы «Север», которые лежали рядом с дядей Павлом на бревне. Он почему-то не стал набивать свой портсигар.

Мужчина захлопнул крышку, подержал портсигар в руках, затем подошел к стене, на которой висела большая рамка с фотокарточками с небольшим наклоном, нижней частью опираясь на два гвоздя, и сунул портсигар за рамку.

Картина стала расплываться. Стол с бутылкой водки и миской с огурцами заколыхался как на волнах и растворился. Все исчезло. Это значило, что я получил достаточную информацию, и в моем мозгу сработал механизм неуловимого для его нормального восприятия отключения.

Я стал медленно приходить в себя.

– Видел? – спросил отец.

– Да, пап. Бабушка оказалась права. Его убили. И я рассказал отцу все, что видел.

– Ишь ты, – грустно усмехнулся отец. – И мать и Тоня с самого начала не верили, что Павел руки на себя наложил. Любящее сердце не обманешь.

– А теперь, пап, что? Наверно, нужно в милицию сообщить?

– Не все так просто, сынок, – отец нахмурился. – Нужно-то нужно. А как? Ну, придем мы. Арестуйте убийцу. Мы знаем, что он убил, потому что сын сам лично видел, как он убивал. Такая же нелепость как с твоими снами. Я за тебя и так боюсь. Мне кажется все время, что мы по тонкой дощечке с тобой ходим, а внизу пропасть, и дощечка прогинается.

– Что ж, убийцу оставить на свободе?

– Нет, сынок, на свободе он не останется.
Отец чуть помолчал, хмуря лоб, а потом встал с бревен.

– Давай-ка поговорим с нашими.

– Тоня, а где Павлов портсигар, – спросил отец, когда мы пришли в дом.

– Не знаю, – пожалала плечами Тоня.

– А деньги у него были с собой в тот день?

– Он за день до этого получил получку, но все мне отдал. Оставил, как всегда, рублей сто на пиво, папиросы, ну с приятелями выпить.

– Тоня, ты была права. Его убили. Вова видел.

– Ой, – заголосила Тоня, как будто ей только что сообщили о смерти дяди Павла. – Ой, господи, за что такое наказание? За что мне горе такое?

– Сынок мой ненаглядный. Ангел ты мой. За что они тебя? – подхватила бабушка Маруся.

И бабушка, и Тоня знали про меня все. Я помогал не только дяде Павлу, но и им обоим. Тоня на меня молилась после того, как я залечил ее целый год незаживающий от воспаления надкостницы свищ. Началось все с осложнения после удаления зуба. Сначала появилась припухлость десны возле больного зуба. Припухлость все увеличивалась, появились боли, которые, в конце концов, стали постоянными. К вечеру поднималась температура. Когда отекала щека, а губа перекосилась с той стороны, где удалили зуб, Тоня пошла к врачу. Тот отругал ее за то, что запустила болезнь, и разрешил щеку. Гной вышел, и врач наложил повязку. Воспаление спало, и боль прошла, но через некоторое время все повторилось. Тоня снова пошла к врачу и ей сказали, что в десне остались участки омертвевшей кости, отделившиеся от здоровой части, и их нужно удалять операционным путем.

Тоня пришла к нам вместе с дядей Павлом в подавленном состоянии. Ее так доконали боли, что свет стал не мил. Свищ то затягивался, то открывался снова.

Я весьма приблизительно представлял себе весь процесс того, что происходит с Тониной надкостницей, но знал уже силу целебной энергии, которой обладал. После первого сеанса Тоне стало легче, а ночью она проснулась от того, что больное место начало чесаться. На подушке расплылось

гнойное пятно с кровью. Это прорвался гнойник, и стали выходить мелкие кусочки омертвевшей кости. После второго сеанса, через два дня, вышли едва различимые остатки кости, а после третьего сеанса все очень быстро стало заживать, и через неделю на щеке остался лишь небольшой, еле различимый розовый шрам.

Глава 12

Цыган. Убийство в состоянии аффекта. Снова в колхозе. Участковый Николай Кузьмич. В избе у Насти Кузиной. Ушел. Логический конец.

После того как женщины чуть успокоились, отец рассказал им, что я видел.

– Так это ж Толик Цыган. Ах, сволочь. Оставил его председатель на нашу голову, пожалел. Как был зверем, так и остался, фашист.

– Что, цыганской национальности?

– Да нет. Обличье у него цыганское. Глазами зыркает: зырк, зырк. И волосы кучерявые, черные.

– Ваш, деревенский?

– Пришлый. Появился в деревне до войны. Кто говорит из Молдавии, кто из Чеченских краев. Да он и года не прожил у нас. Как посадили, так всю войну и просидел.

– Так он уже сидел? – удивился отец. – За что ж сидел-то?

– Слушай, Тимофеич, расскажу.

– Выделил ему председатель хатку пустовавшую. Хатка не ахти какая, но жить можно. Толя оказался мужиком мастеровым. Хату поправил. Сам печку новую сложил. В колхоз взяли его конюхом. Коней он хорошо знал, даже, нечисть, ржал по-ихнему. Пошел было по бабам шалить замужним. А бабы на него поглядывали, потому что мужик видный был, ничего не скажешь. И отличие в нем от наших. Наши все больше рыжие, губастые, а этот черный, губы тонкие, нос прямой. Но здесь ему мужики наломали бочка... Не любили его мужики. И дети боялись. Завидят, бывало, еще вдалеке идет, и – врассыпную, а то попрячутся.

Ладно. Через короткое время привел откуда-то из города девку молодую. Девка ладная, справная, только бесстыжая. По деревне ходит, глазами мужиков ест. А те, дураки, тают. Нравится им. Ну, это ладно. А аккуратно перед самой войной это все и случилось.

Тоня подтянула потуже концы платка и продолжала:

– Что у них там с девкой-то этой, Галей, случилось – дело темное. Может, приревновал или еще что, баба-то распутная была. Только стал он ее бить. Она во двор. Он за ней с топором. Да во дворе ее и зарубил. Галя его чуть до калитки не добежала. Крови было! Увидел, что наделал, топор бросил, вбежал в дом, облил все керосином, да поджог. Дом полыхает. Народ сбежался. Сначала не поняли, в чем дело. Потом увидели его мертвую сожительницу. А цыган чуть поодаль стоит и смотрит, как дом горит. Мужики набросились на него, скрутили, а он и не сопротивлялся. Только зубами скрипел, матерился и что-то бормотал не по-нашему.

Тоня помолчала, переживая эту давнюю трагедию. Потом сказала:

– А на суде он не отрицал, что убил девку, плакал, божился, что любил ее и не хотел убивать. Сам, мол, не знает, что на него нашло. В общем, ничего не помнил.

– Убийство в состоянии аффекта, – сказал отец.

– Как? – не поняла Тоня.

– Ну, убийство в состоянии помрачения рассудка.

– Во-во, так и в суде говорили, – закивала Тоня.

– Да-а! – покачал головой отец. – Интересно. А как же это его председатель опять в колхоз принял?

– Да вот так и принял. Вернулся-то тихий, виноватый. Колхозу-то он ничего плохого не сделал. Да и куда ему после тюрьмы-то?.. Первое время так и жил с лошадьми, а потом его приняла Настя Кузина. Он ей еще до войны, до этого случая глянулся. Мужик у нее еще до Цыгана погиб, в речке утонул, с моста на машине пьяный свалился. Детей у них не было, не успели обзавестись, а замуж она больше так и не собралась. А тут война... Ну вот, с ней Цыган и живет. И все б ничего. Люди тот случай забывать стали, да только Цыган пить начал, а начал пить, начал и подворовывать. Не пойман, конечно, не вор, а только до Цыгана в деревне все

спокойно было, а тут: плохо не клади – то одно пропадет, то другое. И кур ворует, и с огорода овощами поживиться не брезгует. Мужики ему прямо сказали: поймаем – убьем.

– А он что? – спросил отец.

– А он отнекивается. Если убьете, говорит, то невинно-го. И скалится, вроде как. в издевку. Из города какие-то подозрительные раза два наезжали. Тогда в сельмаге и один раз, и другой по целому ящику водки брали.

– Плохой человек! Чужой! – заключила Тоня.

– Да уж хуже некуда, – согласился отец.

Тоня замолчала и сидела тихо, ожидая, что еще спросит отец. Но отец тоже молчал, словно взвешивая, как лучше сказать ей про то, что он задумал и, наконец, спросил:

– Тоня, ты своего участкового хорошо знаешь?

– Николая-то Кузьмича? А как же! Хороший человек, душевный, всегда выслушает. Внимательный. Он-то цыгана и сдерживал. А то этот гад здесь и не такого еще натворил бы.

– Вот и хорошо. Придется тебе взяться за это дело. Нам с милицией связываться никак нельзя. Объяснить мы ничего не сумеем, только наживем неприятности.

– Что делать-то? – сразу согласилась Тоня.

– Скажи участковому, что у тебя есть подозрение, что Павла убили Цыган.

– Так как докажешь-то?

– Скажи, что у Павла пропал портсигар, и что ты видела вроде этот портсигар у Цыгана. Пусть участковый поищет его за рамкой с фотокарточками.

– А если портсигара там уже нет?

– Вряд ли он сейчас за ним полезет. Во-первых, не такая это вещь, чтобы рисковать из-за нее. А во-вторых, если Цыган и захочет ее продать, то переждет, пока все утихнет. Портсигару цена-то бутылка. И с собой таскать такую улику он не станет.

– Ну, а вдруг не найдут портсигара, Юрий Тимофеевич? – упрямо стояла на своем Тоня.

– Ну, тогда с тебя и взятки гладки, – успокоил ее отец.

– Ты просто скажи, что они за рамку всегда прячут деньги и всякую нужную мелочь от посторонних глаз. Ты же не уверяешь, что портсигар лежит там. Ты просто думаешь, что он может быть за рамкой.

Недели через две к нам зашли Тоня с бабушкой Марусей. Обе были возбуждены и, несмотря на траур, в хорошем настроении.

– Только что из суда, – объявила Тоня.

– Неужели посадили гада? – обрадовалась мать.

– Пятнадцать лет дали ироду! – с удовольствием сообщила бабушка Маруся. – Бог, он все видит. – И она перекрестилась на угол кухни.

За чаем Тоня рассказала о том, что произошло за эти две недели.

Участковый Николай Кузьмич, человек рассудительный, внимательно выслушал Антонину, которую знал как женщину самостоятельную и серьезную. Павлу он сочувствовал как фронтовик фронтовику. И то, мальчишкой воевал, пол-Европы прошел, а погиб не за понюх табака, так и не пожив как следует и не определив по-настоящему своего места в этой жизни. Цыган же давно был бельмом на глазу у всей деревни. А поэтому участковый принял информацию к сведению и вполне поверил, что все могло быть так, как Антонина и говорила.

Не откладывая в долгий ящик, Николай Кузьмич подождал до вечера, когда, по всем приметам, Цыган должен был находиться дома, и пошел к избе Насти Кузиной. Изба стояла на отшибе, задами к лесу. Открыла Настя. Цыган, как и рассчитывал Николай Кузьмич, оказался дома. Был он уже под хмельком, но еще не пьяный. Настя засуетилась было накрывать на стол, но участковый остановил ее.

– Анатолий, где ты был в субботу, пятого числа вечером? – спросил он Цыгана в упор.

– В субботу? – растерялся Цыган.

– А дома был. В аккурат в субботу, пятого числа.

– Выпимши, дома был, – пришла на помощь Настя.

– Цыц! Не с тобой разговариваю, – прикрикнул участковый. Настя прикусила язык. – Так как, Анатолий?

– Сказано, дома, выпимши был, неуверенно повторил за Настей Цыган.

– А откуда у тебя Пашкин портсигар оказался?

– К-какой портсигар? – сразу осевшим голосом, заикаясь, вымолвил Цыган. Он ожидал всего, чего угодно, только не этого.

– А такой. Обыкновенный, с Кремлем на крышке.
 – На понт берешь, начальник. Нет у меня никакого портсигара.

– Теперь Цыган бравировал. На губах появилась наглая ухмылка.

– А что у тебя за этой рамкой с фотографиями лежит?
 – решил рискнуть участковый. – Настя, ну-ка, пошарь там рукой. Цыган изменился в лице, но продолжал отпираться.

– Я нашел его.

Настя с недоумением уставилась на портсигар, который вынула из-за рамки, посмотрела на Цыгана, потом перевела взгляд на участкового.

– Давай его сюда! – протянул руку участковый. Настя послушно отдала портсигар Николаю Кузьмичу.

– Где ж ты его нашел? – с издевкой спросил участковый.

– Может это не его вовсе! – продолжал отпираться Цыган.

– А вот здесь инициалы обозначены, – участковый поднес портсигар к глазам и прочитал: «М. П. П., Мокрецов Павел Петрович». – Этого ты не заметил, Анатолий.

– Ну, хватит. Цыган, – Николай Кузьмич стукнул ладонью по столу. – Запираться нет смысла: тебя видели с Павлом. Ты его убил.

– А кто видел? Там никого не бы... – Поняв, что проговорился, Цыган метнулся к окну, вышиб ногой и выпрыгнул в огород. Участковый не ожидал такой прыти от выпившего Цыгана и запоздало бросился за ним.

– Стой, стрелять буду, – крикнул участковый, выстрелил в воздух и тут же в по-заячьи петляющего Цыгана, стараясь угадать по ногам. В сумерках Николай Кузьмич плохо видел Цыгана, а тот уже был у самого леса. Участковый еще раз выстрелил, не прицеливаясь, наугад, по едва различимому силуэту, понял, что упустил, и вернулся в избу.

Настя сидела за столом, опустив голову на руки, и ревели, всхлипывая и что-то приговаривая бессвязно.

– Это тебе наука. Надо знать, с кем связываться, – ничуть не жалея Настю, сказал участковый.

– Откуда я знала? – взвывала отчаянно Настя, подняла мокрое лицо и умоляюще посмотрела на Николая Кузьмича.

– Это не знала, другое знала! Если не знала, зачем покрываешь? Врешь, что дома был? знаешь, что за это бывает? – безжалостно говорил, будто гвозди вбивал, участковый. Настя опустила голову и опять заголосила.

– Ладно, успокойся. Будем считать, что ты ничего не говорила.

А поймаем, будет суд, чтоб все как на духу. Одну правду. Поняла?

– По-няла-а-а! – продолжала голосить Настя.

– Я пойду звонить в город, а потом покараулю у тебя на случай, если преступник вздумает вернуться. А ты, если что, уговори сдаться. Тогда будет явка с повинной.

Ночью участковый сидел в засаде в избе Насти Кузиной, но Цыган не пришел.

Утром прибыл наряд милиции. До вечера прочесывали лес.

А взяли Цыгана на вокзале. Дежурный младший лейтенант узнал его по сообщенным утром приметам. Потребовал документы, но Цыган метнулся в сторону, намереваясь скрыться в толпе. Младший лейтенант был начеку и натренированным приемом сшиб его на пол и заломил руку назад. Подоспевший на помощь старшина милиции из линейного отделения, помог отвести Цыгана в участок.

Цыган долго не запирался и сознался в убийстве. «Убил не помнит как. Пьяный был. Попросил у Павла на бутылку. Тот не дал и обозвал его шакалом. А дальше ничего не помнит».

Суд приговорил Цыгана к пятнадцати годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Глава 13

Махатмы. Откровения. Загадочная страна Шамбала. Индийская религиозная философия.

...Передо мной предстал высокий индус в белой чалме. И я услышал зов, как звон, прозвучавший в моих ушах: «Калагия».

– Приди в Шамбалу, – сказал индус. Нет, не сказал, потому что рот его не открывался. Это я услышал слова, исходящие от него.

– Я один из махатм, по-вашему, Великая Душа. Наша страна скрыта от глаз чужих людей. Непроходимые пропасти и снежные лавины перекрывают пути к ней...

И я увидел заснеженные пики гор и почувствовал холодный леденящий ветер. Я перемещался, но не управлял собой, мной управляла какая-то невидимая мощная сила. Эта сила бросила меня на склон горы над пропастью и вложила в меня странные ощущения. Я почувствовал смертельную усталость и одиночество, как будто находился среди этого страшного безмолвия много месяцев. Силы оставили меня, и меня охватило отчаяние от безысходности положения, в котором я оказался. И когда я уже приготовился умереть, пропасть и снег пропали, и я снова увидел индуса и услышал его слова.

Удивительное это было ощущение. Кругом пустота, но теперь чувство покоя, мягкого тепла и уюта словно обволакивали меня, а ясный чистый голос шел не от индуса, а из пространства, хотя я слушал и смотрел на него.

– В Шамбале ты можешь получить великие знания и познать Закон Природы...

Индус исчез как призрак, так же неощутимо и неожиданно, как и появился. Исчезла желанная и мерцающая золотыми точками пустота, в которой была информация о прошлом и будущем, и я перестал осознавать себя, словно растворился в этой пустоте...

Я спросил у отца:

– Пап, что такое Шамбала?

Отец с удивлением посмотрел на меня и сказал:

– Ну, в Азии с давних времен по сей день живут легенды о далекой сказочной стране. Никто не может найти туда дорогу, кроме тех, кто позван ею, немногие избранные, самые добродетельные, чистые, победившие свой эгоизм. А почему тебя заинтересовала эта легенда?

– Во сне приснилось.

– Ох, уж эти твои странные сны, – огорченно вздохнул отец. – Эта твоя чувствительность!.. А как ты себя чувствуешь?

– Очень хорошо, – пожал я плечами. Я действительно чувствовал себя великолепно.

– Расскажи про Шамбалу, – попросил я.

– Ну, это скорее из истории религий. У нас по этой теме мало литературы. Я читал Ромена Роллана, который писал об индийских религиозных философах. На русском языке есть курс лекций Вивеканады, ученика Рамакришны, «Раджа-Йога». Эта книга в свое время восхитила Льва Толстого. Ты же знаешь, что Лев Толстой был отлучен от церкви?

Я кивнул.

– Так вот, я уверен, что отношение Толстого к церкви как раз сформировалось не без участия Вивеканады... А суть учения в том, что Рамакришна, пройдя путями важнейших мировых религий: иудаизма, христианства и ислама, пришел к выводу о Единстве всех религий. Он нашел, что в основе всех религий лежит единая Истина. Он критиковал лжехристианство и лицемерие «христианских» вождей, чем вызвал их озлобление... Ну, тебе, наверно, это не интересно.

– Почему, интересно, – соврал я, – но ты расскажи все же про Шамбалу.

– А что про Шамбалу? Шамбала – это и есть истина, воплощение мечты религиозной философии Азии... Мне приятно, что тебя заинтересовали вопросы религии. Это очень любопытная тема... В Шамбале живут махатмы.

– Великие Души, – подсказал я.

– Ага, уже, значит, читал.

– Существуют древние тибетские манускрипты, упоминающие Шамбалу. Упоминается она и в Индийском эпосе Махабхарата. На Западе знают о Шамбале с древних времен. В России, скорее всего, со времен киевского князя Владимира. По преданию, русский монах Сергей побывал в Шамбале, причем достиг ее один, потеряв всю свою экспедицию и животных, потратив на этот путь много лет. А махатмы, живущие в Шамбале, объясняют свое существование законом космической эволюции человечества. В чем суть этого закона? Я тебе обрисую это в общих чертах. Подробнее, если интересно, прочитаешь.

После смерти человека, его духовная сущность продолжает свое самостоятельное пространственное существование, а приобретаемые человеком умственные и нравственные качества сохраняются, накапливаются и таким образом возрастают. Проходя через многие воплощения, ду-

ховные качества постепенно развиваются, и по истечении какого-то времени человек, наконец, достигает полного человеческого совершенства, и на этом человеческая эволюция завершается. А на следующей стадии жизни, уже «не-человеческой», или даже «божественной», находятся махатмы или Великие Души... Понятно? – внимательно посмотрел на меня отец.

– Что здесь непонятного?

– Хорошо, – продолжал отец. – В индийской религиозной философии есть еще, так называемый, «кармический закон». Карма – это судьба, – встретив мой вопросительный взгляд, пояснил отец. – Этот закон говорит, что та или иная судьба человека – его счастливая жизнь или страдания – обуславливаются следствиями его прежних жизней; каждому воздается по заслугам, каждый пожинает плоды того, что он посеял в прошлом. Может быть, отсюда народное: «Что посеешь, то пожнешь», «Не рой другому яму, сам в нее попадешь»?

– Считается, что махатмы, по сравнению с обычными людьми, обладают колоссальными знаниями и мудростью, а также мощными внутренними силами.

Вот вкратце, что такое махатмы, живущие в Шамбале.

Я молчал, сопоставляя сказанное отцом с виденным мной. Потом спросил:

– Так есть Шамбала на самом деле или нет?

– Сынок, – серьезно ответил отец, – Я атеист, но как сказал Шекспировский герой: «Есть в мире много, друг Горацио, такого, что и не снилось нашим мудрецам». Иногда легенды принимают чудовищные формы, но где вымысел, где истина, кто определит? Я могу сказать лишь, что на основе своих впечатлений от изучения религий, у меня сложилось мнение о том, что христианство с его загробной жизнью, раем и адом – архаично. Хотя это и понятно: христианство пришло к нам в то время, когда мы созрели только для этих понятий. Другое тысячу лет назад мы бы не восприняли. Но ведь эта тысяча лет прошла.

Глава 14

Аникеев мстит за двойки. Пахом вступает за Филина. Подлость. Принципиальная драка.

Филину подпилили ножку стула. Аникеев принес в школу полотно для пилы по металлу и за большую перемену, надев рукавицу, чтобы полотно не резало руку, подпилил ножку стула.

– Зря ты это делаешь, Аникей, – сказал Женька Богданов.

– «Почему зря? – окрысился Аникеев. – Он мне три двойки поставил.

– А что он тебе должен был ставить? Пятерки? Учить надо было,

– А ты что, пролягавишь?

– Дурак! Весь класс из-за тебя попухнет. И Филина жалко. Старик ведь.

– Жалко у пчелки! – вставил Дурнев, заступаясь за Аникеева. – Тебе что, больше всех надо? Пусть пилит. Вот потеха будет.

Дурнев засмеялся, предвкушая зрелище. Его поддержали Себеляев и Кобелев.

– Дураки вы, пацаны! Вовец, хоть ты скажи, – повернулся ко мне Богданов.

– Аникей! Женька верно говорит. Из-за тебя все погорим, – попытался я уговорить Аникеева.

– Кончай, Аникей! – неожиданно вмешался Пахом. – Узнают, из школы вылетитишь.

– Ты что ли донесешь? – Аникеев поднял голову и с угрозой произнес:

– Смотри, Пахом.

– Я доносить не буду. А морду тебе начистить могу.

Пахом принял нелегкое решение. Лицо его побледнело, а желваки заиграли на скулах, хотя внешне он старался быть спокойным. Аникей опешил. Так с ним еще никто не разговаривал. В школе он боялся только Семенова. Но Семенов, сознавая свою силу, вел себя тихо, ни во что не вмешивался и не становился на чью-либо сторону. Аникеев перестал пилить, да там уж и пилить было нечего: ножка держалась на одной щепочке.

– Кто? Ты? – Аникеев спрятал полотно во внутренний карман потертого куцега пиджачка и пошел к парте, за которой сидел Пахом. Пахом встал.

– Стой, Аникей! – Агарков встал между Аникеевым и Пахомовым. Агарков был не слабее Аникеева, но силой они ни разу не мерились.

– Хочешь чкаться, давай, как полагается, после уроков, как договоритесь. Согласен, Пахом?

– Согласен! – осипшим голосом сказал Пахом. Класс ответил одобрительный гулом.

– Где будете чкаться?

– Мне все равно! – ответили оба соперника.

– За сараями согласны?

– Согласны, – ответил за себя и за Пахома Аникеев.

Пахом пожал плечами.

Прозвенел звонок.

– Договорились. После уроков. Правила установим на месте, – торопливо закончил Агарков и пошел на свое место.

Филин вошел в класс и оглядел всех поверх очков. Класс дружно встал. Филин махнул рукой: «Садитесь». Воцарилась мертвая тишина. Филин бросил журнал и тощий черный портфель, вытертый по сгибам до белизны, на стол и еще раз, сдвинув рукой очки, оглядел класс.

Филин сел, ножка подломилась, и старик всем своим грузным телом грохнулся на пол. Ища опору, он ухватился за стол, стол накренился, и на Филина свалился сначала портфель, потом журнал и чернильница, а потом и сам стол. Филин сидел на полу, очки свалились с носа и висели на одной дужке, мутные глаза его беспомощно моргали. Он пытался подняться, но это ему не удавалось. И вдруг Филин разразился бранью.

– Мерзавцы! Всех вон из школы! Скоты! Вас сечь надо! Розгами! В колонии вам место, а не в школе! Ах, негодяи!

И вдруг Филин заплакал. Он сидел на полу и даже не делал попытки встать, потому что не мог. Женька Богданов, а следом я и Пахом бросились к Филину и помогли ему подняться. Кто-то сбегал в учительскую за стулом. Стол поставили на место. От чернильницы непроливайки на полу остались брызги, и Пахом, взяв тряпку с доски, стал стирать

следы, размазывая их еще больше по полу. Филин сидел молча, положив руки на стол и сжимая и разжимая кисти рук, словно массируя их. Попробовал взять ручку, но пальцы дрожали, и Филин оставил ее. Потом взял журнал и портфель, с трудом встал и пошел вон из класса, тяжело передвигая ноги.

– Урока не будет, – бросил он на ходу.

– Ну и сволочь же ты, Аникей! – убежденно сказал равнодушный Семенов.

– Да ладно! – отмахнулся притихший Аникеев. По лицу было видно, что он напуган.

Весь класс с тревогой ждал появления директора или завуча. На Аникеева старались не смотреть, а он замер в своем углу на задней парте и что-то сосредоточенно вырезал перочинным ножом на ученической ручке. Агарков с Кобелевым играли в перышки. Агарков ловко переворачивал металлические перья своим пером, и возле него выросла целая горка перьев. В классе стояла напряженная тишина, и все разговаривали шепотом.

К нашему удивлению, ничего не произошло. К середине урока пришла классная Зоя Николаевна и заставила писать диктант. Мы безропотно подчинились.

После уроков мы, соблюдая конспирацию, по одному – по двое потянулись за школьные сараи.

Пахом с Аникеевым сразу стали друг против друга, исподлобья поглядывая один на другого и сжимая кулаки. Мальчишки теснились рядом, но расступились, когда Агарков, самоизбранный судья, попросил всех отодвинуться.

– До первой крови или до пощады? – спросил Агарков.

– До пощады, – Пахом решил драться до победного конца.

– До пощады! – согласился Аникей.

– Лежачего не бить, ногами не бить, в руках чтоб ничего не было.

Но Пахом и Аникеев Агаркова уже не слушали. Они уже сходились грудь с грудью и толкались плечами, приговаривая, как всегда в таких делах: «Ну, ударь», «Что? Бздимо?», «Начинай!», «Ты начинай!»

Первым ударил Аникей. Ударил в лицо. У Пахома появилась кровь из носа. Пахом вытер нос тыльной стороной

ладони и размазал кровь по лицу. Аникей усмехнулся и торжествующе посмотрел в нашу сторону.

– Дай ему, Аникей! – маленький, но злой Себеляев, Кобелев и Дурнев – вот и все, кто болел за Аникеева. Все остальные желали победы Пахому. И Пахом не разочаровал нас.

Увидев следы крови на руке, он разозлился и вдруг с такой яростью бросился на Аникеева, что тот попятился. Пахом молотил кулаками наобум, попадая и пропуская удары, которые его уже не могли остановить. В этом и была сила Пахома: он не боялся разбитой губы или подбитого глаза. Ему все это было нипочем. С этим он разберется потом. А сейчас перед ним маячила ненавистная физиономия Аникеева, которую нужно раскрасить как можно лучше, и Пахом старался. Теперь его остановить мог разве что Семенов.

– Пахом, Пахом! – скандировали пацаны.

И Аникеев дрогнул.

У него из носа тоже текла кровь, кровь сочилась и из разбитой губы, а под правым глазом все отчетливее проявлялся лилово-сизый фингал. Видно было, что Аникей начинает бояться Пахома и уже не бьет, а только защищается, закрывая лицо руками. Это почувствовали и болельщики Аникеева.

– Хватит! Ничья! – Дурнев попробовал увести Аникея от поражения.

– Ни хера! – тяжело дыша, выдавил Пахом, колотя кулаками куда попало. Аникей, отступая, зацепился за кирпич и упал. Пахом, нетерпеливо подрагивая, как бойцовая собака, которую удерживают на поводке перед тем, как отпустить в круг, ждал, когда Аникеев встанет, но тот вставать не торопился. Он стал ощупывать рукой землю, наткнулся на половинку кирпича, о которую споткнулся, и хотел было взять ее в руку, но зоркий Агарков ногой отбросил кирпич в сторону и строго предупредил:

– А вот это не надо! Как договаривались? В руках чтоб ничего не было. Просишь пощады?

Аникей молча поднялся, но тут же получил хороший удар в подбородок, Теперь он уже просто отмахивался от Пахома, стараясь оттолкнуть его кулаки и хватая за руки.

– Аникей, проси пощады! – кричали со всех сторон. Откуда-то среди нас оказались младшие пацаны из шестого и даже пятого классов.

– Ладно, хватит, Пахом, – выдавил из себя Аникей.

– Проси как следует! – тяжело дыша, потребовал Пахом.

– Ладно. Пощады!

– Атанда! Костя! – раздался чей-то голос, и в считанные секунды площадка за сараем опустела, будто здесь никого и не было.

Глава 15

Ожидание наказания. Да здравствует разум. Мы навещаем Филина. Прощение.

На следующий день класс все еще пребывал в напряженном ожидании. Мы тихо переговаривались и замирали, когда кто-то проходил мимо дверей. Мы извелись и думали только об одном, быстрее пришел бы Костя, и все, так или иначе, закончилось бы. Мы ждали справедливого наказания за свою подлость. Даже раскрашенные физиономии Пахома и Аникея не смогли нас развеселить. И Аникей и Пахом молча плюхнулись за свои парты и поглядывали на всех исподлобья. По их лицам нельзя было понять, кому больше досталось. У обоих под глазами светило по лиловому фонарю, носы припухли, а у Аникея кроме того чернела ссадина на подбородке. Мы знали, что Пахому досталось еще и от матери.

Урок проходил за уроком, а директор не шел, и никого никуда не вызывали. Пришел черед математики. Мы замерли в ожидании Филина и не сомневались, что он появится с Костей. Но вместо Филина в класс вошла физичка.

– А где Матвей Захарович? – прозвучал в полной тишине вопрос.

– Матвей Захарович серьезно заболел и, может быть, больше не будет у вас вести уроки. Физичка обвела класс неприязненным взглядом через стекла своих холодных очков и убежденно сказала:

– Довели?!

От такого поворота на душе стало совсем муторно.

– Лучше бы нас наказали, но Филин остался, – выразил общее настроение Женька Третьяков, когда урок закончился и прозвенел звонок.

– Пацаны! – сказал Богданов. – Надо идти к Филину,

Все будто только этого и ждали. Пацаны загалдели, появился смех. Но Семенов вылил на нас ушат холодной воды.

– Выгонит, – убежденно изрек Семенов. – За такое на порог не пустит.

Галдеж сразу стих. И опять мы чувствовали неловкость в этой безысходной ситуации.

– Выгонит, значит выгонит, – подумав, решил Богданов. – А идти все равно надо. Только, я думаю, Филин нас не выгонит.

– Аникей, ты пойдешь? – повернулся к Аникееву Женька Третьяков.

– Чего я там не видел? – промямлил Аникеев.

– Бздишь? – презрительно усмехнулся Пахом.

– Чегой-то я бздю? Могу и пойти, – сразу согласился Аникей. Но на Пахома он не глядел.

После уроков мы узнали в учительской адрес Филина. Классная одобрила нашу идею, а географичка Нина Капитоновна даже расчувствовалась.

– Сходите, сходите. Он так будет рад, – пропела она расстроганно, а потом понизила голос и строго предупредила:

– Только вы там будьте поделикатнее. Матвей Захарович очень одинок. Сын погиб в самом конце войны, а жена вскоре умерла. Живут они вдвоем с сестрой. Говорят, не очень ладят.

– Нина Капитоновна! – укоризненно покачала головой Зоя Николаевна.

– Не беспокойтесь, Нина Капитоновна. Мы понимаем, – ответил за всех Женька Богданов, и все согласно закивали головами.

Филин жил на той же улице, где стояла наша школа, только выше. Мы нашли дом по номеру, написанному мелом над калиткой. Сам дом стоял в глубине сада и из-за старого дощатого набора не был виден. Мы скреблись в калитку, не решаясь постучать громче, и долго ждали, пока до

нас донесся скрип открываемой двери и усталый женский голос спросил: «Кто там?»

– Даже собаки нет? – удивился Дурнев.

– Почему ты знаешь? – спросил Себеляев.

– А чего тут знать? Не брешет, значит нет. У нас у Дорфманов мимо ворот пройдешь, так полдня потом собака брехать будет.

– Кто там? – теперь голос был рядом, за калиткой.

– Мы к Матвею Захаровичу, ученики, – вразнобой ответили мы.

Звякнул засов, и калитка отворилась. Немолодая уже женщина с грустными карими глазами, очень похожая на Филина, стояла перед нами. Тот же взгляд, как бы исподлобья, хотя она и была без очков, тот же крупный, но правильный нос. Из-под простенькой ситцевой косынки, завязанной узлом сзади, выбивались темно-русые с проседью волосы. У Филина волосы были белыми как мел, которым он писал на доске условия задач, но, наверно, раньше они были вот такими темно-русыми, как у сестры.

– Проходите, я ему скажу, – в голосе женщины было удивление. Она пошла вперед, у дверей обернулась:

– У нас, кстати, в доме колокольчик. Нужно было подергать за проволочную петлю справа от калитки.

Действительно, через весь сад от забора тянулся тонкий проволочный шнур. Мы просто не заметили проволочную петлю у калитки.

– Подождите минуточку! – сказала женщина и ушла в дом.

Мы огляделись. Весь сад состоял из нескольких яблонь и ягодных кустов вдоль проволочной ограды, отделявшей соседние участки слева и справа. Вдоль дорожки еще стояли цветы: коготки, бессмертники, и чудом держались астры. Дорожку, вымощенную когда-то давно красным кирпичом, который высыпался от времени, устилали жухлые листья. Домик был невелик и стар. Крыша под железом, но облезлая, оттого что ее давно не касалась краска. Фундамент чуть просел, от чего и двери, и окна покосились. Стекла в окнах были вставлены местами из половинок, а стыки замазаны для тепла замазкой. За домом угадывался небольшой огородик, вряд ли больше двадцати метров в дли-

ну: нам виден был тупик из редких, черных от времени, досок.

– Входите! Матвей Захарович вас ждет. Только он просит извинить его. Ему нельзя вставать.

Мы не заметили, как открылась дверь, и к нам снова вышла сестра Филина. Она провела нас через сенцы, где в беспорядке, на небольшом квадратном столе, на полу, на стульях стояли пустые банки, бутылки, а в углу теснились мешки, наверное, с картошкой, приготовленной для засыпки в погреб, в комнату с низким потолком, до которого каждый из нас мог дотянуться рукой. В углу стояла железная узкая кровать, на которой полулежал на высоко поднятых подушках наш Филин. Нижняя рубаша (к таким рубашам солдатам выдают кальсоны с тесемками внизу у щиколоток) белела в тускло освещенной одним окном комнате.

– Здравствуйте, Матвей Захарович! – ребята неловко поздоровались и замолчали, не зная как вести себя дальше.

– Здравствуйте, здравствуйте, орлы! – голос Филина будто смазали елеем. Он звучал вкрадчиво и ехидно. – Пришли все же! Не испугались!.. Это кто ж тут у нас? Ну, конечно, Богданов, Третьяков, Анохин. И Дурнев тут, и Аникеев, и Себеляев... – Теперь в его голосе было удовлетворение.

– Матвей Захарович! – начал Богданов. – Мы просим у вас прощения за наш дурацкий поступок. Мы сознаем, что поступили подло.

– То-то, что подло. А ты, Богданов, выходит, за всех отдуваешься. Вон как у тебя лихо все получается, «осознали», «поступок». Прямо, как на собрании. Ты-то этого не делал, небось? – Филин дышал тяжело. Видно, говорить ему было трудно.

– Не делал! Но...

– Это я подпилил ножку! Я не думал, что все так выйдет, – тихо сказал Аникеев.

Ребята изумленно глядели на Аникеева, а он стоял бледный, с дрожащими губами, и слезы готовы были брызнуть из наполненных глаз.

– Простите меня! – и он, не дожидаясь, что скажет Филин, бросился вон из комнаты. Что-то громынуло в сенях, хлопнула дверь.

– Остановите его. Скажите, что я на него не сержусь.

Дурнев кинулся было за Аникеевым, но вернулся тут же и сказал:

– Не догнать. Он уже по улице бежит.

– Вот вам и Аникеев! – сказал растроганный Филин, – А ведь это поступок!.. И главное, что сам!

– Матвей Захарович, – загалдели ребята разом. Мы вас любим. Не уходите от нас.

– Вера! – позвал Филин.

Вера не услышала, и Пахом сходил за ней.

– Вера, принеси-ка этим замечательным хлопцам яблочек.

– Пахомов! – удивился вдруг Филин. – Это кто ж тебя так разукрасил?

– Да так! – Пахом поспешил закрыть ладонью фингал под глазом и отступил ближе к двери, где потемней.

– Это они с Аникеевым подрались, – проговорился Себеляев, и запоздалый толчок в бок не успел остановить его.

– Ах, вот оно что! – понял Филин и перевел разговор на другую тему, чтобы не смущать Пахомова.

– Как там в школе? Кто ведет математику? – поинтересовался Филин.

– У нас вместо математики физика.

– Это плохо, – нахмурился Филин.

– Поправляйтесь скорее, Матвей Захарович.

– Постараюсь, – усмехнулся грустно Филин. – Стар я уже. Поправиться хочу, да организм мне плохо помогает. Не справляется... А где же остальные? Я не вижу Агаркова, Семенова.

– Мы, Матвей Захарович, решили, что всем идти неудобно. Мы делегацией.

– Молодцы все же, что пришли. А вот и яблоки.

В комнату, улыбаясь, вошла сестра Филина. Она несла большую вазу спелого «штрифеля».

– Ешьте, не стесняйтесь, – сказала тетя Вера, и мы степенно, не торопясь, потянулись за крупными с аппетитными малиновыми полосками фруктами.

Домой мы летели на крыльях. Нас переполняла тихая радость от хорошего поступка и желания совершать только доброе.

«Артисты из Москвы». Фокусник. Представление в школе. Я теряю контроль.

В школу приехал фокусник, и Кобра собирала с учеников по тройку, чтобы заплатить за представление.

К нам всегда приезжали артисты из Москвы. Даже лектор, выступавший у нас с лекцией «О захватнических планах империализма», был из Москвы, Фотограф, снимавший школьников по случаю окончания шестого класса, тоже был из Москвы.

Однажды школу посетил поэт, из Москвы.

Поэтов мы знали только тех, которых проходили. Их было немного: Пушкин, Лермонтов, да Некрасов. Еще Кольцов, Фет, Тютчев, упоминавшиеся в младших классах, по затасканым стихам вроде:

Мама, глянь-ка из окошка –
Знать, вчера недаром кошка
Умывала нос:
Грязи нет, весь двор одело,
Посветлело, побелело –
Видно, есть мороз.

Или:

Зима недаром злится,
Прошла ее пора –
Весна в окно стучится
И гонит со двора.

Поэт рассказывал, какую он сложную жизнь прожил, а потом читал стихи из тоненькой, как ученическая тетрадка, книжечки. Когда классная попросила задавать вопросы, поднялся лес рук. Но вопросы не отличались разнообразием и касались в основном войны:

- А сколько вы убили фашистов?
- А сколько у вас медалей?
- А вы Сталина видели?

Сталина поэт не видел, медаль у него была одна «За отвагу», фашистов он видел, но не убивал, потому что служил корреспондентом в полковой газете.

В горсаду на открытой эстраде постоянно выступали артисты из Москвы. В филармонии пел хор и танцевал ан-

самбле песни и пляски из Москвы, в кинотеатрах перед ансамбами пели певцы и певицы из Москвы.

Казалось, вся культурная Москва на время прописалась в нашем городе.

У местного отдела культуры голова по этому поводу не болела. Народ отказывался принимать других артистов. Ну, какие могут быть артисты в Туле или в Ельце? В Туле могут быть самовары и пряники, а в Ельце кружева. А артисты в Москве. И отдел культуры, не мудрствуя лукаво, зачислял всех гастролирующих артистов в москвичи.

На следующий день после уроков все, кто сдал деньги, собрались в большом проходном классе на втором этаже. Часть парт сдвинули к стене, образовав сцену с учительским столом для артистов. Их было двое: фокусник, щуплый человечек с оттопыренными ушами и в клетчатом пиджаке с бабочкой вместо галстука и молодящаяся пышная блондинка с ярко накрашенными губами.

На представление пришли в основном младшие классы, старших оказалось немного. В общей сложности сдавших деньги на фокусника набралось не больше полусотни. Стоял невообразимый гам, пацаны старались занять места поближе; кто не успел, становились ногами на парты.

Я с Пахомом и Женькой Третьяковым на правах старшеклассников сидели за партой рядом с условно обозначенной сценой. Фокусник открыл чемодан и стал вытаскивать различные предметы, передавая их ассистентке, и та клала их на стол. Это были стальные кольца, карты, какая-то машинка, похожая на арифмометр, который приносил на урок математики Филин, деревянный ящичек с крышкой, бутылка с чем-то белым, как потом оказалось, с молоком. Плоский черный круг превратился вдруг в цилиндр, который фокусник надел на голову. Все засмеялись, и фокусник объяснил:

– Это называется шапокляк.

Он снял цилиндр и снова сплющил его, потом опять превратил в цилиндр и надел на голову. В руках у фокусника появилась трость, и вдруг эта трость стала летать вокруг его рук, которыми он словно дирижировал. Зрителя заплотировали.

– Резинка, – тихо сказал Пахом. Фокусник, по-видимому, услышал и с улыбкой протянул трость Пахому. Тот смутился, но трость взял, повертел ее, провел по ней рукой и вернул фокуснику.

– Чистая, – объявил он без особого энтузиазма.

Потом артист показывал фокусы с картами. Он просил запомнить масть, тасовал карты и безошибочно находил нужную. Еще он угадывал имена и год рождения ребят или имена их родителей. Сначала ребята шепотом говорили ассистентке имена или даты рождения, а потом она заставляла фокусника думать, еще лучше думать, правильно думать, думать быстрее или точнее, и тот после двух трех попыток давал правильный ответ. Иногда ассистентка спрашивала: «До чего я дотронулась?» И снова требовала от фокусника: «Отвечайте не сразу, думайте, четче, точнее!». И он снова угадывал.

Фокусник доставал из цилиндра ленты и бумажные цветы. Он складывал в пустой ящик с крышкой рубли, и они превращались там в червонцы. А рубли он печатал на машинке, похожей на арифмометр. Закладывал нарезанную белую бумагу, поворачивал ручку и появлялся рубль.

– Ух ты, – воскликнул Женька Третьяков. – Настоящий.

– Молодой человек, – усмехнулся фокусник. – Если б он был настоящий, мне не нужно было бы работать.

А потом случилась эта дурацкая история. Фокусник подошел к Семену Письману, стоявшему за старшими ребятами, и вытащил его на сцену.

– Хочешь молока? – спросил фокусник Семена. Семен глупо улыбался и молчал.

– Хочет, хочет! – кричали пацаны с парт.

Фокусник налил из бутылки в стакан молоко и дал Семену. Тот боялся какого-нибудь подвоха и не пил.

– Пей, Семен! Чего боишься? – крикнул кто-то с задних парт. Семен поднес стакан ко рту и стал медленно пить молоко.

– Так, – радостно произнес фокусник. – Ты мне должен за молоко два рубля.

Глаза Семена расширились, он испуганно посмотрел на нас, потом на фокусника и сказал едва слышно, заикаясь:

– У-у меня нет.

– А как же быть? Молоко выпил, а заплатить не можешь?

Фокуснику было весело, и он подмигивал нам, словно приглашая разделить его радость. Семен готов был провалиться сквозь землю, он чуть не плакал и беспомощно глядел то на фокусника, то на нас.

Мне стало его жалко. И пацаны притихли и уже не разделяли веселья фокусника, а тот продолжал изгаляться:

– Что же мне с тобой делать? Может Розалия Прокоповна к тебе домой ходит.

У мамы ведь есть деньги?

– Нет у него денег? Чего пристал? – раздался одинокий голос

– Ну, раз нет денег, значит отдавай назад молоко.

– У меня нет молока! – выдавил из себя вконец растерявшийся Семен.

– Как это нет? Есть! – объявил фокусник. Розалия Прокоповна, держите стакан. Фокусник согнул пополам Семена, надавил на живот, а руку его стал качать как колонку. В стакан, который держала Розалия Прокоповна, полилось молоко.

Пацаны захохотали, завизжали от восторга, а Семен стоял бледный, и из глаз его катились слезы.

– Сейчас я ему ‘покажу фокусы! – шепнул я Пахому.

– А можно мне? – я встал и пошел к столу.

Фокусник с недоумением посмотрел на меня, пожал плечами и сказал:

– Розалия Прокоповна, налейте молодому человеку молока.

Ассистентка налила стакан молока и с улыбкой протянула мне. Но, к всеобщему удивлению, стакан взял фокусник и выпил содержимое стакана до дна. Розалия Прокоповна открыла рот, чтобы сказать что-то, но снова закрыла, так ничего и не сказав. Глаза ее расширились, еще немного и полезли бы на лоб.

– Розалия Прокоповна! У него есть деньги? – спросил я.

– Н-не знаю, я ничего не знаю.

Розалия Прокоповна была близка к истерике.

– У него нет денег, – сказал я, поворачиваясь к пацанам.

– Качай, – орал восторженные зрители. Я согнул безропотно подчинившегося мне фокусника и стал качать его руку. Молоко фонтаном полилось на пол. Розалия Прокоповна лишилась дара речи и стояла беломраморной статуей, опираясь рукой на край стола, чтобы не упасть.

Я выпрямил фокусника, провел рукой перед его глазами и сел на место. Фокусник не понял, что произошло. Он недоуменно смотрел, как его ассистентка Розалия Прокоповна, которая, наконец, заговорила, заталкивает реквизит в чемоданы и все время повторяет:

– Родик, быстрее! Родик, идем быстрее!

– Молодец, Вовец! – кто-то сзади легко стукнул меня ладонью по плечу...

– Зря ты это, Вовец! Только разговоры лишние пойдут. Тебе это нужно? Сам говоришь, что отец не разрешает тебе показывать всякие трюки на людях! – выговаривали мне Пахом и Женька Третьяков!

– Да поганый мужик этот фокусник. Мне за Семена обидно стало, – оправдывался я, понимая, что не нужно было этого делать, и жалел, что не сдержался.

Глава 17

Дома после школы. У Каплунского. Набивалочки. Спор. Рассказ про Кума и Ореха. Кто они? Шпана?

Мать жаловалась отцу:

– Все руки сбила кирпичом. Когда хоть это кончится?

Каждая домохозяйка должна была отработать по тридцать часов на расчистке города, и мать раз в неделю ходила расчищать завалы разрушенных домов.

– А вам разве рукавиц не дают? – удивился отец. Он приехал на обед и мыл руки перед умывальником, а мать стояла с полотенцем рядом.

– Дают, да не всем хватает.

Мать бросила работу в парикмахерской по настоянию отца, после того как его назначили директором Хладокомбината, и по вечерам бегала на курсы кройки и шитья. У нее

была швейная машинка «Зингер», приданое, которое она умудрилась сохранить, тащила с собой в эвакуацию, а потом привезла назад. Дядя Коля, отцов брат, приделал к машинке маленький моторчик и сделал ее электрической, чему мать радовалась как ребенок.

Бабушка Василина сидела в своей келье и плела круглый коврик из разноцветных лоскутов ситца, порезанных на полосы и связанных в бесконечную ленту, намотанную на клубок, похожий на футбольный мячик.

– Пришел, ангел божий! – пропела ласково бабушка Василина, и, бросив свои крючки, притянула меня к себе и поцеловала в лоб.

– Некогда, баб! – я вырвался из ее добрых рук и пошел на кухню, где мать накрывала отцу на стол. Женщины с ним никогда не садились. Они старались поесть до его прихода и мать кормила его отдельно по старой домохозяйской традиции.

– Вов, садись со мной! – позвал отец.

– Да он уже пообедал, – ответила за меня мать.

– Как в школе? – скорее по привычке спросил отец.

– Хорошо! Вечером расскажу! – отмахнулся я и выскок за двери. Мы теперь собирались у Каплунского, где играли в набивалочки и вели свои ребячьи разговоры. На улице становилось все холоднее. Уже мороз пощипывал уши, а без варежек мерзли руки. Снег падал, но не ложился и за день успевал растаять, оставляя слякоть, которая противно хлюпала под ногами.

С нами не было только Мишки Монгола и Витьки Моти. Мы их видели редко. Зато вся остальная компания в полном сборе разместилась на табуретках и кроватях, ожидая своей очереди бить внутренней частью стопы по кусочку свинца, прикрепленного к коже кроличьего или цигейкового меха, чтобы он планировал насколько это возможно.

Пацаны тоскливо смотрели, как Пахом подкидывает набивалку, и она летит выше головы и точно опускается на ногу Пахома, и, кажется, что конца и края этому размеренному полету не будет. А Пахом, словно издеваясь над нами, то замедлял, что ускорял темп, и набивалка летела к самому потолку или едва отрывалась от ноги. Наши глаза друж-

но поднимались и опускались вслед за набивалкой, а лица оставались серьезными, будто мы решали проблему мирного сосуществования двух систем.

– Пахом, не упернись, – ехидно оказал Каплунский.

– Бессовестный! Маме скажу! – тут же раздался обиженный голос Лизки.

– Пахом, играй как надо! Что ты бьешь ее до потолка? Это не по правилам, – попытался придрататься к Пахому Самуил.

– Как хочу, так и бью, – огрызнулся Пахом. – Когда ты набивал, тебе никто ничего не говорил.

– Конечно, так ты отдыхаешь! Это каждый набьет, сколько хочешь!

Пахом молча продолжал набивать. Пацаны уже насчитали девяносто шесть, когда Пахом перебросил набивалку с правой ноги на левую, чтобы подкинуть её внешней частью стопы, но набивалка скользнула по пятке и улетела в сторону.

– Кто следующий? – спросил Мухомеджан. – Ты, Каплун?

– Нет, я! – Самуил вышел на пяточок. Расправил белый мех на своей шикарной набивалке и, два раза поймав ее рукой, что считалось по правилам, вошел в ритм, и его нога, как маятник задвигалась вверх-вниз навстречу плавно опускающейся набивалке.

Больше Пахома никто набить не мог, и вскоре игра как-то сама собой потухла. Когда очередь снова дошла до Пахома, он зевнул, потянулся и сказал:

– Больше неохота. Да и набивалку плохо видно.

В полуподвале и в самом деле уже стало темно, хотя на улице еще только опускались сумерки.

– Пацаны, – оживился вдруг Мухомеджан. – Помните бревно, которое лежит перед домом Ивана, шофера? Ну, Ваньки Бугая?

Все помнили это бревно чуть не в обхват взрослого мужика и метров четырех длиной. Ванька Бугай жил возле ремеслухи, не той, где мы всегда купались, а той, что разместились в бывшей синагоге, рядом с женской школой, куда летом привозили бесплатное кино. Мимо этой ремеслухи мы ходили через плотину в горсад. А бревно это от спиленной осины лежало с незапамятных времен в ложбине меж-

ду тротуаром и дорогой у частного дома. На этом бревне хорошо было сидеть и смотреть, как улица играла в футбол или лапту.

– Завтра Вадик Кум на спор пронесет это бревно десять шагов.

– Не пронесет, – Самуил с сомнением покачал головой.

– Кум? Пронесет, – убежденно сказал Пахом. – Спорим?

– Спорим! Я говорю, не пронесет, – Самуил протянул Пахому руку. – На что спорим?

– На твою набивалку.

У Самуила была хорошая набивалка, аккуратно вырезанная по коже кружком, с длинным песцовым ворсом.

– Ладно, – поколебавшись, согласился Самуил. – Тогда ты ставишь свою битку.

У Пахома для игры в «цару» был массивный Петровский пятак, которым он разбивал кон и немилосердно гнул монеты, переворачивая их с решки на орел.

– Вовец, разбей! – повернулся ко мне Пахом.

Я разбил их руки и подумал о том, что Самуил проспорил свою набивалку.

– А вы слышали, как Кум ходил в секцию тяжелой атлетики записываться? – спросил Мухомеджан.

– Нет, не слышали, – ответил за всех Каплунский.

– Я слышал, Витька Мотя рассказывал, – сказал Самуил.

– Ты слышал, мы не слышали. Рассказывай, Аликпер, – попросил Пахом.

– Ну вот, Карпачева знаете? – Мухомеджан обвел нас внимательным взглядом и убедился, что мы знаем.

Карпачев был известным тренером по штанге в нашем городе. Он ходил, широко расставляя ноги и растопыривая руки, потому что мешали мышцы. Карпачев водку пил не часто, но когда приходило время пить, пил лихо, буянил и, в конце концов, попадал в вытрезвитель, откуда его наутро выпускали тихого и виноватого. Милиционеры относились к нему уважительно, он тренировал динамовцев, считался классным специалистом, а его ученики, которых переманивали в Москву, уже выступали на первенстве России и даже Союза. Да и мужик Карпачев был добрый.

– Так вот, как-то Карпачев пришел на заводские соревнования по гиревому спорту. Ну, Кум там вообще король. Он трехпудовую гирию выжимает раз сорок, а двухпудовик вообще сколько хочешь. Ну, занял он, конечно, первое место, а Орех, понятно, второе. Карпачев к ним подходит и говорит, приходите, мол, ко мне в секцию, гирия, мол, ерунда, будете штангу поднимать, может, что дельное и получится. Ну, поговорили и забыли. А недели через две Орех с Кумом шли мимо «Динамо», да и зашли. В зале, конечно, пацаны тренируются. В трико, как положено. Карпачев и говорит: «Ну, пришли, так раздевайтесь, начнем тренироваться». А Орех и говорит: «Да мы еще не знаем. Нам бы попробовать». Подходит Орех к штанге, с которой занимался перворазрядник и спрашивает: «Сколько здесь»? «Тебе еще этого не поднять, – говорит Карпачев. – Это в жиме больше второго разряда, если судить по твоему весу». «Я попробую». Орех скинул пиджак, подошел к штанге, с трудом накиннул ее на грудь и легко, не останавливаясь, выжал. У Карпачева глаза на лоб полезли. Потацил Ореха к весам. Взвесил его и говорит довольно: «Да это же чуть-чуть не первый разряд. Да я тебя теперь отсюда не выпущу». Тут подходит к штанге Кум и просит прибавить к этому весу еще десять килограммов. Карпачев ему говорит: «Эй, парень, ты сдвинулся? У нас тяжеловесы с этим весом не тренируются». А Вадик Кум, он раздетый такой мощный, а в одежде даже худым кажется. Я, говорит, попробую. «Ну, пробуй». Карпачев отошел в сторону и с улыбочкой ехидной такой смотрит. Пацаны бросили тренировку, тоже стоят, смотрят. Вадик скинул пиджачишко, подошел к штанге, зажал гриф пальцами, постоял чуть, и... бымс – штанга выжата. У Карпачева улыбка сошла с лица, а Вадик говорит: «Прибавьте еще десять килограммов». Орех смеется. «Прибавляй, прибавляй, – говорит». Прибавили – выжал. Еще прибавили и опять выжал. Пацаны захлопали, а Карпачев забегал, бледный от волнения. «Какой у тебя вес?» – спрашивает. «Семьдесят». «Не может быть!» Взвесил – шестьдесят девять шестьсот, «Это же норма мастера спорта», – орет Карпачев. – Тебе технику поставить для рывка и толчка, – и ты мастер спорта, чемпион... Орех-то килограммов на десять тяжелее Кума.

Пацаны слушали, затаив дыхание. А Мухомеджан замолчал. У него всегда где-то тормоза не ко времени срабатывают. На середине слова вдруг остановится, а потом забудет, о чем говорил.

– Ну! – подтолкнул Алика Армен. – Что дальше-то?

– А дальше ничего, – флегматично ответил Мухомеджан. – Орех вообще не стал ходить на тренировки, а Кум два раза сходил, а на третий пришел выпимши и бутылку с собой принес. Они с Карпачевым выпили, а потом пошли допивать. Утром оба проснулись в вытрезвителе. После этого Карпачев сказал Куму: «Жаль. Ничего из тебя не получится. А мог бы стать великим спортсменом».

И всем стало бесконечно жалко, что у Кума ничего не получилось.

– Что ж он не мог бросить водку ради спорта? – с горечью сказал Армен.

– Нужен им этот спорт! Им бы выпить, да побузить! – заметил Каплунский.

– А откуда у них сила? – поинтересовался Сеня Письман.

– Действительно, где-то же они мускулы тренируют?

– Знаете, где Орех живет? – спросил Мухомеджан и сам ответил, хотя мы и так знали. – Рядом с Мишкой Горлиным, у которого брат Иван, морской летчик. Ну вот, я у Мишки во дворе был и видел, как в соседнем дворе Орех и Кум с гириями тренируются. А еще у них там штанга самодельная и гантели. Они же слесарями на пятом заводе работают. Все сами могут сделать.

– Хреновня это все, – твердо сказал Самуил.

– Что хреновня? – не понял Мухомеджан.

– Да все. Штанга, гантели. Все в природе дело. Куму сила от природы дана. Вот ты, Изя, хоть десять раз в день штангу поднимай, а толку от этого, как от козла молока будет.

Все засмеялись, а Изя Каплунский виновато улыбнулся, соглашаясь с Самуилом.

– Алик, а чего Кум такой злой? – спросил Володька Мотя. – Я раз нес керосин, мать посыпала, а он дядьку бил. Тот упал уже, так он его лежачего ногами, там женщины остановились, стали кричать, и он ушел.

– Да, Кум в драке – зверь. Если б не Орех, он бы наделал дел, – подтвердил Мухомеджан. Орех умный, никогда головы не теряет.

– А Мирон? Они ж часто втроем ходят, – поинтересовался Каплун.

– А Мирон что? Ему что Орех скажет. Но дерется тоже здорово. ... Троица, что надо. Недаром их шпана боится.

– А они не шпана? – усмехнулся Самуил.

– Они рабочий класс и шпану не любят, – отрезал Пахом.

– Шпана ворует, а они на заработанные гуляют.

Мы не заметили, как совсем стемнело, – зимой темнеет быстро, – и сидели, не зажигая света.

– Скоро мать Каплуна с работы придет. Надо расхотиться, – заметил Мухомеджан.

– Ну, пойдем завтра смотреть? – спросил Пахом.

– А как же! – согласились пацаны.

Глава 18

Вор Курица. У дома Ваньки Бугая. Печать смерти. Кум выигрывает спор, а Пахом набивалку.

На следующий день к шестому уроку у Пахома вдруг заболел живот. Боли были такими сильными, что я попросил англичанку разрешить мне проводить Пахома домой. Бесхитростная Аллочка так запереживала, что даже переменилась в лице. Она замахала руками, что вы, мол, спрашиваете, конечно, идите.

– И обязательно покажитесь врачу, – наказала Аллочка, когда за нами уже закрывались двери.

Когда мы с Пахомом миновали школу и вышли на Московскую улицу, живот у Пахома прошел, и врач ему был уже не нужен. Мы шли не спеша, наслаждаясь морозным солнечным днем. Снег валил всю ночь, и, к нашей неожиданной радости, мы проснулись зимой. Снег поскрипывал под ногами. Люди, подгоняемые морозом, подняв воротники, бежали по своим делам. Громыхал по рельсам трамвай. Воробьи затеяли драку из-за чего-то съедобного, что нашли на снегу. Они подняли писк и щипали друг друга так, что

пух летел во все стороны, прямо на тротуаре, не обращая внимания на прохожих, а те обходили их стороной. Пахом пугнул воробьев, и они сорвались с места и вспорхнули дружной стайкой на дерево, прошуршав маленькими быстрыми крыльями.

– Я свободу лучше чувствую, когда срываюсь с уроков, – поделился своим открытием Пахом. Глупо было не согласиться, потому что я чувствовал то же самое, хотя не был таким крупным специалистом в этом вопросе, как Пахом.

Мы пошли не по Московской, как всегда ходили домой, а по Дзержинской, мимо разрушенных церквей. Вместо руин здесь была теперь ровная площадка. Мать говорила, что там собирались разбить сквер.

– Смотри! Курица! – толкнул меня в бок Пахом. На улице, прислонившись к завалинке двухэтажного каменного дома, сидел на корточках горбун. Длинные ноги его, обутые в просторные сапоги, коленками упирались в подбородок, а плечи выступали где-то за ушами, словно, голову вбили в туловище кувалдой. Острый большой нос нависал над верхней губой и придавал черному обветренному лицу зловещее выражение. Это был уже немолодой мужчина, хотя шапка черных волос, чуть прикрытых на макушке шапкой ушанкой, если бы не седина, больше подошла бы молодому.

– Пойдем скорее! – потянул меня за рукав Пахом, и я, невольно поддаваясь его страху, ускорил шаг. Курица, когда мы поравнялись с ним, бросил на нас быстрый, как выпад змеи, взгляд и испепелил нас углями своих горящих глаз. Я готов был поспорить, что физически ощутил ту мощную силу, которая исходила из этого человека. Не сговариваясь, мы побежали и только за углом перевели дух.

– Чего ты побежал-то? – спросил запыхавшийся Пахом.

– А ты чего?

– Сам не знаю. Про него знаешь, что рассказывают.

Про Курицу ходили разные слухи. Курица был «вором в законе». Говорили, что он держал воровской «общак», а это доверяют самым авторитетным, но значительная сумма из общих денег куда-то пропала. Курицу не убили, но искалечили до смерти и оставили умирать, но Курица выжил.

Его нашла и выходила какая-то красавица. Оказалось, Курицу подставил другой авторитетный вор, который метил занять его место. Это вскоре всплыло. Того, кто украл деньги, сурово покарали, вынеся ему смертный приговор, который и привели в исполнение, а перед Курицей извинились и назначили ему щедрый пенсион.

Красавице, которая его выходила, Курица купил дом и иногда ходил к ней и дарил щедрые подарки.

Она, говорят, предлагала ему выйти за него замуж, но Курица не захотел из-за своего уродства.

А кто говорил, что это его изуродовали в милиции за то, что он не выдал своих подельников. А после того, как он вышел больным из тюрьмы, его выходила молодая красавица, которая любила его еще до тюрьмы и не бросила, когда он стал калекой. Воры назначили ему такой пенсион, что он купил своей красавице дом и иногда ходил туда, но не хотел жениться из-за своего уродства.

Мы не знали, да нам это было и ни к чему, где тут правда, где вымысел. Зато мы знали, что Курица был связан с ворами, и воры время от времени увозили его куда-то, наверно, на свою сходку.

А в остальное время Курица зимой и летом сидел на корточках возле своего дома и смотрел на улицу.

– Вовец, а ты знаешь, что в этом же доме живет Лева Дубровкин? – живо спросил Пахом.

– Знаю, – сказал я. – Только я не знал, что Курица тоже живет в этом доме. И Курицу я вижу в первый раз.

– Недаром говорят, что Лева сам шпаной был до работы в розыске. Поэтому он так их повадки и знает хорошо.

– Да ему небось тот же Курица и подкидывает информацию, – усмехнулся я.

– Да ну, вряд ли! – недоверчиво посмотрел на меня Пахом. – Хотя, кто его знает.

У дома Ваньки Бугая на бревне сидели мужики. Ни Кума, ни Ореха видно не было. Зато на другой стороне стояли пацаны: Каплунский, Самуил, Мухомеджан, Артур Григорян, Семен, Мотя-младший. Мы с Пахомом перешли на другую сторону, чтобы не проходить мимо мужиков, и подошли к своим пацанам.

– Здорово, огольцы? Когда начнут-то? – поинтересовался Пахом.

– А кто их знает! – пожал плечами Мухомеджан.

– Говорят, в два, а сейчас сколько?

– Наверно, уже третий час, – ответил я.

– Мы удрали с шестого урока. А шестой урок начинается в час пятнадцать. Пока с англичанкой трепались, туда-сюда, пока шли. Точно, два уж давно есть, – прикинул я.

– Так у них в два только работа кончается. Сегодня суббота, короткий день. Пока поедят. Раньше трех не начнут.

– Самуил, а ты чего не в техникуме? – поинтересовался Пахом.

– А у нас физкультура, я освобожден.

– Грыжа что-ли? – засмеялся Мухомеджан.

– Нет, ангина. Врач говорит, гланды надо удалять, – стал объяснять Самуил.

– А ты, Каплун? – повернулся к Каплунскому неутомный Пахом.

– А у нас третьей пары не было.

– Что это за пары? – удивился Пахом.

– Так у нас не как в школе. У нас один урок как ваших два, поэтому парой и называется. Как в институте, – пояснил Изя Каплунский.

– А что же Мотя? Вы ж с ним вместе учитесь? – спросил Мухомеджан.

– Мы в разных группах. Я в «Э», а он в «ПС».

– Это что? – не понял Пахом.

– «Э» – эксплуатация, а «ПС» – проводная связь. У Витьки третья пара, кажется, черчение, а с черчения не сорвешься.

– Что, училка строгая? – поинтересовался Армен Григорян.

– У нас мужик. Еще какой строгий! Раза два пропустишь урок ... то есть занятие, не получишь зачет.

Каплунский видно и сам еще не привык к новому положению студента и путался в новых названиях.

– Только у нас не учитель, а преподаватель.

Все эти слова «зачет», «пара», «преподаватель» были из другого мира, отличного от нашего, школьного, звучали

непривычно и маняще, и Каплун, и Мотя, и Самуил были студентами, и мы завидовали им.

– А мы только что Курицу видели, – сменил тему разговора Пахом.

– Да я его каждый день вижу, – сказал Мухомеджан. – Я хожу в котельную по Дзержинской. – Утром иду, а он уже сидит.

– И чего ему не спится! – удивился Пахом.

– Больной! Зато он все видит, все знает, – сказал Самуил.

– Что он там видит? Улица как улица, – возразил Каплунский.

– Не скажи! Если уметь видеть, то улица может открыться с самой неожиданной стороны. Это как непрочитанная книга. Пока стоит на полке – просто книга, а стоит открыть ее и начать читать, откроется новый, незнакомый прежде мир. Так и на каждой улице десятки домов, сотни окон и за каждым своя жизнь. А Курица, похоже, читать умеет.

– Ну, ты – философ! – Мухомеджан с уважением посмотрел на Самуила. – Но я согласен с тобой. Курица не просто так сидит. Возле него всегда идет какое-то движение. То пацаны возле него крутятся, то блатной какой на минуту подойдет, парой слов перекинется и исчезнет, будто его и не было.

– Недаром говорят, что Курица замешан во всех серьезных ограблениях, – вставил Самуил.

– А что ж он на свободе ходит? – зло бросил Пахом.

– А за что его сажать? Он на дело не ходит. А тот, кого поймают, его ни за что не продаст. Да эта мелюзга и сама не знает, кто за всем стоит, – предположил Самуил.

– Курица эту мелюзгу и сдает Дубровкину, – убежденно сказал Пахом.

– Гляди, пацаны! – прервал спор Володька-Мотя.

Со стороны улицы Степана Разина шли Орех с Кумом. Роста они были одного, может быть, Кум чуть пониже, но рядом с Орехом он казался худым.

– Привет, Вадик, Здорово, Женя! – неволью заискивая, чтобы не прогнали, стали здороваться Самуил и Мухомеджан, которые знали Ореха и Кума, потому что иногда ходили во двор к Мишке Горлину.

– Здорово, коль не шутите! – не останавливаясь, ответил Орех, окинув нас равнодушным взглядом.

– Постой, постой! А чего эти-то здесь делают? – вместо приветствия взъярился вдруг Кум. – А ну, валите отсюда!

Мы сразу сникли и стали пятиться к забору, у которого стояли, и уже готовы были дунуть на свою территорию. Кум был скор на расправу, и от него можно было ждать чего угодно.

Всего на какие-то доли секунды я задержал взгляд на лице Кума, но что-то заставило меня взглянуть в его глаза еще раз, и я уже не мог отделаться от ощущения, что они мертвые. Может быть, другие видели в них агрессию или угрозу, а я видел в них смерть. Это были мертвые глаза, такие же как на фотографии отца Каплунского. Теперь я уже был не в силах справиться с собой и снова посмотрел в глаза Кума. Я почувствовал, как в моем мозгу что-то щелкнуло как выключателем, и я в очередной раз провалился в бездну другого сознания, будто меня кто-то невидимый вырвал из реального мира.

На зыбком, с расплывающимся контуром, лице Кума зияли пустые глазницы.

В реальном времени это продолжалось всего несколько мгновений, потому что меня вернул к действительности голос Ореха:

– Да оставь, Вадик. Пусть смотрят. Больше свидетелей будет. Они не мешают.

Кум перевел взгляд на Ореха, сплюнул сквозь зубы и бросил нервно:

– Ладно, х... с ними!

В другом мироощущении время было другое, и это длилось значительно дольше.

Навстречу Ореху и Куму вышел их третий товарищ, Миронов. Мы не заметили, как он подошел и стоял у бревна, где сидели мужики и поглядывали в сторону, откуда должны были появиться Орех с Кумом. Они перекинулись короткими, им одним понятными фразами, подошли к мужикам. Орех с Кумом поздоровались со всеми за руку, чему-то посмеялись и стали обсуждать детали. Мы не могли разобратить все, что они говорили, но основное поняли: мужики поднимают бревно, кладут его на плечо Кума, Кум несет бревно до колонки и там бросает. Если пронесет, мужики

ставят ему две поллитры. Если нет, две поллитры ставит он. Дело чуть не разладилось из-за толстого рыжего мужика, который потребовал, чтобы Кум показал две поллитры, которые он должен будет выставить, если prospорит.

– Что ты вонь разводишь? – сказал с презрением Орех. – Вот башли. Мирон сбегает за две минуты. – И Орех показал несколько красных бумажек. Рыжий стал было кочевряжиться и требовать, чтобы сбегали сейчас, но его осадил Иван-шофер, которого поддержали остальные мужики. Ударили по рукам, и Кум стал раздеваться. Он снял фуфайку и передал Мирону. Суконная шапка с серым цигейковым мехом осталась на голове. Под фуфайкой у Кума ничего не было кроме голубой тенниски. И сразу стала видна мощь его тела. Вдруг обозначилась ширина плеч, которая не бросалась в глаза под фуфайкой; из-за плеч как-то диковато выглядывали трапециевидные мышцы, что делало шею Кума бычьей. Дома я часто обращался к «Анатомии человека» и знал, как устроен человек, не хуже любого студента-медика.

Когда я изредка видел Кума на речке, то невольно любовался строением его тела, словно вышедшего из анатомического учебника. Хотелось подойти и поближе посмотреть, как работает та или иная мышца в ее живом воплощении.

Распирая тенниску, бугрились грудные мышцы, которыми могла бы позавидовать иная женщина, а от легкого ветерка, когда тенниска касалась тела, отчетливо обозначались квадратики мышц живота.

Кум повел плечами, словно расправляя их, потом нагнулся и подтянул шнурки на ботинках. Он, в отличие от Ореха, который был в кирзовых сапогах, пришел в рабочих ботинках. В таких ботинках на концах вместо дырочек прикреплялись скобки, и шнурки наматывались на них. Наконец, Кум нервно бросил в сторону мужиков:

– Поднимай!

Мужики быстро переговорились, где кому встать. Сначала они откатили бревно на край дороги. Потом попробовали вдвоем приподнять один край, и Иван Бугай, повернув лицо к Ореху и Мирону, прохрипел:

– Давай, помогай!

Орех с Мироном встали к бревну, потеснив чуть мужиков. Иван скомандовал натужным сильным голосом:

– Раз-два, взяли!

Четыре мужика вместе с Орехом и Мироном подняли бревно на уровень живота. Кум уже стоял у середины бревна, подложив ушанку на правое плечо.

– Еще раз, взяли!

Бревно взметнулось вверх, но до плеча Кума не достало. Кум, видя, что мужики на таком вису бревно долго не удержат, подлез под него плечом, и вместе с мужиками сам себе взвалил этот дикий груз.

– Поддай вперед, – хрипло попросил Кум.

Мужики, теперь уже легко, на плечах, чуть подали бревно вперед

– Хорош! – бросил коротко Кум.

Он обхватил кору бревна голыми руками спереди, прижимая его и не давая съехать назад. Из его глотки вырвалось что-то вроде «Ха» или «Га», будто команда для себя.

И Кум пошел. Тяжело, но уверенно ступая, чуть прогинаясь под тяжестью векового дерева, которое спиленным стволом пролежало неизвестно сколько лет в ложбине у шофера дома. Кум медленно шел в сторону колонки. Из домов повыходил народ. И все смотрели на Кума, похожего на муравья с соломинкой, из-за которой его почти не видно.

Кум еще не дошел до колонки, а мужики уже знали, что спор они проиграли, и сидели с вытянутыми лицами, а Орех подзуживал их:

– Ну что, вахлаки! Чья взяла? Говорил вам, с Кумом лучше не связывайтесь. Давай, гони бутылки. Смотри ты, белоголовочку купили! Небось, не верили, что наша возьмет.

Но это еще был не конец. Когда Кум донес бревно до колонки, он не бросил его, а медленно, очень осторожно развернулся и, к удивлению мужиков, пошел назад. При полном молчании он дошел до своего старта и сбросил бревно на землю.

– Ты что, уху ел что ли? – сказал оторопело Иван. – На х... оно мне здесь нужно? Три года бельмом на глазу лежало, думал, освободились. Ну ты, Кум, и дурак!

– А ты не отдавай им водку. Договорились-то до колоники, а он обратно его притащил, – рыжий явно напрашивался на неприятность.

– Ну! – только и сказал Кум, глядя кровавыми глазами на Ивана. Он тяжело дышал, ноздри широко раздувались, губы чуть подрагивали, а могучая грудь ходила ходуном, натягивая до разрыва старенькую тенниску. На рыжего он не обращал никакого внимания, словно того и не было. А Орех уже незаметно придвинулся к рыжему и готов был свалить его одним ударом, если тот рывнется. Но рыжий уже понял, что для своей же пользы лучше заткнуться. Иван беспрекословно протянул Куму две бутылки водки. Кум кивнул Миرونу, тот принял водку и засунул в карманы своего тонкого пальто, перешитого из черной немецкой шинели. Кум нахлобучил на голову шапку, накинул на дымящееся тело фуфайку, и они, весело переговариваясь, пошли в сторону дома Ореха.

– Самуил, – сказал торжествующий Пахом, – ты проспорил. Гони набивалку.

Расстроенный Самуил, нехотя, полез в карман, медленно вытащил свою замечательную песцовую набивалку, зачем-то подул на нее так, что белый мех вспушился, образовав подобие кратера из волосков, и молча протянул Пахому.

Глава 19

Подарки товарищу Сталину. Отцова война. Мистика или реальность? Есть ли предел возможности человека?

– Ну, что в школе? – спросил отец, когда мы после ужина стали играть в шахматы. Шахматы я не любил, хотя играл сносно. Во мне начисто отсутствовал отцовский азарт. И у меня не портилось настроение, когда я проигрывал.

Приступы головной боли у отца становились все реже, и они уже не были такими ужасными, как в первые два года после его возвращения, и я радовался этому, потому что не без моей помощи время справлялось с отцовым недугом. Мать тоже стала менее раздражительной. Страх за отца постепенно оставлял ее.

– Так что там в школе? – переспросил отец, переставляя коня с белого, то есть янтарного поля, на черное, малахитовое.

– Подарки товарищу Сталину делаем, – я двинул свою крайнюю пешку от ладьи, готовясь к короткой рокировке.

– Да, это святое. Что же ты товарищу Сталину готовишь?

– Хочу доклеить самолетик, который с прошлого года лежит недоклеенный. А то я его так никогда и не закончу, – я защитился от слона, переставив коня с черного на белое поле.

– Ну-ну! – отец уставился на доску.

– Пап, в прошлом году Каплунский нарисовал портрет товарища Сталина. Портрет вышел очень похожим, но учительница испугалась, сказала, что вождей рисовать нельзя, отобрала портрет и унесла в учительскую.

– Да? – поднял на меня глаза отец. – Действительно, нельзя. Чтобы рисовать членов политбюро, нужно быть не только художником, но и иметь специальное разрешение, – отец вывел королеву в центр поля.

– Почему?

– Потому что это слишком уважаемые народом люди, чтобы рисовать на них карикатуры.

– Но ведь Каплунский не карикатуру нарисовал, – настаивал я.

– А откуда это известно? Он же не профессиональный художник и мог ошибиться в отображении образа, сам не осознавая того. Давай, ходи!

Я сделал рокировку.

– Хорошо, пап, ну и пусть бы он что-то не так нарисовал. Так что из этого следует?

– Горде!.. Шах... и через два хода мат.

– Ладно, сдаюсь, – я смешал шахматы. – Так что из этого следует?

– Я не хочу об этом больше говорить. И я не хочу, чтобы ты об этом тоже говорил. Есть вещи, о которых не надо рассуждать, а принимать их, как должное.

– Ладно, пап! ...Я хотел тебя еще спросить. Ты почти два года находился в Иране и видел, наверно, столько интересного...

– Кое-что видел. Только не думаю, что это интересно, – отец нахмурил брови, и, видно было, что разговор этот ему неприятен.

– Почему ты никогда об этом не рассказываешь?

Отец как-то замялся, но после недолгого молчания заговорил.

– Ты извини! Я, наверно, должен. Но мне трудно вспоминать все, что связано с тем временем. Я не военный человек... Война как-то все во мне перевернула... Я женился, любил твою маму, родился ты, и я не был готов к такому близкому несчастью? Как-то разом все разрушилось, даже не разрушилось, а взорвалось и выбило всех из привычной среды... Я тебе читал Есенина, ты знаешь его некоторые стихи. По стихам можно судить о человеке. Это был чистый деревенский парень с очень тонкой, ранимой душой и нежным сердцем. Так вот, Горький сказал, что его погубил город, в котором он был чужим. Он растерялся, он оглох в непривычной среде. В городе ему было нечем дышать, как рыбе, выброшенной на лед. Так и со мной, хотя более точно сравнить меня с дикарем, которого отловили в джунглях и привезли в большой город. Иногда мне кажется, что все, что со мной произошло – это просто страшный сон, о котором надо забыть... Я знаю людей, которые живут войной. Они охотно рассказывают о ней, смакуя разные эпизоды из военной жизни. Я таких людей сторонюсь... Надеюсь, ты меня за это не осуждаешь?

– Ну что ты, пап?

– Но когда-нибудь я соберусь с духом и расскажу тебе все. Но только позже.

– Кстати, пап, наш директор сказал, что хорошо бы тебя пригласить на день Советской Армии, чтобы ты рассказал об Иране.

– Нет, – отрезал отец. – Нет, во-первых, потому что я только что говорил, во-вторых, моя война, как ты ее называешь, была в какой-то степени секретна: я давал подписку о неразглашении, и мне никто не разрешит публично говорить даже об общеизвестных фактах. Отец даже привстал с табуретки.

– А откуда вашему директору известно о моей службе? – отец внимательно посмотрел на меня.

– Ему известно то, что всем известно. Что ты во время войны находился за границей, где выполнял специальное задание, и что в этой стране проходила встреча руководителей трех союзных держав, – покраснев под отцовским взглядом, сказал я, но что-то во мне запротестовало, и я с вызовом бросил:

– В, конце концов, ты мой отец, и я тоже хочу, чтобы все знали, что ты не сидел в тылу, когда все воевали.

– Ну ладно, ладно, – примирительно сказал отец. – Я сам поговорю с директором.

Я стал укладывать шахматы в янтарно-малахитовую доску, отдельно каждую фигуру, любуясь в который раз ее тонкой резьбой. Шахматы эти мы берегли не столько как дорогую художественную ценность, сколько как память о счастливом исцелении генеральской дочери.

В тот раз отец так и не решился что-либо предпринять, чтобы вернуть дорогой подарок, но нашел случай, по крайней мере, поблагодарить генерала. Конечно, отец не преминул заметить, что Милу я лечил без всяких корыстных расчетов, и лучшая благодарность – это ее выздоровление. На что генерал сухо сказал, что он иначе это и не воспринимает, а шахматы – лишь знак его расположения и элементарной человеческой памяти...

– Вова, – остановил меня отец, когда я встал, собираясь пойти на кухню, откуда доносился вкусный запах жареного лука.

– Подожди, раз уж мы заговорили о «моей войне»... Я хочу поделиться с тобой одним своим ощущением.

Я снова сел. Отец смотрел на меня, но было видно, что взгляд его обращен внутрь себя, и вряд ли он видел что-то перед собой.

То, о чем я расскажу, несомненно, тоже относится к необычным способностям человека, его психофизическим возможностям... Диверсия против нас была совершена, когда мы сопровождали груз через границу в нашу Туркмению. Колонна сразу встала, потому что диверсанты взорвали головную машину. Я со своим помощником, молоденьким лейтенантом, назову его Н., находился на заднем сидении «Виллиса». Вел машину наш шофер, старшина, туркмен Аман Сеидов. Услышав взрывы и увидев, что колонна стала, я хотел

выскочить из машины, но не успел, «Виллис» трянуло, и все, казалось, утонуло в огне. Все дальнейшее ты тоже знаешь.

А теперь слушай. Я готов поклясться, что отчетливо видел снаряд, который прямой наводкой угодил в нашу машину. Раскаленная болванка лежала в машине, по ее стальной поверхности змеились огненные трещины, потом из них зловеще полыхнуло пламенем, а осколки начали медленно отделяться и плавно подниматься. И все это происходило бесшумно, как в немом кино. Куда-то исчез грохот взрывов, рев моторов, крики, пальба ...

Потом все обрело привычный ритм. Яростно взметнулся столб взрыва, рявкнуло, будто доской ударило по ушам, и я потерял сознание.

Отец замолчал, но через минуту заговорил снова:

– Я об этом ни с кем не говорил, потому что больше это похоже на бред больного воображения. Но недавно наш шофер, пожилой уже человек, Иван Терентьевич, член партии, солидный человек, семьянин, рассказал историю, которая с ним произошла уже здесь в мирное время. На него во время ремонтных работ стал падать с высоты более двух метров двигатель «Студебеккера». Ты представляешь, что такое двигатель грузовой машины. Это минимум полтонны. Когда Иван Терентьевич увидел двигатель, он был примерно в 50 сантиметрах. И потом все остановилось. Иван Терентьевич оказался внизу, а двигатель потихоньку падает, а он от него сторонится, то есть, отползает. Он видел, как проплывает крышка клапанов, выхлопной коллектор проходит впритирку от его ноги, потихоньку входит в снег, а из-под снега поднимается пыль.

Я с интересом слушал в чем-то близкие мне ощущения и ждал, что дальше скажет отец.

– Так я думаю, – заключил отец, – что я все же успел выпрыгнуть из машины, хотя не представляю, как я мог успеть, и с какой дикой скоростью это должно было произойти, если снаряд разрывался в это время в машине.

Отец посмотрел на меня, словно ожидал какого-то объяснения, но я только пожал плечами.

– Но ведь и твой Иван Терентьевич успел отползти, когда мотор был в 50 сантиметрах от него.

– Да, успел. В этом-то и штука. Я тоже успел, а лейтенант и старшина на кусочки... – Видимо, природа заложила в человека исключительные способности, которые мы вольно или невольно игнорировали и подавляли, пока не потеряли вовсе. Ведь науке известно, что мы в своей активной деятельности успеваем использовать лишь незначительную часть возможности мозга. Значит, сынок, можно предположить, что у тебя, например, заработала какая-то часть мозговых ресурсов, которая не работает у обычного человека. Но, с другой стороны, как физически можно в ограниченное время произвести такие действия, которые не укладываются в этот временной интервал. Это же невыполнимая работа для мышц.

Я очень внимательно слушал. Мне было интересно, но я не знал, что сказать в ответ. Я понимал эту постоянную боль и тревогу отца за меня. Он еще и еще раз искал объяснения аномалий в моем сознании, чтобы убедить меня, что я нормальный человек и ничем не отличаюсь от других, хотя мне казалось, что его это беспокоило больше, чем меня самого. Я давно сжился со всеми своими отклонениями, и они не слишком беспокоили меня.

– Шахматисты, ужинать, – позвала мать.

– Сашенька, я ужинать не буду. Принеси мне чаю в постель. Что-то я устал сегодня, – попросил отец.

– Голова? – глаза матери беспокойно посмотрели на отца, а в голосе звучала тревога.

– Да нет. Все хорошо. Просто хочется полежать. У меня книжица интересная.

Я полистал эту книжицу еще днем. Это была книга «Болезни памяти» Теокуля Рибо, изданная в Санкт-Петербурге в 1881 г.

Рибо утверждал, что мозг может прибегать к обработке информации в ускоренном темпе. Он описывал ощущения людей, переживших повторно события своей жизни в состоянии смертельной опасности. В книге был приведен случай, когда человек избежал смерти лишь потому, что успел лечь между железнодорожных рельсов. За время следования над ним поезда он снова пережил свою жизнь.

Где отец только выкапывает эти книги?! – подумал я.

Глава 20

Арест старого Мурзы. Жена Юсупа. Зубной врач Васильковский. Ограбление.

Я с аппетитом уплетал зажаренную в сале целую картошку и хрустел соленым огурчиком бочковой засолки, когда пришла тетя Нина.

– Приятного аппетита, жених, – улыбаясь, сказала она, по обыкновению подшучивая надо мной.

– Угу, – буркнул я, стараясь не обращать на нее внимания.

– Юрий Тимофеевич дома? – тихо спросила Нина мать.

– Отдыхает. Что-то ему нездоровится сегодня.

– Слушай! Что я тебе расскажу, – уже без опаски, что может помешать отец, затараторила тетя Нина. – Знаешь старого Мурзу?

– Это Мухомеджан что-ли? – стала вспоминать мать.

– Да ты что, Шур! Мухомеджан – это молодой, у него мать. Там отца нет. У того сестра горбатенькая. А этот живет рядом. Ну, у него дочка грудастая такая, Зульфия, и сын Юсуп.

– Да помню, помню, – перебила тетю Нину мать. – От которого жена сбежала, а Мурза его дед.

– Какой тебе дед? Отец он ему.

– Как отец? ... Ну, ты меня убила! Юсупу-то лет семнадцать будет. Сколько же тогда Мурзе?

– Да без малого восемьдесят.

– Это, значит, Юсуп родился, когда Мурзе за шестьдесят было, – все подсчитывала мать.

– Выходит, так, – согласилась тетя Нина.

Я хорошо помнил сцену, когда из дома во двор выскочила разъяренная старуха Джамиля, которую все звали просто Милой, и стала сыпать проклятиями, грозя кулаком в небо, перемешивая татарские слова с русскими:

– Чтоб тебе сдохнуть, сука! Чтоб твои глаза бесстыжие закрылись навсегда! Чтоб твоим родителям мучиться до конца дней своих!

Она завывала и стала рвать на себе волосы, потом упала на колени, возвела руки к небу и с надрывом, словно, выплескивая отчаяние вместе с душой, выкрикнула:

– За что, Аллах, ты так покарал нас? Или мы меньше правоверные, чем другие?

Из дома выбежали Зульфия и Юсуп, ухватили Милу под руки и утащили волоком в дом.

– Чегой-то она? – спросил удивленный Самуил Мухомеджана.

– От Юсупа жена сбежала.

– У них же маленький ребенок!

– Бросила! – коротко ответил Мухомеджан, зло раздувая ноздри.

Вечером мать обсуждала эту историю с тетей Ниной.

– И ребенка не пожалела, стерва! – тетя Нина искренне переживала за Юсупа.

– Да она сама еще ребенок. В пятнадцать лет замуж выдали, – мать тоже казалась расстроенной.

– А Юсупу шестнадцать было. Такие уж у них законы. Говорят, за нее калым большой заплатили. Ты же помнишь, как ее привезли братья. Приехали, побыли недолго и укатили назад, а ее оставили.

– Ведь насильно, Нин! Ребенок же совсем. Выйдет на улицу и смотрит издали, как в классики или в штандер наши девки играют. А дикая – никогда не подойдет и в игру не попросится... Красивая девка была. Коса толстая, сама смуглая, а глаза, что угольки, – оживилась мать. – А с кем уехала-то?

– Да, говорят, какой-то проводник, тоже татарин, увез.

– Может, прежняя любовь? – предположила мать.

– Ну, любовь не любовь, – возразила Тетя Нина, – а ребенка бросать – последнее дело.

– Кто их, татар, разберет! – вздохнула мать ...

– Ну вот, теперь слушай, – понизив голос, почти зашептала тетя Нина. – Иду я вчера, поздно уже, часов в семь, с работы. Начальник попросил остаться, кое-какие цифры свести. Иду, я, значит, смотрю, у их дома стоит «черный ворон», и как раз Мурзу старого к машине два милиционера под руки ведут.

– За что? – так же тихо спросила мать, и глаза ее произвольно расширились.

– Ты слушай! – тетя Нина сделала паузу, недовольная, что ее перебивают, и снова зашептала.

– Смотрю, у ворот Мотя стоит, милиционерша. Я к ней: «Что, спрашиваю, натворил такого старик, что его милиция забирает?». Мотя мне все и рассказала.

Знаешь Васильковского, зубного врача? На Дзержинской живет. Важный такой, пожилой уже.

– Слыхала. Поговаривают, что он с дочкой своей живет.

– Она ему не родная дочка. Это темная история, а может брехня. У девки какое-то душевное расстройство. Врачи вроде бы лечили, но без всякого толку, потом сказали, что ее надо замуж выдать. Станет жизнью половой жить, все пройдет. А девка еще несовершеннолетняя. Ну, отчим и уговорил мать, что чем отдавать кому-то в блуд, лучше он сам спать с ней станет, жена эта у него вторая, первая в войну умерла, а сын от первой жены в Москве, тоже врачом работает. А эта его баба в рот ему смотрит, не знает, чем угодить, ноги ему моет. Он только шикнет, и она трясется вся как осиноый лист. Это мне Валька, с которой мы работаем вместе, рассказывала, а она от какой-то соседки Васильковского слышала, – пояснила тетя Нина. Мать слушала с нескрываемым интересом.

– Всему городу известно, что у Васильковского денег – куры не клюют. Дом на десяти запорах, и на ночь ставни наглухо закрываются изнутри, а во дворе собака-овчарка на цепи бегает. У него и табличка на калитке прибита: «Во дворе злая собака». А у Васильковского есть племянник, в музыкальном училище учится ...

Наверно, тетя Нина говорила про Владика, высокого тощего юношу с прыщавым лицом и длинными волосами. Его всегда видели с баяном, который тянул его к земле, и Владик для равновесия балансировал свободной рукой, отставляя ее в сторону...

– Так что с Васильковским-то? Убили что-ли? Племянник? – не выдержала мать.

– Да никто его не убивал. Обокрали. А с ним удар случился. Отнялся язык.

– Племянник обокрал?

– Почему племянник? – удивилась тетя Нина.

– Ну, ты ж сама про племянника сказала?

– Так я потому сказала, что племянника тоже забрали, подозревают, что он навел воров, а то как бы вору узнали, где золото лежит?

– А татарин-то, Мурза, при чем? – гнула свое мать.

– Тебе, Шур, рассказывать, так никаких нервов не хватит. Ты же сама сказать не даешь, – возмутилась тетя Нина и разом кончила рассказ:

– А золото продали Мурзе. Вот за скупку краденого Мурзу и арестовали.

– Господи, откуда ж у людей такие деньги? – расстроилась мать. – Не пару же колец продали.

Мать вопросительно посмотрела на тетю Нину.

– Да уж наверно. За парой колец никто и не полез бы, не стали б рисковать.

– А тех-то поймали? – с надеждой спросила мать.

– Какая ты быстрая! – тетя Нина криво усмехнулась. – Так прямо и поймали.

– Но ведь нашли Мурзу, который скупил золото! – не отставала мать.

– Ну, нашли. И что? Воры-то не сами небось золото продавали. А тот, кто продавал, уже тю-тю, давно и след простыл. А то отсиживается где-нибудь.

Почему-то мне вспомнился Курица, и я ясно представил, как тот сидит на корточках у ворот своего дома и зорко оглядывает улицу, буравя своим черным тяжелым взглядом прохожих и коротко перебрасываясь одной-двумя фразами с шустрými шкетами, которые изредка прошмыгивают мимо него, на секунду замедляя мелкий шаг.

Мать с тетей Ниной уже сменили тему разговора и говорили о какой-то тете Симе, и я, быстро запив ужин чаем, с куском черного хлеба, посыпанного сахарным песком, пошел дочитывать «Красного корсара» Фенимора Купера. А перед глазами все стоял Курица, который жил там же, на Дзержинской, где и врач Васильковский, И когда мои глаза стали слипаться, мне привиделся не капитан Хайдегер, пират и контрабандист, бросивший вызов военному флоту английского короля, а Курица. Он беззвучно смеялся, и смех сотрясал его щуплое, уродливое тело, потом он вырос до каких-то немислимых размеров, закрыл собой все видимое пространство и погрузил все во тьму. Но вскоре тьма начала расплываться радужной оболочкой и приняла меня, окутав теплом и покоем, сделав мой сон радостным и безмятежным...

Вадик, племянник врача Васильковского, просидел в КПЗ всего сутки. Он был виноват косвенно. Много болтал и выведать у него все, что ему было известно, жуликам не составляло труда. К тому же племянник терпеть не мог своего дядьку и на каждом шагу рассказывал, какой тот жлоб: «На золоте сидит, а родная сестра в рваных туфлях ходит».

Через неделю пришел Мурза, осунувшийся, небритый и ссутулившийся еще больше. Золота купил он не много. «Два кольца, цепочку и золотые часы», – поведаль нам Мухомеджан.

Перед следователем клялся Аллахом, что не знал, что вещи краденные. Вряд ли ему поверили, но отпустили, скорее всего, из-за преклонного возраста.

– Кого-нибудь подкупил, – не поверила тетя Нина. – С деньгами все можно.

Мать только пожала плечами.

Взяли Курицу и увезли на «воронке». Следствие подзревало его в организации кражи, но вскоре и он был освобожден за недостаточностью улик. А после этого сразу взяли еще троих.

После суда стали известны подробности, которые мы узнали от Витьки Моти – все же его отец служил в милиции...

В дом к Васильковскому пришли среди белого дня, когда он был один. Вошли так тихо, что он даже не заметил. Может быть, и слышал какой-то шорох, но не придавал этому значения, инстинктивно полагаясь на собаку, немецкую овчарку Найду, озверевшую от цепи. От злости собака даже уже не лаяла, а хрипела.

Овчарка лежала недалеко от ворот, вытянув лапы и уставившись стеклянным глазом куда-то в небо. Язык вывалился и свисал до земли, а на нем застыла белая пена. Собаке бросили через ворота кусок мяса, щедро начинённого цианистым калием, и она, даже не успев брехнуть как следует, проглотила «угощение», хотела заскулить, но только жалобно пискнула и сдохла.

Хозяин увидел грабителей, когда те уже стояли перед ним. Перепуганный до смерти и потерявший дар речи, он ловил воздух ртом и не мог выговорить ни слова. Доктора даже не пришлось бить. Увидев в руке одного из грабителей финку, угрожающе поблескивающую холодной сталью, он

показал на комод, где под бельем в нижнем ящике воры нашли десять тысяч рублей сотенными купюрами. Один из воров рассовал деньги по карманам штанов, отчего карманы внушительно вздулись, но не выразил при этом никакого восторга, сел на стул рядом с готовым грохнуться в обморок Васильковским и ровным, и от этого еще более пугающим голосом, сказал:

– Золото!

Вот тут Васильковский и стал заваливаться на бок и свалился бы со стула, не поддержи его второй грабитель, стоявший рядом. Хлестнув хозяина пару раз по щекам и дав ему воды, жулики привели его в чувство, но не стали дожидаться, когда к нему вернется дар речи, принялись за дело сами. Они довольно быстро нашли пару тайников. Из печной вьюшки вынули жестяную коробку дореволюционного изделия из-под монпансье, перевязанную бечевкой. Коробка была доверху наполнена золотыми вещами: кольцами, серьгами, перстнями, цепочками и другими ювелирными безделушками.

Подняв квадратную плитку паркета, достали шкатулку черного дерева. В шкатулке лежали более крупные золотые вещи: браслеты, часы; хотя было там достаточно и колец, и перстней, но более массивных, чем в коробке из-под монпансье, и без камней.

Хозяин держался за сердце и выл тоненьким голосом. Бандиты торопились. Они ссыпали содержимое коробки и шкатулки в дермантиновую хозяйственную сумку, принесенную с собой, и направились к дверям, но один из них вернулся, подошел к столу, у которого сидел хозяин, сдернул скатерть и покачал массивные резные ножки. Потом попробовал отвернуть одну из них. Ножка поддавалась. Вор открыл ножку, перевернул ее, и из нее посыпались золотые монеты. Он собрал их и сложил в карман пиджака.

– Ладно, пора рвать отсюда, – поторопил его поделщик.

– Адзынь, – оборвал его первый и стал откручивать вторую ножку, но там ничего не оказалось, и он, махнув рукой, устремился к двери, тем более, с улицы донесся свист.

Вот тут у Васильковского и случился припадок. Глаза его налились кровью, лицо побагровело, и он, захрипев, повалился на пол...

Вернувшиеся с базара тут же после ухода воров, жена с падчерицей нашли хозяина на полу без сознания. В больнице Васильков оклемался, но вся левая сторона оказалась парализованной, рот перекосило, и он только мычал что-то нечленораздельное.

Когда воров арестовали, жена Васильковского и девка на очной ставке признали в одном из сообщников электрика, который приходил к ним проверять проводку, хотя они никого не вызывали. «Электрик» сказал, что это профилактика, и что она проводится каждый квартал. Он ходил по всей квартире с плоскогубцами, щелкал выключателями, потом попросил расписаться в книжке и, вежливо извинившись, ушел.

Воров судили. Двоим дали по пять лет, одному, «электрику», который стоял на шухере, – три.

Золото Васильковскому не вернули, конфисковали как незаконно нажитые нетрудовые доходы. И если бы не инсульт, поразивший пострадавшего, судили бы. Так что, неизвестно, что лучше, лесоповал или постельный режим при домашнем уходе...

– Да ну, Шур, ни за что не поверю, что всё взяли! – сказала тетя Нина моей матери. – Небось столько же еще где-нибудь припрятано.

Глава 21

Банная круча. Навязчивая идея. Крутой спуск. Прием в комсомол. Принципиальный Третьяков.

Зимой мы встречались реже. Иногда у Каплунского, чаще на улице, и тогда шли на банную гору кататься на санках или лыжах. Санки были одни, у Пахома. И даже не санки, а небольшие сани. На них мать Пахома, тетя Клава, возила воду в бочке. Лыжи были только у меня и у Армена. Наши универсальные лыжи подходили под любые валенки. Брезентовую петлю всегда можно было подтянуть или отпустить, а пятки валенок надежно держала тугая резинка, закрепленная по краям петли.

Катались по очереди. Лучше всех на лыжах держался Пахом. Но и он ни разу не осмелился съехать с высокой

кручи, откуда съезжал Ерема с Ленинской улицы на лыжах с настоящими жесткими креплениями и легкими алюминиевыми палками. Мы знали, что Ерема занимается лыжным спортом в секции «Трудовые резервы».

Эта круча в своем основании обрывалась, образуя трамплин так, что видна была глина и камни выступа, не засыпанного снегом. Когда Ерема лез на кручу, помогая себе палками, свои и чужие пацаны останавливались и ждали, когда он начнет свой спуск. А Ерема некоторое время стоял на небольшой площадке наверху, чтобы отдышаться, потом чуть приседал и, прижимая лыжи всем весом, мчался вниз, пролетая над обнаженным скальным выступом так, что одна лыжа от неровного края чуть поднималась выше другой и, казалось, Ерема потеряет равновесие и грохнется со всей силы на утоптанную дорожку, отделявшую кручу от общей горки, но он опускался точно на склон и, невероятным образом удерживая равновесие, стремительно скатывался вниз под свист и одобрительные крики всей катающейся пацанвы.

И никто больше не рискнул подняться на эту кручу, чтобы съехать с нее так же лихо, как Ерема.

С некоторых пор меня стала преследовать навязчивая мысль. Чтобы я ни делал, у меня перед глазами стояла круча, с которой скатывался Ерема. Она возникала в моем сознании так ярко, что я видел каждый камешек и черные мазки земли в глиняном выступе, хотя я, казалось, не обращал особого внимания на этот выступ. А когда мне стало регулярно сниться, что я съезжаю с этой кручи, причем, без конца: отталкиваюсь и еду, и снова отталкиваюсь, а страх опутывает ноги перед обрывом, и я возвращаюсь к исходному положению, я понял, что должен съехать с этой горы, чтобы прекратить это мучительное наваждение, которое буквально изводило меня.

В этот день я встал пораньше, когда на горке еще никого не было, и пошел к реке, твердо решив повторить Еремин спуск. Я чувствовал страх, когда лез на кручу, с трудом карабкаясь и помогая себе руками; я чувствовал страх, когда стоял на небольшой площадке над выступом и, надев лыжи, смотрел вниз. Было высоко, и я не видел этого голого обрыва, который составлял трамплин. Передо мной ле-

жал только снег, и визуально лыжня не обрывалась, а как бы продолжалась на сплошном склоне. В голове шевельнулась мысль: «Нужно вернуться», но совершенно неожиданно, будто кто меня толкнул, я сорвался вниз. Скорость быстро увеличивалась, на краю обрыва моя левая лыжа прыгнула на неровности, и я почувствовал, что теряю равновесие и неотвратно падаю, переворачиваясь головой вниз. Ударился я животом и лицом, смягчив удар руками. Я чувствовал, как ломаются лыжи, а в глазах темнеет, и бенгальскими огнями рассыпаются искры.

Некоторое время я лежал в снегу. Снег забился в нос, уши, рот. Боль в солнечном сплетении, от которой я задохнулся, и от которой померкло сознание, прошла. Я встал, выплевывая снег и отряхиваясь, и пошел собирать лыжи, от которых остались лишь полозья без концов, и вдруг почувствовал такой прилив дикого восторга, что мне захотелось петь и кричать. Восторг сменился ощущением счастья, и тихие слезы невольно покатались по щекам. Потом я ощутил, что во мне появилось что-то новое. Исчез страх. Если бы не сломанные лыжи, я бы обязательно повторил свой спуск, и мысли о том, что я могу разбиться, у меня больше не было, более того, я был уверен, что смогу теперь съехать и не упасть. Я не чувствовал страха, и это было больше ощущения «бояться, не бояться», это было полное и тупое отсутствие страха, и это противоречило основному биологическому закону, закону самосохранения. Я сунул подмышку сломанные лыжи, взял палки и пошел домой.

Злополучная круча мне больше не снилась, но во мне поселилась высокомерная уверенность в том, что для меня отныне нет ничего невозможного. Это пугало и раздражало меня, потому что это было сродни гордыне, которая, как я знал от бабушки Маруси, была великим грехом...

Перед Днем Советской Армии меня и Генку Дурнева принимали в комсомол, потому что нам исполнилось по четырнадцать. В нашем классе уже многие ходили комсомольцами. Кого приняли перед ноябрьскими праздниками, кого перед Новым Годом. Не комсомольцами оставались только переростки: Агарков, Андрианов, Семенов, Аникеев, да Аркашка, брат Барана. Им уже давно перевалило за пят-

надцать и даже за шестнадцать, но как-то само собой разумелось, что им в комсомол путь заказан.

Комсоргом класса у нас был выбранный единогласно Женька Третьяков. Недаром он читал собрание сочинений товарища Сталина. Тут не все художественную книжку могли осилить до конца, а он собрание сочинений товарища Сталина читает.

На собрании мы с Генкой Дурневым сидели за первой партией в белых рубашках, застегнутых на верхние пуговицы, напряженные и торжественные. За учительским столом сидели Женька Третьяков, Женька Богданов и приглашенный председатель Совета Пионерской дружины Валя Климов. Он был в пионерском галстуке и с тремя красными нашивками на рукаве – символом его пионерской власти. На прошлой неделе мы с Дурневым стояли в этих же белых рубашках, но с повязанными поверх красными галстуками перед пионерской дружиной, а Валя Климов рекомендовал нас в комсомол, после чего собственноручно снял с нас галстуки, и мы как бы уже не были пионерами, хотя еще и не комсомольцами. Вторую рекомендацию мне дал Женька Богданов, а Дурневу сам Третьяков.

Первым к столу пригласили Генку. Комсорг дал ему хорошую рекомендацию-характеристику и спросил у собрания, готовый в любую минуту поддержать своего протеже: «Вопросы к Дурневу есть?»

– Что такое демократический централизм? – раздался насмешливый голос Пахома.

Собрание сразу оживилось. Раздались смешки.

– Пахомов! – Женька привстал на стуле. – Не превращай комсомольское собрание в балаган.

– При чем здесь балаган? – обиделся Пахом. – Пусть ответит на вопрос по уставу. Меня в райкоме спросили: «Что такое демократический централизм?»

Генка Дурнев растерянно смотрел в зал и молча переминался с ноги на ногу. Женька Третьяков полез в Устав. Полистав, сразу не нашел, и захлопнув тоненькую красную брошюрку, спросил Пахома:

– Ну и что же такое демократический централизм? Сам-то знаешь?

– Теперь знаю. Выборность всех руководящих органов комсомола сверху донизу, отчетность комсомольских органов, строгая комсомольская дисциплина и подчинение меньшинства большинству. И еще, обязательность решений высших органов для низших, – отрапортовал Пахом и, довольный, сел.

– Вот видите, товарищи, как плохо мы знаем Устав! – нашелся Женька Третьяк. – А в райкоме могут задать любой вопрос, и будет стыдно не ответить. Еще вопросы?

Вопросов больше не было. Всем хотелось, чтобы собрание поскорее заканчивалось, да разбежаться.

– Обязанности члена ВЛКСМ, – задал вопрос сам Женька. Дурнев оживился и стал бойко перечислять:

– Член ВЛКСМ обязан: быть активным борцом за претворение в жизнь величественной программы коммунистического строительства, быть патриотом советской Родины, отдать для нее все свои силы, а если понадобится, отдать за нее жизнь; настойчиво овладевать марксистско-ленинской теорией, показывать пример, хорошо учиться...

– Смело развивать критику и самокритику, вскрывать недостатки в работе, сообщать о них в комсомольские органы, вплоть до ЦК ВЛКСМ, – добавил Женька Третьяков, наверно, важный для себя пункт. – Так?

Дурнев кивнул.

Когда очередь дошла до меня, вопросов не было. Женька Богданов, как поручитель, сказал о том, что я отличник и всегда готов по первому зову прийти на помощь товарищу, что никогда не вру, и прочие такие слова.

Слова в какой-то степени стандартные, но они гладили и елеем ложились на душу. Приятно лишний раз ощутить себя положительным примером. Правда, эта эйфория продолжалась недолго.

– А я бы воздержался рекомендовать Анохина в комсомол.

Слова Женьки Третьяка ударили меня как обухом по голове.

По классу прошел недоуменный ропот. Я почувствовал, что кровь приливает к лицу, и я краснею.

– Это почему? – опешил Богдан.

– А потому что Анохин занимается знахарством. И вообще в нем нет комсомольской устремленности. Какой-то он не наш, не комсомольский. Эти его фокусы, гипнозы.

– Ну, ты говори, да не заговаривайся. Наш, не наш. Все мы здесь наши, советские. Не наших мы в Берлине добились, – зло отчитал Третьяка Женька Богданов.

– Да у него отец, выполняя задание партии, чуть не погиб в этой, как его, Турции.

– Это мы знаем, – упрямо стоял на своем Третьяк. – Но сейчас мы в комсомол принимаем не отца.

– Ты что, Третьяк, сдурел что-ли? – вскипел Пахом. Он встал из-за своей парты и, не давая опомниться Женьке Третьякову, который тоже вскочил при этих словах и уже поднял ладонь, чтобы хлопнуть ей по столу, но Пахом не дал ему и слова сказать:

– Каким знахарством? К нему что, толпами в очередь стоят? Он что, объявление повесил, что он знахарь. Это ты его этим словом обозвал. Ты у нас всего без году неделя, а мы Вовца сто лет знаем. Как немцы ушли, они и приехали. Ты наших пацанов про него спроси, они тебе скажут. Способности у человека такие особенные. Может, он для людей еще такое делает, что тебе и не снилось.

– А помнишь, у тебя зуб болел? – ехидно спросил Третьяка Пахом. – Ты же на стенку чуть не лез: «Ой, мамочки».

Пахом передразнил Третьяка. Все засмеялись.

– Кто твой зуб вылечил? Вовец. За три минуты все прошло.

– А это неизвестно, вылечил или так совпало, что сам прошел, – уже спокойно произнес Третьяков. – Комсомолец этой чепухе не должен верить. В Уставе что сказано? – Женька Третьяков взял Устав, открыл и на этот раз быстро нашел нужное место: «Вести решительную борьбу со всеми проявлениями буржуазной идеологии, с туеядством – ну это ладно, вот – религиозными предрассудками, различными антиобщественными проявлениями и другими пережитками прошлого».

– Ну и какие же ты видишь антиобщественные проявления в том, что Вовец тебе зуб вылечил? – с усмешкой спросил Пахом.

– Я считаю, что спор бессмысленный. Давайте спросим у Анохина, что он думает о религиозных предрассудках и буржуазной идеологии, и будем голосовать. Если большинство «за» – принимаем, «нет» – значит, нет, – поставил точку разумный Богданов.

Я чувствовал себя так, будто меня вывернули наизнанку и теперь скребком скоблят внутренности, задевая живые нервы и проводя железом по голым костям.

– А что я думаю? – вяло ответил я. – Тоже, что и вы. Как всякий нормальный человек я принимаю нашу идеологию и не принимаю буржуазную. Только при чем здесь идеология? Гипноз – это наука. Гипнозом лечат во всем мире, и есть люди, обладающие даром гипноза в большей или меньшей степени. А энергетическими способностями обладают все люди. Только у разных людей они разные. Это как память: у кого она есть, у кого ее нет, но память можно развить. Всё это – общенаучные факты. И ничего здесь буржуазного нет.

– А как же предметы, которые ты двигаешь глазами? – больше по инерции спросил Женька Третьяков.

– Ну, это когда получается, когда нет! – соврал я. – И это тоже особый вид энергии.

– Но у меня-то не получается? – пожаловался Третьяк.

– Тренируйся! – насмешливо сказал Пахом.

Проголосовали за меня все, кроме Женьки Третьякова.

– Я остаюсь при своем особом мнении, – упрямо стоял на своем наш единогласно избранный комсорг. – Это мнение я как комсомолец буду вынужден отстаивать в райкоме ВЛКСМ...

Отец, выслушав мой рассказ о комсомольском собрании, нахмурился и сказал:

– Видно, придется вмешаться, а то этот ваш принципиальный Третьяков так твою биографию сдуру подпортит, что потом ни в один ВУЗ не поступишь.

**Ощущение чужой беды. Снова Орех с Кумом.
Получка. В кафе «Огонек». Китаец. Гибель Кума.**

Перед сном я читал «Записки о Шерлоке Холмсе» Конан Дойля и вместе с доктором Ватсоном пытался проникнуть в тайну логики великого сыщика, восхищаясь его дедуктивным методом. «Вы приехали утренним поездом». «Разве вы меня знаете?» «Нет, но я заметил в вашей левой перчатке обратный билет. Вы рано встали, а потом, направляясь на станцию, долго тряслись в двуколке по скверной дороге?» Дама сильно вздрогнула и в замешательстве взглянула на Холмса. «Здесь нет никакого чуда, сударыня»... «Так откуда вы это знаете?» «Я вижу это, я делаю выводы. Например, откуда я знаю, что вы недавно сильно промокли и что ваша горничная большая неряха?» «Дорогой, Холмс, – сказал я, – это уже чересчур. Вас, несомненно, сожгли бы на костре, если бы вы жили несколько веков назад».

Вдруг буквы начали сливаться в одно темное пятно, в глазах померкло, и будто в голове взорвалась маленькая бомба: мерцающие точки разлетались с бешеной скоростью во все стороны, и на меня стало наплывать белое безжизненное лицо Кума. Это длилось доли секунды и пропало так же внезапно, как и возникло. Потом я еще какое-то время читал, но меня не покидало неприятное ощущение, что где-то рядом чужая боль, и все ждал видения, но больше ничего не произошло, только раз еще, когда я уже засыпал, я увидел пустые глазницы, те, какие я видел в тот день, когда Кум на спор тащил бревно.

Может быть, какими-то неизвестными путями мой мозг считал некий ход жизненного цикла Кума и теперь, помимо моей воли, выдает информацию о его жизни или смерти?.. Да, смерти! Я уже не сомневался, что Кума нет в живых...

О смерти Кума мы узнали на следующий день. Улица оживленно обсуждала бесславную кончину Геркулеса, дополняя каждый рассказ новыми фактами и домыслами. С трудом верилось, что Кума можно было вот так просто лишить жизни. Но я знал то, чего не знал никто. Я «видел», как убили Кума...

– Орех, тебе сколько начислили? – спросил Кум в раздевалке.

– Пятьсот. А тебе? – Орех неторопливо переодевался в чистое, устало поднимая руки, чтобы продеть в них рукава рубахи.

– На сотню больше, – губы Кума растянулись в улыбке, обнажая мелкие крепкие зубы. – Вздрогнем?

– Святое дело – получка! – согласился Орех. – Мирон придет?

– Будет ждать у проходной.

Кафе «Огонек» располагался недалеко от завода, рядом с кинотеатром «Родина», и больше походило на забегаловку, которых в городе стало много. Выкрашенное в зеленый цвет, кафе спряталось в небольшом скверике, сливаясь с зеленью листвы.

В кафе пришли, прихватив по дороге две бутылки белоголовки. Внутри было душно и накурено. Стоял несмолкаемый гам, все старались перекричать друг друга. Буфетчица Рая отмеряла водку в стаканы и нацеживала в кружки пиво, ловко маскируя недолив обильной пеной. Легко отеснив очередь, Кум с Орехом пробрались к стойке. Очередь было заворчала, но в большинстве своем она состояла из рабочих того же пятого завода и, увидев Ореха с Кумом, быстро успокоилась – связываться с ними никто не хотел. Только невысокий крепыш в кепочке-московке, надвинутой на глаза, и в расстёгнутой рубашке, из-под которой выглядывала широкая наколка, процедил сквозь зубы: «Что, Орех, тебя еще не успокоили?».

– Чего, чего? – моментально вскинулся Кум, готовый безрассудно, не задумываясь, броситься в драку.

– Ша! – остановил его Орех и, повернувшись к крепышу, сказал насмешливо:

– А, это ты, Китаец? Это кто ж меня должен успокоить? Ваши курские, что ли?

И уже свирепо, с угрозой:

– В другой раз выбирай слова... И старайся, чтобы мы с вашими не пересекались.

– Да, а как там Гундосый с Кылой? Из больницы вышли? – как бы невзначай спросил Орех. – Кум, сколько их тогда против нас было?

– Человек шесть было, – засмеялся довольный Кум. Китаец как язык проглотил. Только скуластая морда перекосилась злобой, и желваки заходили по скулам.

Орех с Кумом передали закуску: бутерброды с селедкой, яйца и соленые огурцы Миرونу, затем вылезли из очереди сами, поднимая высоко над головой кружки с пивом. Мирон уже разложил закуску на бочке, и Ореху пришлось сдвинуть бутерброды, чтобы поставить пиво.

Кум достал из кармана тощего своего пальто бутылку, стукнул ее по дну, страхуя ладонью горлышко. Пробка осталась в руке. Очистив горлышко от сургуча, он налил до половины единственный граненый стакан и дал первому Ореху.

Орех чуть помедлил и стал пить маленькими глотками. Его передернуло, как от озноба, и он тут же отпил из кружки пиво.

– Значит, решил в мореходное, Мирон? – опросил Орех, когда все выпили.

– Попробую. Семилетка есть. Все равно, не мореходка, так армия.

– А как же мать? – спросил Кум.

– Теперь брательник Колька вырос. Я горб поломал, теперь пусть он ломает. В этом году тоже семилетку заканчивает. Может, на ваш завод учеником пойдет. Устройте?

– Да это мы сделаем, – пообещал Орех. – Как сам-то будешь?

– Как все. Деньги, что заработаю, матери оставлю, до места попутными поездами доберусь. А там казенные харчи, казенная одежда. А нет, так руки есть.

– Попутными поездами тоже уметь надо, – сказал Орех, прикладываясь к пиву.

– Федюню помните? В Крым поехал батьку искать. Батька-то с войны не вернулся, а кто-то донес, что он там с другой бабой живет, фронтовой женой. До половины не доехал, поездом обе ноги отрезало. Теперь на тележке катается и на базаре милостыней кормится.

– Ты, Орех, даешь, – усмехнулся Мирон. – Федюня пацан был.

– Поезд, он не разбирает – пацан или мужик.

– Так ты куда решил? В Таллинн или в Калининград?

– Наверно, в Калининград. Документы через месяц отошлю, а там буду ждать вызова.

– Ну ладно, давай за Калининград.

Кум хотел налить водку в стакан, но Орех остановил его:

– Лей в пиво. Здесь делить нечего.

– Может, разомнемся? Бой гладиаторов устроим? Что-то мне кореша в том углу не нравятся, – оказал Кум, в которого после водки вселялось мировое зло.

– Это, где Китаец сидит? – уточнил Орех.

– Все время в нашу сторону зырят, – подтвердил Мирон.

– Не, пацаны, не здесь. Здесь лягавые ходят. Запросто сесть можно. Опять же, драка начнется, перебьем все, х... рассчитаешься. Давай лучше еще по сто пятьдесят возьмем.

– Я не хочу, – вдруг сник Кум. – Завтра на работу. Подниматься тяжело.

– Ну как хочешь, – удивленно посмотрел на Кума Орех. – А ты? – повернулся он к Мирону.

– Мне тоже хватит.

У Мирона чуть заплетался язык, но выглядел он трезво.

– Ну, тогда пошли. Что я один что ль буду? – обиделся Орех и встал.

Когда шли к выходу, Кум сделал маленький зигзаг в сторону, вроде обходя бочки, и, оказавшись рядом с единственным столиком, за которым сидели курские во главе с Китайцем, вдруг ногой подсек стул, выбив его из-под пацана, ближе всех сидевшего к проходу. Тот растянулся на полу. Кружка с недопитым пивом упала, но не разбилась, и остатки пива растеклись лужицей по дощатому полу. Курские вскочили, но Китаец грозно рявкнул на них и усадил на место, повернул к Куму перекошенное лицо, и едва сдерживая ярость, сказал, отчетливо выговаривая каждое слово:

– Зря ты это сделал, Кум. Ты за это ответишь. И за Михея с Гундосым ответишь. Это же ты их уложил?

– Ну, пошли, отвечу. Выводи свою кодлу, – почти прошипел Кум, а глаза его горели такой дикой ненавистью, что казались безумными.

«Псих, настоящий псих, – подумал Китаец, отводя взгляд в сторону и ненавидя себя за это. Он, уже имевший

три «ходки», вор, которого уважает вся курская шпана, боится какого-то поганого фраера. – С ним надо кончать».

Моя кодла останется здесь, – выдал из себя Китаец. – Мы вас не боимся! Но тянуть срок по глупости нам не резон. С вами мы встретимся в другом месте.

– погоди, Кум, – Орех обнял Кума за плечи и с силой подтолкнул к двери.

– Надо б выпить! – сказал Кум уже на улице, возбужденный.

– Говорил, давай возьмем по сто пятьдесят, – напомнил Орех.

– Можно бутылку взять. Магазин напротив сквера Героев. Все равно в ту сторону идем, – посоветовал Мирон. – А выпить в сквере можно.

– В сквере нельзя, лягавые ходят. В вытрезвитель попадем. Выпьем во дворе пятиэтажки, – сказал осторожный Орех.

Пили из горла, закусывали огурцом, который им выловили из бочки в магазине. Мирон сильно захмелел и все порывался идти к Верке, официантке привокзальной столовой, на другой конец города.

– Все, Кум, допиваем и пойдем, – сказал Орех. – Мирона надо до дома проводить.

Орех тоже захмелел и говорил медленнее обычного, тщательно подбирая слова, но на ногах держался твердо. Кума, казалось, водка не брала, но он был не в духе, – говорил мало и больше слушал, но Орех этого не заметил.

– Я матери хотел пряников купить, – сказал Кум. – Вы идите, я догоню.

– Да ладно, сам доведу, не суетись. Все равно по домам расходимся. Мы сейчас по Дзержинской, там рядом. Ты давай через дворы, – решил Орех.

– Ну, гут! Тогда до завтра! Они обнялись и разошлись...

Удар был страшным. Кум, как оглушенный на бойне бык, упал на колени и сделал попытку подняться, но тело не подчинилось, будто многопудовая плита придавила его игнула к земле, а земля уходила из-под ног и вдруг стала с бешеной скоростью вращаться, меняясь местом с небом, потом все слилось в один сплошной круг, который стал быст-

ро уменьшаться, превращаясь в черную точку. Сознание померкло, и он распластался на снегу темного полупроходного двора, рассыпая розовые пряники и окрашивая снег кровью, не дойдя двух шагов до невысокого кирпичного забора, через который он собирался перемахнуть легким кошачьим касанием, чтобы через минуту быть дома.

– Готов! – сказал мужик в фуфайке, склонившись над Кумом.

– Ну вот, а говорили, здоровый! – другой, в полупальто с кроличьим воротником, сплюнул сквозь зубы:

– Мотаем отсюда.

И они растворились во тьме двора.

Когда его нашли утром в луже крови, он еще был жив и что-то пытался сказать, но только пошевелил губами. Врач, осмотрев рану на голове пострадавшего, безнадежно махнул рукой. Рану, как могли, обработали, перевязали, и Кума отвезли в палату. К вечеру Кум впал в кому, а ночью умер, не приходя в сознание...

– Да ничего подобного, – кричал Семен Письман. – Их было человек десять. И они ничего не могли с ним сделать. Если бы сзади не стукнули ломом по голове, он бы их побивал там.

– Откуда лом-то? – усмехнулся Мухомеджан. – Кто с собой лом на такое дело берет? Там невдалеке обрезок трубы нашли.

– Не, огольцы, – сказал Пахом, – не так все было. В кафе на них задрались курские. Курских было человек шесть. Орех, Кум и Мирон отметили их, дай боже. Тогда курские послали кого-то выследить Кума. Наши, ничего не подозревая, шли себе своей дорогой и не видели, что за ними кто-то следит. Тот, кто следил, дождался, когда Кум останется один, и сзади ударил по голове.

– Откуда же курские знали, что Кум останется один? – заметил Самуил. – Они же втроем шли. А Орех с Кумом и живут рядом.

– А они и не знали, – вмешался Мухомеджан. – Кто остался, того и грохнули.

– Как же теперь Орех с Мироном против шпаны? – сказал, ни к кому не обращаясь, Пахом.

– Орех летом вообще один останется, – заметил Мотя-старший. – Мирон, вроде, в мореходку собирается.

– Если доживет до лета, – мрачно буркнул Пахом.

– Вчера мне Мишка Горлин, сосед Ореха, сказал, что они вместе решили в мореходку ехать. А если кто не поступит, вместе в Армию пойдут, – сообщил новость Мухомеджан.

– Ореха в армию не возьмут, у него бронь, он же на оборонном заводе работает.

– Бронь на мирное время не распространяется. Все равно в армию идти, позже – хуже. А Орех уже давно должен был служить, – объяснил Самуил. – У Ореха мать одна останется, он единственный кормилец.

– Кум тоже единственным кормильцем был, – поставил точку в этом невеселом разговоре Самуил, и мы разошлись, похоронив самую яркую легенду наших дворов и нашей юности.

Глава 23

Запах весны. Подарок к 8 Марта. Индивидуалист Себеяев. Ворованные деньги. Позор.

В последний день зимы погода стояла весенняя. Люди, отвыкшие за зиму от солнца, жмурились от нестерпимо яркого света и улыбались. Хотелось снять шапку и варежки. Но солнце еще только примерялось, и его холодные лучи не грели, хотя мягкий, податливый снег уже не скрипел под ногами, а с крыш капали капли, и с грохотом рушились сосульки. На ум ничего не шло. Хотелось на улицу, и ученики все чаще смотрели не на доску, а на окна, за которыми, не торопясь, шли люди в пальто нараспашку и вдыхали через форточку сводящий с ума запах весны, по лошадиному раздувая ноздри.

– Пацаны! Зою будем с Восьмым Марта поздравлять? – спросил староста Женька Богданов.

– Будем, – вяло вразнобой ответили пацаны.

– Хер ей! – сказал зло Себеяев. – Она мне двойку хочет в четверти поставить.

– Она ничего не хочет, Себеяй. Это ты хочешь, чтобы она тебе эту двойку поставила, если тебе лень три параграфа вызубрить, – возмутился Богдан.

– Мне что? Я как все, – буркнул обиженный Себеляев.

– По сколько? – спросил Валька Климов.

– Ну, кто сколько может. А вообще, нужно бы рублей пятьдесят набрать.

На следующий день почти все принесли деньги. Пятидесяти рублей не набралось. Но тут Себеляев вынул из кармана своих заляпанных чернилами штанов три скомканные тридцатки и положил одну в общую кучу.

– А это я отдельно подарок куплю, – сказал важный как индюк Себеляев, запихивая остальные деньги назад в карман. Мы обалдело смотрели на Себеляя.

– Ни хрена себе! – присвистнул Пахом. – Откуда у тебя столько?

– Нашел, – усмехнулся Себеляев.

Никто, конечно, не поверил, но голову ломать, откуда у Себеляя деньги, не стали.

После уроков ватагой пошли покупать подарок. До хрипоты спорили, вызывая улыбки покупателей и раздражение продавцов. А кончилось тем, что купили большую подарочную коробку печенья. Женька Богданов расстроился и мрачно сказал:

– Придурки. На женский день дарить жратву! Давайте тогда еще хоть цветы купим.

С этим все согласились. Деньги еще оставались, и их отдали Женьке, чтобы он потом купил цветы.

Поздравляли учителей торжественно. Валька Нефедов написал на большом листе поздравление и нарисовал мимозы. Настроены все были настолько празднично, что на первом же уроке поздравили с Восьмым Марта вернувшегося в школу Филина, на что Филин сказал, безнадежно махнув рукой:

– Сядь Нефедов и придумай что-нибудь поумней... Иди-ка лучше к доске и напиши решение домашней задачи.

А потом Филин старался сделать все, чтобы сбить нашу праздничную дурь, и гонял нас к доске, заставляя решать идиотские примеры. Двойки, правда, ни одной не поставил.

Перед уроком литературы мы положили на учительский стол коробку печенья, перевязанную ленточкой, и нарциссы, за которыми Женька Богданов ходил на базар.

Себеляев принес шикарный флакон духов. На матовой ледяной глыбе из стекла стоял белый медведь, выполняющий роль пробки.

– Себеляй, – оказал Пахом, – клади на стол вместе со всеми.

– Не, я отдельно, – упрямо мотнул головой Себеляев. – Я от себя.

– Думаешь, двойку не поставит? – ехидно засмеялся Аникеев. – Поставит, еще как.

– Жаль, что ты не комсомолец, – вяло подал голос Третьяков.

Себеляй промолчал. Вошла улыбающаяся Зоя. Она подошла к столу и всплеснула руками:

– Это мне? Ой, зачем?

Она как девочка зарделась. Богданов встал и выучено поздравил Зою от класса:

– Дорогая, Зоя Николаевна, поздравляем Вас с женским днем Восьмое Марта, желаем успехов в труде и счастья в личной жизни.

И тут вышел Себеляев и поставил на стол свой флакон духов.

– Я вас тоже поздравляю, – сказал он, глядя в пол, и быстро пошел на место.

– Зоя растерялась, потом, нахмурясь, спросила:

– Гена, а откуда у тебя деньги на такой подарок?

– Отец дал, – пробормотал Себеляев.

– Он же с вами не живет.

– Ну и что? – с вызовом поднял голову Себеляев.

Зоя Николаевна пожала плечами.

Урок прошел спокойно. Зоя рассказывала нам о том, как зародился праздник 8 Марта, потом о выдающихся женщинах революционерках. Никого не спрашивала, и урок пролетел незаметно. А печенье она оставила нам. Это была роскошь, которой многие из класса никогда еще не пробовали...

Через два дня разразился скандал. В школу пришла бабка Себеляева и заявила, что внук, паразит, стащил у нее сто рублей. Бабка голосила в учительской, и директор увел ее в свой кабинет.

– Змей проклятый. На похороны собирала ... В иконе Матери Пресвятой Богородицы хоронила. Нашел нечестивец, – причитала бабка. – Мать его веревкой драла: «Где деньги; сволочь?» А он и говорит: «На подарок учительнице сдал».

Успокоилась она только после того, как директор пообещал ей все деньги вернуть.

С Зоей случилась истерика. Она клялась, что ничего не знала, и что не хотела брать духи, как знала, что так все кончится. Костя наказывать Зою не стал, только строго заметил:

– Соображать надо, Зоя Николаевна. Деньги верните. Позор всей школе...

Деньги собрали всей учительской. Зоя принесла злополучные духи в школу, и вся женская часть учительской до конца года благоухала изумительным запахом Себеяева подарка. Мы тоже собрали тридцатку – столько, сколько нам добавлял Себеяев, и отнесли ее в учительскую. Ведь печенье, которое мы купили как подарок, мы сами и съели. Зато остались цветы, которые были подарены от чистого сердца и приобретены на наши кровные, выпрошенные у родителей честным путем.

Глава 24

Приезд Мессинга. Психологические опыты. Мессинг «читает мысли». Мессинг «вычисляет» меня. Я показываю свои способности. Серьезный разговор. Благословение.

На деревянном заборе, на углу Московской и Степана Разина, появилась афиша: «Профессор Вольф Мессинг. Психологические опыты.

Чтение мыслей. Нахождение предметов через индуктора. Гипноз. Каталептический мост и другие опыты».

– Опять фокусы какие-нибудь. Шарлатанов развелось. Не хуже того фокусника, который приезжал к вам в школу, – скептически махнул рукой отец, когда я сказал ему об афише.

– Да нет, похоже, это серьезно! – возразил я. Отец пожал плечами, помолчал и предложил:

– Тогда давайте сходим все вместе. Ты, я и мама.

Я сам вызвался купить билеты, простоял в очереди часа полтора и попросил билеты в первый ряд. Я уже ощущал значимость этого события для себя и хотел находиться как можно ближе к сцене и, может быть, даже участвовать в опытах. Но не только на первый ряд, который зарезервировали какому-то начальству, а и на следующие четыре билетов уже не было. И тогда я взял себе место в проходе с краю в четвертом ряду, а родителям в пятом позади себя – лучшее, что я мог придумать.

Зал «Дома учителя» вмещал немногим больше двухсот человек. В ожидании, когда раздвинется занавес и начнется демонстрация опытов, я нетерпеливо поглядывал на сцену и невольно прислушивался к разговорам соседей:

– Говорят, что для него нет ничего невозможного. Например, он может прийти в банк, и ему выложат все деньги, которые есть. Берите, пожалуйста.

– Ну, это гипноз. А я слышала, что он может точно предсказать, что с тобой случится через неделю или через десять лет.

– Ерунда. Если Мессинг что-то может, то это имеет научное объяснение. А предсказывают гадалки и шарлатаны.

Занавес поплыл в стороны. На сцене одиноко стоял небольшой столик, накрытый зеленым, и стул. На столе графин с водой и граненый стакан.

Зал стал аплодировать. На сцену энергично вышел мужчина в строгом черном костюме и галстуке. Но это был не Мессинг. Мужчина подождал, пока в зале наступит тишина, и стал говорить. Я жадно ловил каждое слово, и текст легко и надежно укладывался в моей памяти.

«Мессинг в точности, безошибочно выполняет самые сложные мысленные приказания, которые любой из присутствующих пожелает ему предложить....»

В действительности ничего сверхъестественного в умении улавливать мысли нет...

Мессинг непосредственно ощущает двигательные импульсы, поступающие из мозга в мускулатуру, когда испытуемый мысленно дает ему задание...

Совершенно неправильно было бы думать, что опыты Мессинга доказывают возможность передачи мысли из одного мозга в другой. Мысль неотделима от мозга...

Наблюдая опыты Мессинга, мы еще раз убеждаемся в том, что нет такого явления, которое не находило бы исчерпывающего научного объяснения с позиций диалектико-материалистической теории».

Мужчина закончил вступительную речь и под аплодисменты зала покинул сцену.

Я был разочарован. Слишком все просто и, в конце концов, ничего не объясняет. И если это так, как только что говорил выступающий, то Мессинг может выполнять только примитивные задания, а мое авантюрное желание – мысленно заставить Мессинга выделить меня в массе зрителей и подойти ко мне, обречено на провал. А внутреннее ощущение говорило мне, что здесь таится какое-то противоречие, и Мессинг – это что-то более значительное, чем примитивно тренированный артист.

И вот он вошел, нет, влетел на сцену. Невысокого роста, нервный и подвижный. Достаточно высокий лоб с залысинами. Темные волосы зачесаны назад.

– Я начинаю свои психологические опыты. Я покажу вам свое искусство. Многие считают его чудесным, но я должен убедить вас, что ничего чудесного в нем нет, все, что я делаю, я делаю силой своей психики, без вмешательства каких бы то ни было потусторонних, сверхъестественных сил.

Эти слова мне понравились больше, чем предыдущее научное вступление.

Мессинг быстро сбежал по ступенькам в зал, отобрал несколько человек и отправил на сцену.

В конце зала появилась фигура какого-то значительного начальника, потому что многие встали и начали приветствовать его. Я невольно отвлекся от «опытов» и посмотрел в ту сторону. Начальник, не отвечая на приветствия, кривит рот в усмешке и скептически смотрит на Мессинга, но вдруг начинает нелепо прыгать в проходе мимо опешивших зрителей прямо на сцену. Мессинг нарочито удивился и под аплодисменты отпустил начальника в зал.

Тот вымученно изобразил улыбку, развел руками и, пригиняясь, пошел на свое место в первый ряд.

На сцене, отобранные, в основном молодые люди, под хохот зрителей стали выделывать всевозможные смешные вещи: пели, будто они солисты Большого театра, нянчили несуществующих детей, входили в холодную воду. Одна девушка, которой Мессинг внушил, что ей шесть лет, смешно картавила и играла с куклой.

Мне это было не интересно. Это я мог делать тоже.

Потом Мессинг ввел молодого человека в состояние каталепсии, проведя обеими руками вдоль его тела, взял его вместе с помощниками из зала за голову и за ноги и положил на края стульев так, что тело подопытного висело над полом. Получился «мост», на который Мессинг встал и даже покачался на нем. Тело лежало параллельно сцене, словно стальная плита. Зал аплодировал.

Но по настоящему интересными все же были сеансы телепатии, угадывания мыслей.

Мессинг попросил придумывать ему задания, и чем сложнее, тем лучше. Задания писались на бумаге и передавались ассистенту, который, не читая, клал их в конверт. Для чистоты эксперимента Мессинг пригласил из зала несколько человек, которые следили за выполнением заданий и оглашали текст записок.

Одним из заданий, например, было: приставленный стул из восьмого ряда принести на сцену. Попросить мужчину из четвертого ряда выйти на сцену и сесть на стул, вынуть из внутреннего кармана паспорт и вслух прочитать фамилию, имя и отчество его жены согласно паспортной отметке.

Мессинг взял за руку индуктора, человека, который писал записку, и попросил сосредоточиться на задании. Яркий свет прожекторов слепил глаза. Вдруг Мессинг ринулся со сцены в зал, увлекая индуктора за собой, схватил приставленный стул в восьмом ряду и вышел на сцену. Мессинг еще раз нервно попросил сосредоточиться на задании. Лицо его при этом было отталкивающе неприятно. Слюна остановилась в уголках рта, он, как гончая собака, кидался из стороны в сторону, таская за собой индуктора

или бегал вокруг него, иногда замирал на мгновение, вглядываясь в индуктора. И вдруг разом подбежал к мужчине в четвертом ряду, схватил его за руку, вывел на сцену, посадил на стул, достал из его кармана паспорт и, раскрыв, прочитал имя жены.

Когда жюри огласило задание, зал взорвался аплодисментами...

Все другие задания не отличались особой оригинальностью и были схожими, как братья близнецы, но Мессинг безропотно и добросовестно выполнял их. Он стремительно сбегал по ступенькам сцены, словно ныряя в зал, и индуктор едва поспевал за его нервными и непредсказуемыми перемещениями.

И все же я понял, что Мессинг «слышит» и «читает» мысли, когда он, выполняя очередное задание, подошел к одному из зрителей и раздраженно сказал:

– Вы нарочно даете мне ложную информацию. Это затрудняет работу, отнимает время. Мужчина смущенно извинился.

Настала моя очередь осуществлять мой план встречи с Мессингом. Я стал внушать Мессингу мысль найти меня, а когда тот пробежал мимо, «тормозил» его. Глаза Мессинга стали беспокойно «бегать» по рядам, и он бросил в зал: «Мне кто-то все время мешает». И вдруг, пробегая мимо меня в очередной раз, резко остановился, повел головой, ноздри его по-звериному зашевелились, будто он принюхивается, и он безошибочно определил: «Вы?» Я кивнул. «Зайдите ко мне после сеанса». «Сын, что ты задумал?» – склонился ко мне отец. «Хочу понять, что я такое! Я этого долго ждал, и упустить шанс поговорить с таким человеком просто нелепо».

Мессинга долго не отпускали со сцены. Аплодировали стоя и выносили на сцену цветы, такие редкие в это время года.

Мать осталась ждать нас с отцом в вестибюле, а мы поднялись на сцену и пошли искать уборную комнату Мессинга. Это было нетрудно, потому что возле нее толпились люди. Всем хотелось поговорить со знаменитым гипнотизером.

Мы с отцом стали в сторонке, не зная, как пробиться через толпу. Но Мессинг, быстро спровадив пару-тройку

поклонников, вышел сам, нашел меня глазами и пригласил: «Пройдите», а перед остальными извинился, сославшись на усталость.

– Можно я с отцом? – спросил я.

– Конечно, – кивнул Мессинг.

Перед профессором стояла чашка с дымящимся чаем, и он помешивал чай ложечкой. Я удивился, когда увидел, что Мессинг надел очки. Очки были в черной оправе. Теперь лицо его было обычным, человеческим, только страшная усталость обострила его черты. Напряжение отпустило его, но говорил он тихо и с трудом, словно, делая усилие над собой.

– У вас очень сильное энергетическое поле. В отдельные мгновения я даже слышал вас. Вы хотели, чтобы я нашел вас.

Мы с отцом сидели на потертом дермантиновом диване с откидными валиками по бокам. Чувствуя мою неловкость, Мессинг спросил вдруг:

– Что вы умеете?

– Ну, – замаялся я и, заметив на столе папиросы «Казбек», попросил:

– Можно пустую коробку?

Мессинг высыпал папиросы и подал мне пустую коробку. Я положил коробку на стол, потер руки одна о другую, чтобы на них не оказалось случайной влаги, и поместил ладони так, чтобы коробка оказалась между ними, как бы обнимая ее, но не дотрагиваясь. Коробка шевельнулась, и я повел ее к краю стола, у самого края я убрал руки и, сконцентрировав взгляд на этой коробке, свалил ее со стола. Она стукнулась о пол.

– Bravo, – похвалил Мессинг. Глаза его сияли, будто это не я проделал этот несложный трюк, а он сам.

– Что еще?

– Ну, если бы кто-нибудь согласился мне помочь, – ободренный профессором, сказал я. Мессинг встал и пошел к двери. Через некоторое время он вернулся с молодой женщиной, наверно, из тех поклонниц, которые все еще караулили его в коридоре. Лицо женщины покрыл румянец, и она светилась вся от счастья. Еще бы, удостоилась чести быть приглашенной самим Мессингом. Я мгновенно опре-

делил, что материал податлив, и мне будет стоять небольшого труда показать на ней свое умение. Так и случилось. Едва она опустилась на диван рядом с отцом, куда указал ей Мессинг, я произнес:

– Встаньте! – голос мой звучал сухо и резко. И я уже не принадлежал себе, я перестал видеть окружающие предметы; всё, кроме лица женщины, отступило на второй план и, как бы, покрылось серой пеленой. Так художник-портретист оставляет фигуру позирующего объекта в центре холста, закрашивая фон одним тоном.

Женщина встала, но лицо ее выражало недоумение, которое быстро стало исчезать под моим взглядом, а я подошел совсем близко, но при этом не сделал ни одного жеста и не произнес ни одного слова.

– Всё, она никого не слышит, кроме меня, – сказал я Мессингу, и уловил недоверие на его лице. – Что бы вы хотели, чтобы она выполнила?

– Что хотите, – оживился Мессинг.

– Она сейчас возьмет папиросу из вашей пачки, зажжет ее и передаст вам. При этом я не скажу ей ни олова.

Я мысленно повел женщину к столу, мысленно заставил ее взять папиросу из пачки, зажечь от спички, которые лежали на столе, и протянуть профессору.

В таких случаях я почти физически ощущал все действия, которые проделывал мой подконтрольный объект, то есть я, словно сам, брал папиросу, сам зажигал спичку и прикуривал. Поэтому ничего удивительного не было в том, что я закашлялся. Одновременно закашлялась женщина. Потом я усадил ее назад на диван и стоял, ожидая, что скажет Мессинг.

– Более чем убедительно.

Я дотронулся до плеча женщины и вывел ее из состояния гипноза. Она удивленно посмотрела на меня, потому что я стоял рядом, и она успела увидеть мою руку, которую я отводил от ее плеча.

– Что-нибудь не так? – спросила женщина, инстинктивно поправляя прическу.

– Нет, нет. Все так! – весело успокоил ее Мессинг. – Как вам понравилось мое выступление?

– Изумительно, изумительно! Вы чародей, вы маг! Я не могла уйти просто так, не сказав вам этого.

Женщина пылко произносила свой монолог, прижав кулачки к груди и привстав с дивана.

Мессинг поблагодарил ее и тактично выпроводил из комнаты, выслушивая по дороге к двери горячие комплименты своему таланту.

Все что случилось с ней в этой комнате, женщина не помнила. Разве что где-то глубоко в подсознании осталась картинка, как на киноленте, но это вряд ли помешает ей нормально жить.

Вольф ... извините, не знаю вашего отчества, – подал голос мой отец.

– Григорьевич.

– Вольф Григорьевич, понимаете, сила Володи не в том, что он показал. Это все, как бы, сопутствующее, внешнее что-ли. Меня беспокоит его внутренний мир, совершенно не укладывающийся в привычные рамки. И я вижу, что ему очень тяжело. Он раздваивается, потому что его другой мир находится за пределами нормального восприятия.

– Как это выражается? – быстро спросил Мессинг.

– Соприкасаясь с предметами, которые держал тот или иной человек, или, оказавшись в том месте, где происходило нечто важное, Володя может погрузиться в такое состояние, когда видит яркую картину происшедшего месяц назад или год. Он видит вещие сны. И они сбываются в глобальном масштабе.

– Состояние каталепсии, – определил Мессинг.

– Я бы не определял это как состояние каталепсии, это что-то большее. Я знаю, что в этом состоянии вещают, но здесь совсем не то.

– Каталепсия сейчас трактуется шире, чем оцепенение. Телепат в состоянии каталепсии может предвидеть будущее. Что еще? – терпеливо поинтересовался Мессинг.

– Еще он лечит. Его руки способны творить чудеса. Правда, мы стараемся не афишировать это, и помогает он только близким. Но были факты, когда он погружал в это состояние, о котором я говорил, человека, возвращая его к родовому периоду и, как бы, заставляя его вновь появ-

виться на свет, И у того исчезало без следа серьезное психическое заболевание.

– Кому вы показывались?

– Практически никому. Здесь встречались с нашим известным психиатром. Он Володю смотрел, удивлялся его способностям и, в конце концов, сказал: «А что вас, собственно, беспокоит? И гипноз и телепатия давно существуют и изучены. Все это объяснимо и укладывается в научно-материалистическую концепцию, А все остальное: предсказания, возвращение в прошлое – мистика, плоды усталого воображения. Мальчику нужно больше отдыхать. Его мозг так устроен, что постоянно работает».

– Ваш доктор прав лишь отчасти, и он далеко не одинок в группе ученых, пыгающихся отмахнуться от проблемы, которую не могут объяснить. Прав в том, что все явления можно и нужно объяснять научно, и что они не противоречат диалектико-материалистической теории. Но ведь многие явления далеко не изучены. Не изучен достаточно и гипноз, а тем более телепатия. Телепатию вообще скомпрометировали шарлатаны. Нужно отделять мистику и шарлатанство от телепатии. Многие ученые вообще отрицают саму возможность непосредственной передачи образа из мозга в мозг. Но эти ученые просто никогда не видели настоящих телепатов. И здесь мы сами виноваты. Люди, наделенные необычными способностями, часто скрывают их даже от самых близких. А многие вообще не сознают у себя эти способности, им кажется, что так и должно быть, и они иногда лишь удивляют окружающих. Все это не способствует изучению этой области психической деятельности человека... Я думаю, не надо говорить, что я искренне рад встретить здесь как щедро одаренного природой юношу.

– Вольф Григорьевич, я пытаюсь найти объяснения всем этим явлениям, но, признаюсь, бессилён. Часто многое не увязывается со здравым смыслом. Я не нашел сколь-нибудь серьезной литературы и только наталкиваюсь или на жития святых, или на древние трактаты. Например, у Аристотеля «О душе», где он вводит термин «метафизика». Где-то мне попадались сведения о Парацельсе, в которых говорится о целебных свойствах магнита, которым он врачевал раскрытые раны, исцелял переломы, оттягивал водянку и

прочее. Не так ли действуют руки Володи? Тем более, еще в начале 17 века Гельмонд и Флюид говорили о «жизненной силе», истекающей из рук, глаз и других органов. По их мнению, влияние флюида на живое сродни действию магнита. С тех пор к этому «животному магнетизму» постоянно возвращались ученые более поздних времен. Например, венский врач конца 18 века Месмер или Джон Брайд, который в середине 19 века написал книгу «Магия, колдовство, «жизненный магнетизм», гипнотизм и электробиология». Но все это примитивно для нашего времени, и часто наивно. В новой же литературе я ничего интересного не нашел. И Павлов и Сеченов, в общем-то, мне тоже ничего не объяснили.

– Это естественно. Раз явления, о которых мы с вами говорим, не изучены, то их и не описывают, а если и описывают, то не объясняют. К сожалению, я тоже далеко не на все вопросы могу ответить, и сам был бы рад, если бы кто-нибудь ответил на них. У нас ведь, борясь против суеверий в сознании людей, не жалуем ни гадалок, ни волшебников, ни хиромантов. К числу таких же непоощряемых занятий относят и телепатию. Мне до сих пор это мешает. Мне приходится переубеждать и тысячу раз демонстрировать свои способности. Вот вы слушали вступительное слово перед моим выходом. А ведь оно не объясняет, например, способность читать мысли, что, кстати, хорошо продемонстрировали сегодня вы, Володя. У меня есть номер «Шахматы с завязанными глазами». Я, не умеющий играть, ставлю мат через индуктора.

Мне пытаются объяснить, что вот эти едва различимые движения организма, продиктованные мыслью индуктора, и являются источником угадывания моего задания. Но ведь это слишком примитивно. Но я не спорю, потому что не могу научно дать другое объяснение. Да, я часто пользуюсь контактом через руку, это отнимает меньше энергии, но, в принципе, мне безразлично, есть у меня контакт с моим индуктором или нет. Один профессор¹, во всеуслышание заявил, что к телепатии опыты Мессинга никакого отношения не имеют. Я готов согласиться с этим, если

¹ Профессор Касинский

кто-нибудь скажет, как я могу сложить цифры номера удостоверения и числа, обозначающего срок действия другого удостоверения.

Телепатия существует, только ученые не утруждают себя ее изучением.

Мы с отцом слушали внимательно. Если мы и не получим ответа на наши вопросы, то, по крайней мере, будем знать положение дел вокруг этих явлений, да и ощущение, что я не одинок в этом мире со своей ношей и что вопросы, которые задает себе отец, не дают спать даже Мессингу, придавали уверенность.

– Так что же это в таком случае? – не удержался отец. – Если это не электрические колебания и если это не нервная передача через сокращение мышц, то что?

– Не знаю, – откровенно признался Мессинг. – Мы вообще ничего не знаем об этом новом поле, или о частицах, или о другом своеобразном механизме, как еще семьдесят лет тому назад не знали о радиоволнах. Чтобы «услышать», мне нужна особая собранность чувств и сил, но когда я достигаю этого состояния, я без труда «слышу» и читаю мысли любого человека. Я могу обходиться без контакта, а завязанные глаза только помогают, и я вижу то, что видит индуктор.

Мессинг на минуту задумался и ушел в себя, и мы с отцом приготовились терпеливо ждать, когда профессора оставит память о далеком прошлом, но он быстро вернулся в реальность и продолжал:

– Давно известно, что мыслительная деятельность человека сопровождается возникновением в мозгу биотоков. Говорят, правда, что эти биотоки ничтожно малы. Но это тоже ведь не довод. Один молодой ученый предположил, что это могут быть волны гравитационного поля, для которого нет преград, нет непрозрачных экранов. «Телепатические волны» обладают почти абсолютной способностью пронизывать любые препятствия.

– Хорошо! Это в какой-то степени можно объяснить телепатию или, в конце концов, действие внушения под гипнозом. А как быть с такими явлениями как предсказание и видение прошлого? Ведь никто не хочет признавать

существование способности предсказывать или видеть прошлое. А Володя вообще попадает в какие-то странные, но, в его восприятии, реальные миры.

– Именно поэтому я не люблю вспоминать о многих эпизодах в моей жизни, связанных с ясновидческими способностями. Но ясновидение реально существует, и науке придется когда-нибудь заниматься и этим тоже. Вы читали Фейхтвангера? «Братья Лаутензак»?

– К стыду своему, нет. Хотя Фейхтвангера люблю.

– Не надо извиняться. Я не знаю, издана ли эта книга на русском языке. Написана она не так давно. Я читал ее в оригинале. Так вот, у Лаутензака был прообраз. Имя его Ганнусен, который состоял у Гитлера «ясновидящим». Но сюжет книги воспринимается как фантастика, и вряд ли тот, кто прочитает книгу, воспримет героя серьезно.

Вольф Григорьевич снова ненадолго задумался и продолжал:

– Видите ли, уважаемый Юрий Тимофеевич, что есть все эти явления, то есть телепатия, ясновидение и так далее? Атавизм наших предков? Или наоборот, свойство, которым в полной мере будут обладать люди будущего или те существа, которые придут нам на смену?

Одна точка зрения: чем примитивнее устроен организм, тем нужнее ему телепатия. Телепатия исчезла у людей, потому что перестала быть нужна, когда человек стал иметь множество способов обмена информацией. Но иногда, этот рудимент воскрешается у человека. Как у некоторых людей от рождения имеется хвост или волосатость.

Мессинг открыл коробку «Казбека», взял папиросу, размял ее в пальцах и закурил.

– Явления, феномены из жизни людей, одаренных необычными способностями, часто ставят в тупик многих ученых классической науки, ибо с их позиции, они кажутся противоречивыми, взаимоисключающими и даже логически необоснованными или... трюкачеством.

Ученым «классикам» признать такие явления, как телепатия, левитация, ясновидение, предвидение, реинкарнация, лечение посредством рук мешает то, что они не укладываются в рамки традиционной физической науки.

Но, в конце концов, я верю, что, поскольку эти явления реально существуют, они должны быть включены в общую картину мира.

Все свидетельствует о безграничных возможностях человеческой психики, в основе которой заложена таинственная загадка человеческого мозга.

Было видно, что Мессинг очень устал и ему нужен отдых, и отец не решился задать еще один вопрос о том, что существует другая, параллельная классической, наука. Есть еще йоги, есть наука тибетских лам, да и колдуны знают немало тайн из этой нетрадиционной области. И почему бы не повернуть усилия исследователей в эту сторону. А отец именно в этом направлении вел с некоторых пор свой поиск. Он недаром оставил в покое традиционную науку, которая с маниакальной настойчивостью ссылается на Павлова и Сеченова и толчется на месте, не отрываясь от догмы материалистической науки, и теперь выкапывал где только мог затертые книги с дореволюционными «ятами» и «ерами» об оракулах и жрецах, разбирал на составные части «Илиаду» и «Одиссею», где упоминаются прорицатели, обращался к VI веку до н.э., когда известностью пользовалась афинская ведунья из г. Кумы Сивилла, и собирал случаи сбывшихся прорицаний, которые отмечались в дневниках М.П. Погодина, то в рассказах С.И. Муравьева-Апостола о парижской предсказательнице Марии Анне Адelaide Ленорман...

– Спасибо, вам, Вольф Григорьевич, за содержательную беседу. Вы нам очень помогли, просветили и ободрили. Желаем Вам здоровья и успехов.

Отец поднялся. Мессинг протянул ему руку. Мою руку он взял в обе руки и ласково сказал: «Милый мальчик, никогда не пытайтесь разубедить людей, что Вы провидец или не такой как они, пусть они пребывают в заблуждении и думают, что вы ловкий фокусник, гипнотизер, на худой конец. Но это лучше, чем быть в их глазах шарлатаном. Лет через пятнадцать, двадцать наука займется вплотную необычными явлениями и необычными свойствами человеческой психики и поймет, что возможности человека не познаны и, может быть, это будет другая наука, за пределами известной нам».

Я был тронут до слез и не нашел ничего лучше, как уткнуться лицом в Вольфа Григорьевича. В конце концов, это был родственник мне человек, единственный, пожалуй, кто понимал внутреннюю мою суть не понаслышке.

– Ну-ну, мальчик, – он погладил меня по голове. – Мы с тобой прощаемся ненадолго. Летом ты приедешь с отцом ко мне, и я познакомлю тебя с настоящими учеными. И, может быть, именно тебе с другими такими же одаренными ребятами, о которых мы, несомненно, узнаем, предстоит почетная миссия помочь познать истину.

А вот тебе напоминание обо мне. Он достал из потертого портфеля черной кожи листок. Это был текст «Вступительного слова», который предварял выступления Мессинга.

– Это мне для того, чтобы не отвечать на одни и те же вопросы, а тебе это что-то вроде индульгенции, защиты от ретивых и глупых.

И Вольф Григорьевич быстрым почерком начертил поверх листка автоматической ручкой: «Моему юному другу Володе Анохину в знак восхищения его необыкновенным способностям, которые, однако, являются полностью научно и материалистически объяснимыми. Вольф Мессинг».

Ниже профессор написал свой московский адрес и телефон.

Глава 25

Наводнение. Вода на улице. На плоту. Выдра. Откровение Махатмы. Болезнь. Я теряю свой дар. Жизнь продолжается.

Еще вчера река лежала неподвижно, скованная льдом, и наиболее отчаянный народ все еще перебирался на другой берег по едва заметному следу, размытому талым снегом, перепрыгивая через небольшие лужицы и щупая ногой глубину выступившей из-под льда воды, шлепали прямо по ней...

А ночью лед пошел, и река стала быстро подниматься. К утру начали рвать ледяные заторы, и от взрывов в домах задребезжали стекла.

В школу в этот день пришло меньше половины ребят. Все, кто жил ближе к реке, остались дома. Нас возбуждали

взрывы, доносящиеся с реки, мы старались определить, в какой стороне рвут, и почти не слышали учителей. Слова их вязли где-то на полпути к нашему сознанию, так как у нас полностью отсутствовало желание воспринимать что-то еще, кроме надвигающегося наводнения. Зоя нервно вздрагивала вместе с каждым глухим ударом и вела урок кое-как. Многие учителя тоже жили в районах возможного затопления, и их сейчас занимала судьба их жилища больше уроков.

После третьего урока нас распустили по домам...

Мы стояли у самой воды. А по речке быстро неслись льдины и льдинки. Большие льдины сталкивались иногда, вздыбливались и наползали одна на другую. Оживление вызвала собака, плывшая на льдине. Она скулила и металась от одного края к другому. Кто-то засвистел, заулюлюкал, но большинство собаку жалело, и вздох облегчения прошел по толпе, когда наперерез льдине с собакой устремилась моторка, в которой сидело трое: один правил лодкой, двое других баграми отталкивали льдины. Лодка благополучно достигла цели, льдину подцепили багром и потащили, было, к берегу, но собака вдруг прыгнула в лодку, чуть не сбив лодочника.

Вместе с льдинами по реке плыли доски, бревна, ветки. Стихия завораживала.

Домой мы разошлись поздно, когда вода уже стала выходить из берегов на самых низких участках. Она быстро сочилась дальше, затопляя впадины и ямки прибрежного пространства.

К вечеру вода полностью вышла из берегов и затопила первую из параллельных реке улиц – улицу Свободы, рукавами растекаясь по боковым переулкам. Обычно здесь вода останавливалась. Дальше все становилось неинтересным, и ребята, усталые и пресыщенные зрелищем, разошлись по домам. В какой-то момент, когда я шел к дому, я вдруг ощутил, что иду по затопленной улице, меня окружает вода, и я тяжело передвигаю ноги, стараясь преодолеть ее сопротивление. Это наваждение длилось недолго, и я, давно привыкший к сюрпризам своей психики, отмахнулся от него, как от назойливой мухи...

Утром меня разбудили тревожные голоса, звон ведер, глухие стук молотка или топора по дереву. Родители были

на ногах и поднимали с пола все, что можно было поднять: сняли дорожки, табуретки взгромоздили на столы. Картошку и всю засолку они еще раньше подняли из подвала, и мешки, бочки с капустой и огурцами стояли в углу кухни, занимая большую ее часть.

Я быстро вскочил, натянул штаны, надел рубашку, сунул ноги в резиновые сапоги, которые мать заставила меня надеть, когда я ходил на берег, накинул пальто и выскочил во двор. По двору ходил хмельной Шальгин, сыпал прибаутками, и весь был в деле. Он умудрялся ходить верхними огородами мужикам, подплывавшим к нашему двору на подсобных плавсредствах, вплоть до ворот, за водкой в продмаг, и они его за это щедро угощали. Я, осторожно ступая по воде, вышел к улице и влез на бугор за сараями, где мы летом всегда сидели с пацанами, и стал наблюдать за водой. Кое-где люди сидели на крышах, и их снимали солдаты на «амфибиях».

– Вовец, – услышал я знакомый голос. – Вас затопило?

На половинке ворот плыл Пахом. Он отталкивался длинным шестом. На лице сияла довольная улыбка.

– Нет еще, – крикнул я в ответ.

– А у нас всех эвакуировали в кино «Родину». Там народу – ужас.

– А ты как же?

– Так наш дом-то двухэтажный. Мы у Пирожковых наверху сидим.

– А Каплунские как?

– Что Каплунские? Если нас по окна залило, то Каплунские полностью под водой... Да ничего страшного. Все ушли, когда вода подходить стала. Собрали вещички кое-какие, и своим ходом. А кто не ушел, вон на крышах сидят. Всё думали, обойдется. А в «Родине» им булки сегодня давали и, говорят, днем суп привезут.

– А ты откуда знаешь? – удивился я. – Вы ж у Пирожковых сидите.

– А мы ходили туда с Витькой Мотей по очереди. Один плот караулил, а другой ходил. Ладно, Вовец, пока. Хочу к Монголу сплавать. Вон он, через забор смотрит. Мне отсюда видно.

И жизнерадостный Пахом оттолкнулся шестом и поплыл к дому Мишки Монголиса.

– Вам хорошо, вашу сторону никогда не заливают, – крикнул в мою сторону Пахом.

– Мишке привет, – прокричал я в ответ.

– Ладно! – не оборачиваясь, пообещал Пахом.

С берега были видны огороды, залитые водой. Каменное крыльцо прокурорского дома вода залила до самых дверей, но до окон не дошла, закрыв лишь высокий фундамент. В одном окне дрогнула штора, и кто-то выглянул из-за нее. А может быть, мне показалось. Зато убогий домик бабушки Хархардиной плавал в воде по самую форточку.

Отовсюду доносились всплески воды, переговаривались люди, лаяли собаки. Промычала где-то, может, у Митрохиных, корова.

Во дворе раздался крик, потом возбужденные голоса и смех.

Я поспешил на крик, оступился и съехал в воду, сразу провалившись по пояс. Ледяная вода обожгла. Я выбрался на сушу, снял поочередно сапоги, вылил из них воду и пошел к нашему сараю, возле которого стояла мать, тетя Нина, пьяный Шалыгин и Туболиха. Они обсуждали необычное происшествие. Мать пошла в сарай, куда перенесли поднятую из подвала картошку, вошла, а между ног юркнула черная, длинная, как змея, тварь. Мать с перепугу уронила ведро и заорала как резаная. На крик прибежали тетя Нина и Туболиха.

– Это куница! – сказал Шалыгин, который, кажется, на протяжении всего наводнения вообще со двора не уходил. – Я их видел, они длинные, хвостатые.

– Откуда здесь куницы? Разве куницы у нас водятся? – возразила тетя Нина.

– Скорее всего, это выдра, – сказал вышедший из дома отец. – Выдры водятся в Европейской части везде. Не водятся, разве что, в Крыму. За пищей они могут заплывать куда угодно. Вот она с водой и приплыла. А плавают они не хуже любой рыбы.

– Вовка, да ты весь мокрый! Зуб на зуб не попадаешь, – испугалась мать.

Я действительно замерз и выбивал дробь зубами. Одежду продувал холодный ветер, и она неприятно сковывала тело задубевшей коркой.

– А ну, живо домой.

Дома мать передела меня в сухое. Топилась печка, и я быстро согрелся.

К вечеру вода стала, уходить. Я стоял и смотрел, как на глазах уменьшается лужица у входа в наш двор, увеличивается бугор за сараями, и, опускаясь, вода оставляет мокрый след на фасадах деревянных домов на другой стороне улицы. Вот уже открылась полностью верхняя ступенька каменных приступок прокурорского дома, и почти полностью показалось окно в доме бабушки Хархардиной...

А ночью у меня начался жар...

«Ты был среди избранных, но ты не можешь быть проводником. Ты потеряешь свой дар быть открытым для Истины... – говорил индус в белой чалме».

Снова я висел в комфортном пространстве, снова видел перед собой высокого индуса и слышал отчетливо чистый голос из пространства. От индуса шла энергия, которая настраивала мой мозг только на его слова, и они укладывались в тайниках моей памяти, чтобы когда-нибудь снова воплотиться в слова.

«Все, что существует в нашем мире, имеет начало и конец. Рождение, жизнь и смерть всего живого повторяется вечно. Как происходят смена дня и ночи, чередование лета и зимы, так рождается, живет и умирает человек.

Но когда умирает живущее, весь мир не исчезает и остается существовать, как нечто Нерушимое.

И нет Абсолютного знания. Но стремление к познанию Непознанного должно быть – оно есть залог эволюции, высшая цель и смысл жизни. Но полное познание невозможно и будет всегда ускользать от тебя...

Существуют высшие принципы бытия, в которых нет места Злобе, ненависти. Планета – живой организм, а коллективная мысль человечества – связующий высший принцип Земли. И если человеческая мысль отравлена, планета больна.

Если люди будут думать об уничтожении народов, а не о благе планеты, то планету ждет беспокойство и смятение. Войны – это дикость человечества. Они ведут к духовному

краху. Никакие поверхностные признаки цивилизации не могут скрыть одичание духа. Не забывай о настоящей цели жизни. Жизнь дана не для наслаждений. Материальные, телесные, преходящие понятия отодвигают и застилают истинные ценности.

Это все».

На этот раз индус исчезал медленно, как бы растворяясь в окружающей все пустоте.

– А почему мое сознание закрывается для познания Истины? И зачем мне тогда знать то, что вы мне открыли? – прокричал в отчаянии я. Нет, не прокричал. Рот мой оставался закрытым, и крик оставался в нем. Но вдруг я услышал тот же отчетливый голос, только передо мной никого уже не было.

– Это ты сам должен понять. Совершенствуйся в знаниях, постигай мудрость, победи свой эгоизм и живи духовной жизнью. То что я вложил в тебя, не даст сбиться с пути истинной добродетели. Ведь ты был избранным.

А ночью у меня начался жар. Я бредил. Мне мерещились ужасы. Кругом полыхал огонь, и я задыхался от жары. Огонь сменялся ледяной стужей. Я проваливался в темноту, когда кровать вдруг переворачивалась. И с раздражающим постоянством в воображении возникала тонкая веревочка, которая быстро утолщалась, превращаясь в канат. Канат не умещался во мне, и, разрывая мозг, выползал наружу, утолщаясь и утолщаясь где-то за пределами его, а тонкая веревочка возникала снова. «Зачем их такое бесконечное множество?» – как бы между прочим, отмечало мое сознание. Я отделялся от тела и поднимался над землей, но начинал падать, нелепо взмахивая руками, и возвращался в свое тело, преодолевал стены дома и потолки, не ощущая их. Я становился субстанцией, мыслью без мозга и пронзал в доли секунды небо, и небесные тела с мелькающей быстротой оставались позади. Я оказывался в центре мироздания, которое называется Вселенной, а она начинала крутиться вокруг меня с дикой, причиняющей боль скоростью, и все взрывалось, я тоже взрывался и возрождался тут же, чтобы падать в бездну.

Иногда я открывал глаза и бессмысленно пялил их на потолок и на плачущую мать, прикладывающую мокрое

полотенце к моей голове. И снова мое сознание проваливалось, отказываясь служить мне.

И вдруг наступил покой, исчез противный изматывающий звон в ушах, незаметно прекратился беспорядочный, рвущий голову, разнозвучный шум и скрежет, кровать стала на место, и наступила тишина, во время которой я просто спал.

Когда я проснулся, то с удивлением увидел белый потолок над собой. Повернул голову: рядом стояла белая железная кровать, на которой кто-то спал. «Это больница», – смекнул я. На тумбочке возле моей кровати лежал шоколад «Ротфронт» в яркой обертке и красное яблоко. Я почувствовал голод, взял яблоко, поднес ко рту, но никак не смог надкусить его – рот не открывался настолько, чтобы охватить зубами кусок яблока. И тут я почувствовал, насколько ослаб.

Дверь приоткрылась, и в палату заглянула мать. На ней был накинута белая халат. Увидев меня с яблоком, она распахнула дверь, подбежала ко мне и, всхлипывая, стала причитать.

– Вовочка, сыночек... Очнулся. Как же ты нас напугал! Боже мой, что я пережила!

И мать заплакала, закрыв лицо руками.

– Мам, я есть хочу, – мои губы с трудом размыкались, и я почти прошептал эти слова.

– Ой, господи, – встрепенулась радостно мать. – Конечно, милый мой, сейчас.

Она полезла в тумбочку, вынула литровую банку с чем-то желтым как рассол, убежала и вскоре вернулась с миской и ложкой. Из тумбочки она достала маленькую эмалированную кастрюльку с пирожками и взяла в руку один. Она кормила меня из ложки куриным бульоном, который я закусывал из ее рук пирожком с рисом и яйцом. Я ощущал невероятное наслаждение от этого бульона и от пирожка. С тех пор, наверно, я и полюбил на всю жизнь куриную лапшу и домашние пирожки. Мне казалось, что я был очень голоден, но съесть смог всего несколько ложек бульона и половину пирожка. Лоб мой покрылся испариной, в руках появилась дрожь, и я бессильно откинулся на подушку. Потом я опять спал. Проснулся от того, что молоденькая сестра трясла меня за плечо:

– Больной, давайте я сделаю вам укол.

Сестра улыбалась, и я улыбнулся ей. За окном светило ярко солнце. Чирикали воробьи. Давно наступил день. Скоро я встану и увижу своих пацанов. А потом будет лето. «Хорошо жить на свете! – подумал я, переполняясь ощущением счастья.

– Здорово, молодец! – врач, полный розовощекий старичок, вкатился в палату и подошел ко мне. Он пощупал пульс, послушал меня, удовлетворенно хмыкнул и сказал серьезно:

– Ну что ж, будешь жить!

– А когда меня выпишут? – спросил я.

– Э, батенька! Какой ты прыткий. Выпишут. Слава Богу, в сознание пришел. А теперь, пока воспаление не пройдет. У тебя ж двустороннее воспаление легких.

– А сколько я уже здесь?

– Три дня без памяти. Ладно бы одно воспаление, а то черте что. Температура под сорок, и зрачки на свет не реагируют. Думал, менингит. Но нет, слава Богу... Мать говорит, у тебя травма головы была когда-то?

– Это давно. Лошадь копытом. Мне лет восемь было.

– Не знаю. Непонятно. Хочу тебя невропатологу попозже показать. Ладно, отдыхай. Слава Богу, все позади. Везучий ты у нас.

После этого я быстро пошел на поправку, и уже через две недели меня выписали из больницы. Невропатолог смотрел меня, проверял глазное дно, надевал на голову шлем с проводочками, заставлял «дышать и не дышать» и вынес приговор: «Все у тебя в норме».

Но я даже сам не мог представить, насколько у меня все стало в норме. В норме, как у всех.

Сначала я не смог не то что подвинуть, но даже заставить шевельнуться огрызок карандаша. Энергии рук не хватило, чтобы на миллиметр сдвинуть пустяковый предмет. Потом я, как ни старался, не смог ввести себя в то состояние, когда мое сознание начинало работать в особом режиме восприятия. Память тоже стала другой. Я легко запоминал текст или стихотворение, но уже не стояло передо мной фотографического изображения листа, как раньше. Да и все мое сознание отличалось от прежнего. Я перестал воспри-

нимать окружающий меня мир так ярко и образно, как раньше. Если раньше я ощущал себя неотъемлемой частичкой всего, что находилось, располагалось и жило вокруг меня, то теперь эта гармония оставалась только в сознании, а все жило и существовало рядом со мной, но не во мне.

Я не то чтобы очень жалел об этом, но испытывал легкую грусть, как о потере чего-то, к чему привык. Как о велосипеде, из которого вырос, и его пришлось отдать чужому мальчику.

Отец, так переживавший за меня столько лет, не вздохнул с облегчением, а расстроился и все просил:

– Вова, сынок, попробуй еще, может, получится! – И когда не получалось, огорченно уходил в свою спальню. Странно устроен человек. Мне всегда больно было видеть, как мучительно искал отец ответы на вопросы по поводу моих «отклонений», как опасался за мой разум с его психическими нагрузками, переживал и мысленно определял мое гражданское место в этой жизни. И вот, когда все, наконец, стало с головы на ноги, он вдруг растерянно разводил руками и не знал, как помочь мне вернуть все снова.

Отец написал письмо Вольфу Григорьевичу Мессингу. Через две недели он получил ответ:

«Уважаемый Юрий Тимофеевич!

Письмо Ваше меня огорчило, но не удивило. Мозг – это очень тонкий и сложный механизм. Когда мы говорим о безграничных возможностях человеческой психики, мы говорим о таинственной загадке человеческого мозга. Мы не знаем, как формируются феноменальные способности, но, как видно, достаточно незначительного внешнего фактора, чтобы потерять их. В мире известно много фактов, когда этот дар бесследно исчезал даже без видимых влияний извне. Особенно часто это случается со способностью мгновенного счета. В раннем детстве у ребенка появляется способность «считать», причем ребенок четырех-пяти лет, не имеющий даже понятия о четырех действиях, начинает решать задачи, требующие извлечения квадратных и кубических корней, многократного возведения в степень и т.д. И вдруг с годами этот дар бесследно исчезает.

В вашем случае все иначе. И я думаю, вполне вероятно, что способности, которыми обладал Володя, не пропа-

ли. Они могут вернуться так же внезапно, как и исчезли. Ведь у него остались знакомые ощущения, которые он переживал в том своем состоянии. И если по каким-то причинам дар, данный ему природой, покинул его, этот дар можно попробовать вернуть, воздействуя на мозг уже знакомыми методами, т.е. попытаться снова «разбудить» уснувшие мозговые клетки.

Мое предложение остается в силе. Я жду вас у себя летом. Однако предварительно позвоните, чтобы я сообщил вам график своих отсутствий в Москве.

С искренним пожеланием всего наилучшего. В. Мессинг»...

Жизнь продолжалась.

Валерий Георгиевич Анишкин

МОЯ ШАМБАЛА

Человек в мире изменённого сознания

**Технический редактор С.А. Ветчинников
Дизайн обложки: А.С. Ухин**

Подписано в печать 04.03.2015 г. Формат 60x80 ^{1/16}
Печать ризография. Бумага офсетная. Гарнитура Georgia
Объем 22,25 усл. печ. л. Тираж 500 экз. Заказ № 41

Лицензия ПД № 8-0023 от 25.09.2000 г.
Отпечатано с готового оригинал-макета
в ООО Полиграфическая фирма «Картуш»
г. Орел, ул. 2-я Посадская, 26. Тел./факс (4862) 44-51-46.
E-mail: kartush@orel.ru www.kartush-orel.ru



Анишкин Валерий Георгиевич

Филолог, историк. Член Союза российских писателей. Живет и работает в г. Орле. Автор книг «Великие мыслители. История и основные направления философии» (Ростов н/Д: Феникс, 2007), «Русь и ее самодержцы» (Ростов н/Д: Феникс, 2009), «Быт и нравы царской России» (Ростов н/Д: Феникс, 2010), «Богатство и бедность царской России» (ООО ПФ «Картуш», 2013), «Изобилие и роскошь, беды и бедствия Руси» (Germany, Gmb&Co KG, 2014), романа «Потерявшиеся в России» (ООО ПФ «Картуш, 2012; Germany, Gmb&Co.KG, 2012), сборника рассказов «Баламуты» (ООО ПФ «Картуш, 2014), а также повести в сборнике «Приокские рассказы», статей о русском языке в «Литературной России» и др.

ISBN 978-5-9708-0473-5



9 785970 804735